

#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER

БЕСЦВЕТНЫЙ ТРЕВОРНОЙ



SHOUT
SHARE **IT**



Annotation

Мемуары Тревора Ноя – красноречивое и трогательное повествование о том, как в полной нищете и несправедливости вырос ребенок смешанной расы, рожденный матерью-одиночкой в годы жесточайшего апартеида в ЮАР. Мать Тревора научила его использовать юмор, чтобы помочь справиться с жизнью, и он хорошо усвоил этот урок. Несмотря на наличие веских причин для чувства жалости к себе и обиды, Тревор умел находить юмор даже в самых сложных обстоятельствах. Не принудительный, шуточный юмор, а просто сдержанную оценку странности жизни.

- Тревор Ной



- Часть I



- Глава 1

- Глава 2

- Глава 3

- Глава 4

- Глава 5

- Глава 6

- Глава 7

- Глава 8

- Часть II



- Глава 9

- Глава 10

- Глава 11

- Глава 12

- Глава 13

- Глава 14

- Часть III



- Глава 15

- Глава 16

- Глава 17

- Глава 18



- notes



- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6
- ☐ 7
- ☐ 8
- ☐ 9
- ☐ 10
- ☐ 11
- ☐ 12
- ☐ 13
- ☐ 14
- ☐ 15

Тревор Ной

Бесцветный

ЗАКОН О БОРЬБЕ С БЕЗНАВРСТВЕННОСТЬЮ, 1927 г.

Запретить противозаконные плотские отношения между европейцами и местными жителями и другие подобные действия.

ДА БУДЕТ УСТАНОВЛЕНО Его Величеством Королем, Сенатом и Законодательным собранием Южно-Африканского Союза следующее:

1. Мужчина европейской расы, вступивший в противозаконные плотские отношения с местной женщиной, и местный мужчина, вступивший в противозаконные плотские отношения с женщиной европейской расы... будет признан виновным в преступлении и подлежит осуждению на тюремный срок, не превышающий пять лет.

2. Местная женщина, позволяющая мужчине европейской расы вступить с ней в противозаконные плотские отношения, и женщина европейской расы, позволяющая местному мужчине вступить с ней в противозаконные плотские отношения, будет признана виновной в преступлении и подлежит осуждению на тюремный срок, не превышающий четыре года...

Настоящий Закон может именоваться «Законом о борьбе с безнравственностью», 1927 г., и вступает в действие 30 сентября 1927 г.

Часть I

Гениальность апартеида заключалась в способности убедить людей, являвшихся подавляющим большинством, враждовать друг с другом. Обособленная ненависть – вот что это было. Вы разделяете людей на группы и заставляете каждую группу ненавидеть другую, что дает возможность управлять всеми. В то время черные южноафриканцы по количеству превосходили белых южноафриканцев, соотношение было примерно пять к одному. Но мы были разделены на разные племена с разными языками: зулусы, коса, тсвана, сото, венда, ндебеле, тсонга, педи и многие другие.

Задолго до введения апартеида племена враждовали и воевали друг с другом. Правление белых использовало эту неприязнь, чтобы разделять и завоевывать. Эти племена и другие небелые люди систематически классифицировались по различным группам и подгруппам. Затем эти группы получили права и привилегии различного уровня – с целью сохранить их разногласия.

Пожалуй, самый яркий пример таких разделений – то, что существовало между двумя доминирующими южноафриканскими племенами – зулусами и коса. Мужчина-зулус известен как воин. Он горд. Он забывает о разуме и сражается. Когда вторглись колониальные армии, зулусы вступали в бой, не имея никакого оружия, кроме копий и щитов, с которыми сражались против мужчин с ружьями. Зулусы погибали тысячами, но не прекращали сражаться. Коса, наоборот, гордятся тем, что являются мыслителями. Моя мать – коса. Нельсон Мандела был коса. Коса тоже вели долгую войну с белым человеком, но, поняв, что такое противостояние врагу, вооруженному лучше, тщетно, многие вожди коса выработали более хитрую тактику. «Эти белые люди здесь, хотим мы этого или нет, – говорили они. – Посмотрим, какие из принадлежащих им инструментов могут быть полезны для нас. Вместо того чтобы противостоять англичанам, лучше выучить английский язык. Мы поймем, что говорит белый человек, и сможем вынудить его вести с нами переговоры».

Зулусы продолжали воевать с белым человеком. Коса пытались обыграть белого человека. Долгое время ни то, ни другое не было особенно успешным. Каждый народ обвинял другой в проблеме, в появлении которой не был виноват ни один из них, и это ожесточение апартеидом подогревалось. Десятилетия общим врагом зулусов и коса эти чувства сдерживались. Потом апартеид пал, Мандела вышел на свободу,

и – черная ЮАР стала воевать сама с собой.

Глава 1

Беги!

Иногда в известных голливудских фильмах бывают эти безумные сцены преследования, когда кто-нибудь выпрыгивает (или его выбрасывают) из мчащегося автомобиля. Человек падает на землю и какое-то время катится. Потом эти герои останавливаются, вскакивают и отряхиваются, как будто ничего такого и не произошло. Каждый раз, когда я вижу это, я думаю: *«Что за чушь. Когда тебя выкидывают из едущей машины, тебе приходится намного хуже»*.

Мне было девять, когда мама выкинула меня из автомобиля на ходу. Это случилось в воскресенье. Я точно знаю, что это было воскресенье, потому что мы возвращались домой из церкви. А в детстве я каждое воскресенье посещал церковь, мы *никогда* ее не пропускали. Моя мама была (и до сих пор остается) очень религиозной женщиной. Настоящей христианкой. Как и аборигены по всему миру, черные южноафриканцы приняли религию своих колонизаторов.

Впрочем, под «приняли» я имею в виду, что нам ее навязали. Белый человек был довольно суров с местными. Он говорил: «Вы должны молиться Иисусу. Иисус вас спасет». На что местные отвечали: «Да, нам нужно спасение – спасение от *вас*. Но пока оставим эту тему. Ладно, дадим этому Иисусу шанс».

Религиозной была вся моя семья. Но если мама всецело принадлежала Иисусу, то бабушка сочетала христианскую веру с традиционными верованиями коса, с которыми она выросла, общаясь с духами наших предков. Я долго не мог понять, почему так много черных отказалось от своей родной религии в пользу христианства. Но чем чаще мы ходили в церковь и чем дольше я сидел на тех скамьях, тем больше понимал, как работает христианство: если ты американский индеец и молишься волкам – ты дикарь. Если ты африканец и молишься предкам – ты первобытный человек. Но когда белые молятся парню, превратившему воду в вино, – это попросту здравый смысл.

В моем детстве церковь, или та или иная ее форма, присутствовала как минимум четыре вечера в неделю. Вечером по вторникам было молитвенное собрание. В среду вечером – изучение Библии. В четверг – Дом Господень для юных. По пятницам и субботам у нас были выходные (время грешить!). А в воскресенье мы шли в церковь.

В три церкви, если быть точным. Была причина тому, что мы

ходили в три церкви: мама говорила, что каждая церковь дает ей что-то особенное. Первая церковь предлагала торжественное восхваление Господа. Вторая – глубокий анализ библейских текстов, который мама любила. Третья – страсть и катарсис. Это было место, где ты действительно чувствовал в себе присутствие Святого Духа.

Совершенно случайно, когда мы ходили туда-сюда между ними, я заметил, что каждая церковь имеет собственный расовый состав прихожан. Церковь Ликования была «смешанной». Аналитическая церковь – «белой». Церковь страсти и катарсиса – «черной».

«Смешанной» была библейская Церковь Слова Божьего. Она была одной из тех огромных, суперсовременных пригородных церквей. Пастор Рей Мак-Коли, бывший бодибилдер с широкой улыбкой и характером чирлидера, выступая перед прихожанами, действительно делал все возможное для того, чтобы Иисус казался классным. Здесь было что-то вроде арены, а рок-группа играла новейшую христианскую современную популярную музыку. Все пели, и если ты не знал слов – ничего страшного, потому что слова были прямо перед тобой, на большом экране. Проще говоря, это было христианское караоке. Здесь, в «смешанной» церкви, я всегда чувствовал восторг.

«Белой» церковью была Роузбэнк-Юнион-Чёрч в Сэндтоне, очень «белом» и очень богатом районе Йоханнесбурга. Я любил «белую» церковь, потому что мне на самом деле не приходилось посещать основную службу. Моя мама ходила на нее, а я – только в молодежную часть, в воскресную школу. В ней мы читали классные истории. Любимой была про Ноя и наводнение; к потопу был у меня особый интерес. Но мне нравились и истории про Моисея и расступившееся перед ним Красное море, про Давида, сразившего Голиафа, про Иисуса, выгнавшего из храма менял.

Я рос в доме, почти не приобщенном к популярной культуре. «Boyz II Men» были под запретом в доме моей матери. Песни о каком-то парне, всю ночь трахавшем девушку? Нет, нет, нет. Это было под запретом. Другие ребята в школе пели «End of the Road», а я совершенно не понимал, что это. Я знал об этих «Boyz II Men», но я на самом деле не знал, кем они были. Единственной музыкой, которую я знал, была церковная – возвышенные воодушевляющие песни, прославляющие Иисуса.

То же самое было с фильмами. Мама не хотела, чтобы мой ум засорялся фильмами с сексом и насилием никогда. Так что моим кино была Библия. Моим супергероем – Самсон. Он был для меня «настоящим мужчиной». Парень, побивший тысячу людей

ослиной челюстью? Он нереально крут! Со временем ты доходишь до Павла, пишущего Послание к Ефесеянам^[1], и теряешь нить сюжета, но Ветхий Завет и Евангелие? Я могу процитировать любой отрывок из этих страниц, глав и строф. В «белой» церкви каждую неделю были игры и опросы по Библии, и я мог дать фору любому.

Мама не хотела, чтобы мой ум засорялся фильмами с сексом и насилием никогда.

Так что моим кино была Библия.

Потом была «черная» церковь. Где-нибудь всегда шла та или иная церковная служба для черных, и мы побывали везде. В поселке это была обычно уличная церковь, стоящая шатром. Чаще всего мы ходили в церковь моей бабушки, методистский храм старой школы, где пять сотен африканских бабуль в сине-белых блузках сжимали в руках свои Библии и терпеливо жарились на горячем африканском солнце.

Я не лгу, «черная» церковь была сурова. Никаких кондиционеров. Никаких стихов на больших экранах. И это продолжалось целую вечность, как минимум три или четыре часа, что смущало меня, потому что посещение «белой» церкви длилось около часа: войти и выйти, спасибо, что пришли. Но в «черной» церкви я мог сидеть, как мне казалось, всю жизнь, пытаюсь понять, почему время идет так медленно. *А может быть так, что время на самом деле остановилось? Если это так, почему оно остановилось в «черной», а не в «белой» церкви?*

В конце концов я решил, что черным людям надо проводить больше времени с Иисусом, потому что мы больше страдаем. «Я здесь, чтобы получить благодати на неделю», – всегда говорила мама. Она считала, что чем больше времени мы проводим в церкви, тем больше благодати в нас накапливается, как на бонусной карте «Старбакса».

Единственным достоинством, перевешивающим все недостатки «черной» церкви, было то, что я знал: если я досижу здесь до третьего или четвертого часа, бесы начнут изгоняться из людей.

Люди, одержимые бесами, будут бегать по проходам, как сумасшедшие, визжа во весь голос. Помощники будут перехватывать их, как вышибалы в клубе, и удерживать перед пастором. Пастор будет хватать их за головы и резко трясти вперед и назад, крича: «Я изгоняю этот дух во имя *Иисуса!*» Некоторые пасторы были более жестокими, чем другие, но их объединяло то, что они никогда не останавливались, пока бес не был изгнан, а прихожанин не слабел и не падал.

Человек должен был упасть. Если он не падал, это означало, что бес был сильным, и пастору надо получше взяться за него. Да пусть ты даже полузащитник в НФЛ, неважно. Тот пастор обязательно бы тебя *уронил*.

Господи, как это было весело.

Христианское караоке, увлекательные рассказы о забияках, жестокие целители – о да, я любил церковь. Что мне не нравилось, так это расстояния, которые мы должны были проходить, чтобы добраться до церкви. Это был грандиозный поход.

Мы жили в Иден-Парке, крошечном пригороде за границей Йоханнесбурга. Путь до «белой» церкви занимал у нас час, еще сорок пять минут надо было потратить, чтобы дойти до «смешанной» церкви, и еще сорок пять минут, чтобы доехать до Соуэто, где была «черная» церковь. Затем, как будто этого было мало, в некоторые воскресенья мы возвращались в «белую» церковь на специальную вечернюю службу. К тому времени, когда поздно вечером мы возвращались домой, я падал в кровать.

То воскресенье (воскресенье, когда меня вышвырнули из едущего автомобиля) началось, как и любое другое. Мама разбудила меня, приготовила мне на завтрак кашу. Я умылся, пока она одевала моего маленького брата Эндрю (которому было тогда девять месяцев). Потом мы вышли на подъездную дорожку, но – когда наконец пристегнулись и были готовы отправиться в путь, машина не завелась. У мамы был древний, потрепанный ярко-оранжевый «Фольксваген-жук», который она приобрела почти даром. А почти даром он достался ей потому, что постоянно ломался.

Я до сих пор ненавижу подержанные автомобили. Почти все плохое, что случалось в моей жизни, начиналось из-за подержанного автомобиля. Из-за подержанных автомобилей меня оставляли после уроков за опоздание в школу. Из-за подержанных автомобилей нам приходилось «голосовать» на обочине шоссе. Подержанный автомобиль стал и причиной того, что мама вышла замуж. Если бы не «Фольксваген», который не завелся, нам не пришлось бы искать механика, который стал ей мужем (а нам с Эндрю отчимом). Который стал человеком, годами мучавшим нас и всадившим пулю в затылок мамы. Так что новый автомобиль я каждый раз покупаю с гарантией.

Как бы я ни любил церковь, мысль о девятичасовом походе от «смешанной» церкви к «белой», потом – к «черной», а затем – снова к «белой» церкви просто не хотела уместиться в голове. И на автомобиле это было довольно тяжело, а на общественном транспорте получилось бы в два раза дольше и в два раза

труднее. Я мысленно молился: «Пожалуйста, скажи, что мы останемся дома.

Пожалуйста, скажи, что мы останемся дома». Потом я взглянул на маму и увидел на ее лице решительное выражение, челюсти сжаты. И я понял, что меня ждет долгий день.

– Пошли, – сказала она. – Мы поедем на микроавтобусах.

Моя мама так же упряма, как и религиозна. Если она приняла решение, то уже его не изменит. Более того, препятствия, которые обычно заставляют человека изменить свои планы (например, поломка автомобиля), только придают ей решимости устремиться вперед.

– Это дьявол, – сказала она о заглохшем автомобиле. – Дьявол не хочет, чтобы мы шли в церковь. Вот почему нам придется ехать на микроавтобусах.

Когда бы я ни сталкивался с основанным на вере упрямством мамы, я пытался как можно более вежливо высказать противоположную точку зрения.

– Или, – сказал я, – бог знает, что сегодня мы *не должны* идти в церковь, вот почему он сделал так, чтобы автомобиль не завелся. Чтобы мы остались дома как семья и устроили день отдыха, потому что даже бог отдыхает.

– Ах, это говорит дьявол, Тревор.

– Нет, потому что Иисус стоит у руля, а если Иисус стоит у руля и мы молимся Иисусу, он дал бы автомобилю завестись. Но он не дал, значит...

– Нет, Тревор! Иногда Иисус чинит препятствия у тебя на пути, чтобы увидеть, преодолеешь ли ты их. Как Иов. Это может быть испытанием.

– А! Да, мам. Но испытание может заключаться в том, чтобы увидеть, желаем ли мы принять то, что случилось, и остаться дома. И прославлять Иисуса за его мудрость.

– Нет. Это говорит дьявол. А сейчас иди и переоденься.

– Но мама!

– Тревор! *Sun'qhela!*

«*Sun'qhela*» означает «не перечь мне». Родители-коса часто говорят это своим детям. Каждый раз, когда я слышал это, я знал: это значит, что разговор закончен, и если я произнесу еще одно слово, то меня ждет порка.

Каждый год без исключения я был чемпионом спортивного дня колледжа «Мэривейл», а моя мама каждый год без исключения получала приз для мам. Почему? Потому что она всегда гонялась за мной, чтобы дать мне по заднице, а я всегда убегал, чтобы не получить пинок. Никто не бегал так, как я и моя

мама. Она не была мамой типа «иди-ка сюда и получи взбучку». Она давала ее тебе без малейшего предупреждения. Кроме того, она была метателем. Что бы ни было у нее под рукой, это могло полететь в тебя. Если это было что-то бьющееся, я должен был поймать эту вещь и положить. Если она разбивалась, в этом тоже виноват был я, и порка была еще хуже. Если она кидала в меня вазу, я должен был ее поймать, поставить, а затем бежать. За долю секунды я должен был подумать: *«Это дорогая вещь? Да. Она бьющаяся? Да. Лови ее, ставь, а теперь – беги»*.

Наши с мамой взаимоотношения очень напоминали Тома и Джерри. Она была сторонником домостроя, я – необычайно шаловливым. Она посылала меня купить продукты, а я никогда не шел сразу домой, потому что использовал сдачу от молока и хлеба, чтобы поиграть на игровых автоматах в супермаркете.

Я любил видеоигры. Я был мастером в *«Street Fighter»*. Мог бесконечно продолжать одну игру. Бросал монетку в щель, время летело, и следующее, что я осознавал, – за мной стоит женщина с ремнем.

Это была гонка. Я вылетал в дверь и несся по пыльным улицам Иден-Парка, перепрыгивая через стены, пробираясь через внутренние дворы. В нашем квартале это было нормальным. Все знали: мальчик Тревор частенько проносится мимо, как подорванный, а Патрисия бежит прямо за ним. Она могла нестись на полной скорости на высоких каблуках, но если действительно хотела догнать меня, то прямо на бегу, не снижая темпа, сбрасывала эту обувь. Она делала причудливое движение лодыжками, туфли летели в сторону, а она даже не сбивалась с шага. И тогда я знал: *«Ого! Сейчас она включила турборежим!»*

Когда я был маленьким, она всегда меня ловила. Но я рос и становился быстрее. И когда ей не хватало скорости, она начинала применять уловки. Когда я почти скрывался из виду, она кричала: *«Стой! Вор!»* Она поступала так с родным ребенком! В ЮАР никто не вмешивается в чужие дела, пока дело не доходит до правосудия толпы – тогда уж все хотят принять участие. Так что она кричала *«Вор!»*, зная, что против меня будет весь квартал. И тогда незнакомцы пытались схватить и удержать меня, а мне приходилось вилять и подныривать, уворачиваясь от них, при этом не переставая вопить: *«Я не вор! Я ее сын!»*

Последнее, чем я хотел заняться тем воскресным утром, – впихиваться в какой-то переполненный микроавтобус, но в ту же секунду, как я услышал, что мама сказала *«sun'qhela»*, я понял: моя судьба предрешена. Она взяла Эндрю, мы вылезли из «Фольксвагена» и отправились искать возможность доехать.

Мне было пять, почти шесть лет, когда Нельсон Мандела вышел из тюрьмы. Я помню, как видел это по телевизору и как все были счастливы. Я не знал, почему мы были счастливы, просто были. Я знал, что существует вещь под названием «апартеид», и что он заканчивается, и что это – замечательно, но я не понимал тонкостей.

Но последовавшее за этим насилие я помню и никогда не забуду. Триумф демократии над апартеидом иногда называют бескровной революцией. Он получил такое название потому, что во время самой революции было пролито очень мало «белой» крови. Но в послереволюционные дни по улицам бежали потоки «черной» крови.

Когда пал режим апартеида, мы знали, что теперь править будет черный человек. Вопрос в другом: какой черный человек? Между Партией свободы Инката и Африканским национальным конгрессом начались вспышки насилия. Политические взаимоотношения между этими двумя группами были очень запутанными, но простейший способ их понять – на примере «войны марионеток» между зулусами и коса.

Инката была преимущественно зулусской партией, очень воинственной и очень националистической. АНК был широкой коалицией, включавшей множество различных племен, но в то время его лидерами были преимущественно коса. Апартеид приостановил войну между зулусами и коса. Иностранные захватчики, пришедшие в виде белого человека, стали общим врагом, против которого можно было объединиться. Затем, когда общий враг исчез, произошло что-то вроде: «Итак, на чем мы остановились? Ах, да». И в дело пошли ножи.

Вместо того чтобы объединиться для мирной жизни, они набросились друг на друга, совершая невероятно жестокие деяния. Разразились многолюдные бунты. Были убиты тысячи людей. Многие подверглись казни «ожерелье». Она заключалась в том, что несколько человек кого-нибудь хватали и держали, надевали ему на тело резиновую покрывку, зажимавшую его руки. Затем в покрывку наливали бензин и поджигали. Человек горел заживо. АНК делал это с Инката. Инката делала это с АНК. Однажды, идя в школу, я увидел на обочине дороги одно из этих обугленных тел. По вечерам мы с мамой включали наш маленький черно-белый телевизор и смотрели новости. Десять человек убито. Пятьдесят человек убито. Сто человек убито. Казнь «ожерелье» была распространена повсеместно.

Иден-Парк находился прямо напротив широко раскинувшихся тауншипов Ист-Рэнд, Токоза и Кэтлхонг, где происходили одни из самых ужасающих стычек между Инката и АНК. Как минимум рас

в месяц мы приезжали домой, а квартал горел. Сотни протестующих на улице. Мама медленно вела автомобиль через толпу и объезжала баррикады из горящих покрышек. Ничто не горит так, как крышка – огонь бушует с невероятной яростью. Когда мы проезжали мимо горящих баррикад, казалось, что мы находимся в печи. Я часто говорил маме: «Думаю, что в аду Сатана жжет крышки».

Каждый раз, когда разражались бунты, все наши соседи разумно прятались за закрытыми дверями. Но не моя мама. Она отправлялась туда, куда планировала, и когда мы ползли мимо баррикад, смотрела на протестующих «фирменным» взглядом. *Дайте мне проехать. Я не участвую в этом дерьме.* Перед лицом опасности она была непоколебима.

Это всегда поражало меня. То, что за нашей дверью шла война, не имело никакого значения. У нее были дела, которые она должна была сделать, места, куда она должна была отправиться. Это было то же упрямство, которое заставило ее посетить церковь, несмотря на заглохший автомобиль. На главной дороге, ведущей из Иден-Парка, могло быть пять сотен протестующих и баррикада из горящих шин, а мама говорила: «Одевайся. Мне надо на работу. Тебе надо в школу».

– А ты не боишься? – спрашивал я. – Ты одна, а их так много.

– Дорогой, я не одна, – отвечала она. – За мной все небесные ангелы.

– Ну, было бы хорошо, если бы мы могли их *видеть*, – говорил я. – Потому что я не думаю, что протестующие знают, что они здесь.

Она говорила, чтобы я не волновался. Она всегда повторяла фразу, с которой жила: «Если бог со мной, кто может быть против меня?» Она никогда не боялась. Даже если и надо было бы.

В то воскресенье без автомобиля мы сделали свой круг по церквям, закончив, как обычно, в «белой» церкви. Когда мы вышли из Роузбэнк-Юнион, было темно и мы были одни. За бесконечный этот день поездок на микроавтобусах от «смешанной» церкви к «черной», потом – к «белой» я был вымотан. На часах – уже девять вечера, если не позже. В те дни, когда продолжались насилие и бунты, не хотелось оставаться на улице так поздно. Мы стояли на углу Джеллико-авеню и Оксфорд-роуд, прямо в сердце состоятельного «белого» предместья Йоханнесбурга, и не было ни одного микроавтобуса. Улицы пусты.

Мне так хотелось повернуться к маме и сказать: «Видишь? Вот почему бог хотел, чтобы мы остались дома». Но один взгляд

на выражение ее лица – и я понял, что лучше промолчать. Временами я мог дерзить маме, но это был не тот случай.

Мы ждали и ждали, когда подъедет микроавтобус. Во время апартеида правительство не обеспечивало черных общественным транспортом, но белым все же надо было, чтобы мы приходили к ним помыть полы и отдраить ваннные комнаты. Необходимость – мать изобретательности, так что черные создали собственную транспортную систему, неофициальную сеть автобусных маршрутов, принадлежавших частным компаниям (на самом деле бандам).

Так как бизнес с микроавтобусами был абсолютно неконтролируемым, он, в общем-то, относился к организованной преступности. Различные маршруты принадлежали различным группам, боровшимся за то, кто что будет контролировать. Процветали взяточничество и теневой бизнес, сопровождавшиеся насилием без меры, и, чтобы оградиться от насилия, выплачивались значительные суммы «за защиту». Единственное, чего нельзя было делать, – ездить по маршруту конкурирующей группировки. Водителей, «уводящих» маршруты, убивали. Так как микроавтобусы никак не регулировались, они были очень ненадежными. Они приезжали, когда приезжали. Или не приезжали.

По вечерам мы с мамой включали наш маленький черно-белый телевизор и смотрели новости.

Десять человек убито. Пятьдесят человек убито.

Сто человек убито. Казнь «ожерелье» была распространена повсеместно.

Стоя у Роузбэнк-Юнион, я в буквальном смысле валился с ног. Микроавтобуса не было видно. Наконец, мама сказала: «Давайте поймаем машину». Мы шли и шли, и когда уже, казалось, прошла целая вечность, подъехал автомобиль и остановился рядом с нами. Водитель предложил нас подвезти, и мы сели. Не успели мы проехать и трех метров, как вдруг появился микроавтобус и подрезал автомобиль, заставив нас остановиться.

Водитель микроавтобуса вышел с *iwisa* – большим традиционным зулусским оружием, в общем-то, боевой дубинкой. Зулусы используют их, чтобы пробивать людям головы. Второй парень, его дружок, вылез с пассажирского сиденья. Они подошли к автомобилю, в котором были мы, со стороны водителя, схватили человека, предложившего подвезти нас, вытащили его и начали тыкать своими дубинками ему в лицо. «Почему ты крадешь наших клиентов?! Почему ты подсаживаешь людей?!»

Казалось, они собираются убить этого парня. Я знал, что иногда это происходит. Мама заговорила: «Эй, послушайте. Он просто помогал нам. Оставьте его. Мы поедem с вами. Изначально мы так и хотели сделать». Так что мы вышли из первого автомобиля и залезли в микроавтобус.

В микроавтобусе мы были единственными пассажирами. Южноафриканские водители микроавтобусов были не только жестокими бандитами, они печально знамениты тем, что жалуются на жизнь и пристают к пассажирам с разговорами во время поездки. Этот водитель был особенно злобным. И он был не просто злобным, он был зулусом. Пока мы ехали, он начал читать маме нотации по поводу того, что она находилась в автомобиле с человеком, который не был ее мужем. Мама не выносила нотаций от посторонних людей. Она сказала, чтобы он не лез не в свое дело.

А потом он услышал, как она говорит с нами на языке коса, и это окончательно вывело его из себя. Стереотипы о зулусах и женщинах-коса были такими же укоренившимися, как и о мужчинах. Зулуски благовоспитанны и добропорядочны. Женщины-коса распутны и неверны. И вот рядом с ним моя мама, его племенной враг, женщина-коса, одна с двумя маленькими детьми, один из которых мулат, это точно. Так что она не просто шлюха, а шлюха, которая спит с белыми мужчинами.

«А, так ты коса, – сказал он. – Это все объясняет. Залезать в автомобили посторонних мужчин. Отвратительная женщина».

Мама продолжала с ним ругаться, а он продолжал обзывать ее, крича на нее с переднего сиденья, потрясая пальцем перед зеркалом заднего вида и раздражаясь все больше и больше, пока, наконец, не сказал: «Вот в чем с вами, с женщинами-коса, проблема. Вы все потаскушки. И сегодня ты получишь урок».

Он прибавил скорость. Он ехал быстро и не останавливался, только притормаживал, чтобы оценить ситуацию на перекрестках, перед тем как пронестись через них. В те времена смерть была рядом с каждым. Тогда ее могли бы изнасиловать. Нас могли бы убить. Это были весьма реальные варианты. В тот момент я не совсем осознавал, в какой опасности мы находимся, я устал настолько, что хотел только спать. Кроме того, мама оставалась очень спокойной. Она не паниковала. Она просто не оставляла попыток с ним договориться.

– Извините, что рассердила вас, *bhuti*. Вы просто можете высадить нас здесь...

– Нет.

– Правда, все хорошо. Мы можем пойти пешком...

– Нет.

Он несся по Оксфорд-роуд, дорога была пустой, ни одного другого автомобиля. Я сидел ближе всего к скользящей двери микроавтобуса. Мама сидела рядом со мной, держа на руках маленького Эндрю. Она выглянула в окно на проносящуюся мимо дорогу, потом наклонилась ко мне и шепнула: «Тревор, когда он притормозит на следующем перекрестке, я открою дверь, и мы выпрыгнем».

Я не услышал ни слова из того, что она говорила, потому что к тому времени совсем клевал носом. Когда мы подъехали к следующему светофору, водитель немного сбросил газ, чтобы оглядеться и рассмотреть дорогу. Мама дотянулась до скользящей двери, сдвинула ее, схватила меня и вышвырнула как можно дальше. Потом она взяла Эндрю, свернулась калачиком вокруг него и выпрыгнула за мной.

Это казалось сном, пока не стукнула боль. *Бум!* Я сильно ударился об асфальт. Мама приземлилась прямо рядом со мной, и мы кувыркались и кувыркались, катились и катились. Теперь я совершенно проснулся. Из полусонного я пришел в недоумевающее состояние: «*Какого черта?*» Когда кувыркание закончилось, я поднялся на ноги, абсолютно дезориентированный. Огляделся и увидел маму, тоже уже стоявшую на ногах. Она обернулась, посмотрела на меня и закричала:

– *Беги!*

И я побежал, и она побежала, а никто не бегал так, как мы с мамой.

Это сложно объяснить, но я просто знал, что делать. Это был животный инстинкт, которому я научился в мире, где насилие таилось всегда и ждало момента вырваться наружу. В тауншипгах, когда внезапно появлялись полицейские отряды в экипировке для борьбы с уличными беспорядками и их вооруженные автомобили и вертолеты, я знал: «*Беги и скрывайся. Беги и прячься*». Я знал это, когда мне было пять лет. Жил бы я другой жизнью, то, что меня выкинули из мчащегося микроавтобуса, обескуражило бы меня. Я стоял бы, как идиот, и спрашивал: «Что происходит, мама? Почему ногам так больно?» Но ничего этого не было. Мама сказала: «Беги», – и я бежал. Я бежал, как газель убегает от льва.

Мужчины остановили микроавтобус, вышли и попытались нас догнать, но у них не было шансов. Мы одержали над ними убедительную победу. Думаю, они были шокированы. Я до сих пор помню, что, оглядываясь, видел, как они отстают с выражением абсолютнейшего недоумения на лицах. *Что вообще происходит? Кто бы мог подумать, что женщина с двумя маленькими детьми может бегать так быстро?* Они не знали, что

имели дело с действующим чемпионом спортивных дней колледжа «Мэривейл». Мы бежали и бежали, пока не добрались до круглосуточной автозаправки и не вызвали полицию. К тому времени мужчины давным-давно отстали.

Я бежал только на адреналине. Я так и не понимал, как и почему все это случилось. Потом, когда мы перестали бежать, я осознал, как мне больно. Я посмотрел вниз, кожа на моих руках была ободрана и саднила. Я был весь в кровотокающих ссадинах. Мама тоже. Но с моим маленьким братом было все в порядке, ведь мама невероятным образом обернулась вокруг него – и он не получил ни одной царапины. Я в шоке повернулся к маме.

– Что *это* было?! Почему мы бежали?!

– Что значит «Почему мы бежали?» Эти мужчины пытались убить нас.

– Ты мне этого не говорила! Ты просто выбросила меня из машины!

– Говорила. Почему ты не выпрыгнул?

– Выпрыгнул?! Я спал!

– Так мне надо было оставить тебя, чтобы они тебя убили?

– Они хотя бы разбудили меня, прежде чем убить.

Мы продолжали препираться. Я был слишком растерян и слишком зол из-за того, что меня выбросили из автомобиля, чтобы понять, что произошло. Моя мать спасла мне жизнь.

Когда мы перевели дух и ждали, пока полиция придет и довезет нас до дома, она сказала: «Ладно, слава богу, мы хотя бы в безопасности».

Но мне было девять, и я знал лучше. И на этот раз я не собирался молчать.

– Нет, мама! Это *не* благодаря богу! Ты должна была послушаться бога, когда он сказал нам оставаться дома, когда не завелся автомобиль, потому что это точно дьявол облапошил нас и заставил выйти.

– Нет, Тревор! Дьявол так не делает. Это часть плана бога, и если он хотел, чтобы мы оказались здесь, значит, у него была причина...

Мы продолжали и продолжали спорить на ту же тему, спорить о воле бога. Наконец, я сказал: «Послушай, мам. Я знаю, ты любишь Иисуса, но, может быть, на следующей неделе ты могла бы попросить его встретиться с нами у нас дома? Потому что это была совсем не веселая ночь».

Она широко улыбнулась и начала смеяться. Я тоже засмеялся, мы стояли там, маленький мальчик и его мама, наши руки и ноги были покрыты кровью и грязью, мы смеялись через боль, стоя посреди ночи на обочине в свете автозаправки.

АПАРТЕИД БЫЛ ИДЕАЛЬНЫМ РАСИЗМОМ. НА ЕГО РАЗВИТИЕ УШЛИ ВЕКА. Все началось еще в 1652 г., когда корабли Голландской Ост-Индской компании причалили к мысу Доброй Надежды, где была основана торговая колония, Капстад, позже известная как Кейптаун. Город был остановкой на пути кораблей, курсирующих между Европой и Индией. Чтобы установить «белое» правление, голландские колонисты воевали с аборигенами, а главное – создали ряд законов для их покорения и часто порабощения. Когда Капская колония отошла британцам, потомки первоначальных голландских поселенцев ушли в глубь материка и выработали свой собственный язык, культуру и обычаи, со временем став отдельным народом, африканерами – белым африканским племенем.

Британцы номинально отменили рабство, хотя на практике оно сохранялось. Это было сделано потому, что в середине 1800-х годов на территории, которая была списана со счетов как почти ничемный перевалочный пункт на краю мира, несколько удачливых капиталистов наткнулись на богатейшие в мире запасы золота и алмазов. А для того, чтобы спуститься под землю и это добыть, нужны были бесконечные поставки «расходных» тел.

Когда Британская империя пала, африканеры выступили с протестами и потребовали признать ЮАР их полноправным наследием. Правительство понимало: для того, чтобы сохранить власть вопреки увеличивающемуся и беспокойному черному большинству страны, ему нужен более новый и продуманный инструментарий. Была создана официальная комиссия, путешествующая и изучающая узаконенный расизм во всем мире. Они были в Австралии. Были в Нидерландах. Были в Америке. Они видели, что работает, а что нет. Затем они вернулись и опубликовали доклад, а правительство использовало эти сведения для построения самой передовой системы расового угнетения, известной человеку.

Апартеид был полицейским режимом, системой надзора и законами, созданными специально для того, чтобы держать темнокожих людей под полным контролем. Полный текст этих законов занял бы более трех тысяч страниц и весил бы примерно четыре с половиной килограмма, но их общую направленность без

труда понял бы любой американец. В Америке было насильственное перемещение аборигенов в резервации в сочетании с рабством, за которым последовала сегрегация. Представьте, что все три эти вещи происходят одновременно с одной и той же группой людей. Это был апартеид.

Глава 2

Рожденный преступником

Я рос в ЮАР во время апартеида, и это было трудно, потому что я рос в смешанной семье, где «смешанным» был я один. Мама была черной, а папа – белым. Если быть точным – немецкоязычным швейцарцем, то есть абсолютно белым швейцарцем. Во время апартеида одним из худших преступлений, которые вы могли бы совершить, была сексуальная связь с человеком другой расы. Незачем и говорить, что мои родители совершили это преступление.

В любом обществе, построенном на узаконенном расизме, смешение рас не просто ставит под сомнение справедливость системы. Оно разоблачает систему как нестабильную и внутренне противоречивую. Ведь смешение рас доказывает, что расы могут смешиваться, а во многих случаях – *хотят* смешиваться. Стало быть, если «смешанный» человек воплощает собой вызов системе, то смешение рас становится преступлением страшнее, чем государственная измена.

Люди – это люди, секс – это секс, так что этот запрет никогда никого не останавливал. Через девять месяцев после того, как голландские суда причалили к берегу в Столовой бухте, в Южной Африке появились дети-мулаты. Как и в Америке, здешние колонисты смогли завоевать сердца аборигенок – это часто удается колонистам.

В отличие от Америки, где каждый, в жилах которого была хоть капля черной крови, автоматически становился черным, в Южной Африке мулаты классифицировались как отдельная группа: не белые и не черные, а то, что мы называем «цветные». Цветные, черные, белые и индийцы должны были встать на учет в правительстве в соответствии с расой. На основе этой классификации миллионы людей были изгнаны из своих домов и перемещены. Индийские районы были изолированы от «цветных» районов, которые были изолированы от «черных» районов – и все они были изолированы от «белых» районов и отделены друг от друга буферными зонами голой земли. Были приняты законы, запрещавшие секс между европейцами и местными жителями. Несколько позже эти законы были исправлены: секс запретили между белыми и – всеми не белыми.

Между тем люди – это люди, секс – это секс. Так что правительству пришлось приложить невероятные усилия, чтобы претворить в жизнь эти новые законы. Наказанием за их

нарушение были пять лет тюремного срока.

Были созданы целые отряды полиции, чьей единственной работой было ходить по окрестностям и заглядывать в окна. Разумеется, этим занимались только лучшие полицейские. И если парочка представителей разных рас была поймана, помочь им мог только бог. Полиция вышибала дверь, вытаскивала их из дома, била и арестовывала. По крайней мере, так они поступали с черными. Что касается белых, это, скорее, было так: «Слушай, ты просто скажешь, что был пьян, но больше так не делай, ладно? Ну, бывай». Именно так это происходило с белым мужчиной и черной женщиной. Черному мужчине, пойманному на занятии сексом с белой женщиной, еще очень везло, если его не обвиняли в изнасиловании.

Если спросить мою маму, представляла ли она себе, что значит иметь ребенка-мулата при апартеиде, она ответит, что нет. Когда она хотела что-то сделать, то придумывала способ это сделать, а потом делала. Она обладала той степенью бесстрашия, которую необходимо иметь, чтобы предпринимать что-либо из того, что делала она. Если вы задумаетесь о последствиях, то никогда ничего не сделаете.

И все же это было безумным, опрометчивым поступком. В миллионе случаев нам просто везло оставаться незамеченными, пока мы поступали так, как поступали.

Во время апартеида, если ты был черным мужчиной, ты работал на ферме, на заводе или в шахте. Если женщиной – на фабрике или домработницей. В общем-то, это были единственные варианты. Мама не хотела работать на фабрике, а готовила она ужасно и никогда бы не стала терпеть, чтобы какая-нибудь белая леди указывала ей, что она должна делать весь день. Так что, в соответствии со своим характером, она нашла вариант, который не входил в предложенные ей: она пошла на курсы секретарей, училась машинописи.

В те времена черная женщина, учившаяся печатать на машинке, была кем-то вроде слепого, который учится водить автомобиль. Это великолепная попытка, только тебя вряд ли когда-нибудь вызовут, чтобы выполнить задание. По закону офисная работа и квалифицированный труд были предназначены для белых. Черные не работали в офисах. Но мама была мятежницей.

К счастью для нее, ее мятеж случился в подходящий момент. В начале 1980-х годов правительство ЮАР начало проводить незначительные реформы, стремясь заглушить международный протест относительно преступлений и нарушений прав человека

режимом апартеида. Среди этих реформ был ограниченный наем черных работников на низшие офисные должности. Например, машинисток. Через агентство по трудоустройству она устроилась на работу секретарем в «ICI»^[2], мультинациональную компанию в Брамфонтейне, пригороде Йоханнесбурга.

Если спросить мою маму, представляла ли она себе, что значит иметь ребенка-мулата при апартеиде, она ответит, что нет. Когда она хотела что-то сделать, то придумывала способ это сделать, а потом делала. Если вы задумаетесь о последствиях, то никогда ничего не сделаете.

Когда мама начала работать, она все еще жила с моей бабушкой в Соуэто, тауншипе, куда правительство переселило мою семью за несколько десятилетий до этого. Но дома мама не была счастлива, и, когда ей исполнилось 21, она ушла, чтобы жить в центре Йоханнесбурга. Была только одна проблема: черные не могли жить там законно.

Главнейшей целью апартеида было сделать ЮАР «белой» страной. При этом каждый черный человек лишался гражданства и перемещался в «хоумленды», бантустаны – полусуверенные территории для черных, которые в реальности были марионеточными государствами, полностью зависимыми от находившегося в Претории правительства. Но эта так называемая «белая» страна не могла функционировать без «черного» труда, производившего материальные блага. А это означало, что пришлось разрешить черным людям жить рядом с «белыми» районами, но в тауншипах, гетто, построенных для проживания черных рабочих, таких, как Соуэто. Тауншип был местом твоего проживания, но ты имел право оставаться там только при одном условии – наличии статуса рабочего. Если по той или иной причине твои документы были аннулированы, тебя могли депортировать обратно в хоумленд.

Для того чтобы уехать из тауншипа (на работу в город или по любой другой причине), у тебя должен быть пропуск с идентификационным номером. В противном случае ты мог быть арестован. Также существовал комендантский час: после определенного часа все черные должны были находиться в тауншипе. В противном случае – арест.

Мою маму это не беспокоило. Она твердо решила больше никогда не возвращаться домой. Так что она оставалась в городе, прячась и ночуя в общественных туалетах. Пока не научилась правилам проживания в городе у других черных женщин, придумавших способы жить там, – проституток.

Многие городские проститутки были коса. Они говорили на языке моей матери и показали ей, как выживать. Они научили ее, как наряжаться в форму горничной, чтобы передвигаться по городу, не вызывая вопросов. Они познакомили ее с белыми мужчинами, желавшими сдать квартиры в городе. Многие из этих мужчин были иностранцами, немцами и португальцами, которых не волновали законы и которые были рады подписать договор на аренду, обеспечивая проститутке место для жизни и работы в обмен на определенные услуги.

Мою маму не интересовали подобные предложения, но, благодаря работе, у нее были деньги, чтобы платить арендную плату. Через одну из своих подруг-проституток она познакомилась с немецким парнем, и он согласился снять для нее квартиру на свое имя. Она переехала и накупила разнообразные формы горничных, чтобы их носить.

Ее все же неоднократно ловили и арестовывали за отсутствие удостоверяющего личность документа по дороге с работы домой. Или за то, что она находилась в «белых» районах после комендантского часа. Наказанием за нарушение законов о паспортизации было тридцатидневное тюремное заключение или штраф в пятьдесят рэндов – почти половина ее месячного заработка. Она наскребала деньги, платила штраф и продолжала заниматься своими делами.

Тайная квартира мамы находилась в районе под названием Хиллброу. Она жила в апартаментах под номером 203. А вниз по коридору жил высокий светловолосый голубоглазый немецкоязычный швейцарец – экспат^[3] по имени Роберт. Он жил в номере 206.

В ЮАР, как бывшей торговой колонии, всегда была большая община экспатов. Люди стекаются сюда. Куча немцев. Множество голландцев. В то время Хиллброу был в Южной Африке таким Гринвич-Виллиджем. Это был район процветающий, космополитичный и либеральный. Там были галереи и андеграундные театры, где художники и артисты осмеливались выступать с критикой правительства перед разношерстной толпой. Там был знаменитый артист Питер-Дирк Эйс, переодевшийся в придуманную им Эвиту и устраивавший в этой одежде сатирические моноспектакли, высмеивавшие режим африканеров. Там были рестораны и ночные клубы (многие из которых принадлежали иностранцам) со смешанной клиентурой: черные люди, ненавидевшие существующее положение дел, и белые люди, считавшие это попросту возмутительным. Эти люди также устраивали тайные посиделки, обычно в чьей-нибудь

квартире или пустых подвалах, превращенных в клубы. Такая интеграция по своей природе была политической акцией, но сами посиделки вовсе не были политическими. Люди встречались и развлекались, устраивали вечеринки.

Мама принимала в этом живейшее участие. Она всегда шла в какой-нибудь клуб, на какую-нибудь вечеринку, танцевала, знакомилась с людьми. Она постоянно бывала в телебашне Хиллброу, одном из самых высоких зданий Африки. Там был ночной клуб с вращающимся танцполом на верхнем этаже.

Это было замечательное, но все же полное опасностей время. Иногда рестораны и клубы закрывали, иногда нет. Иногда исполнителей и зрителей арестовывали, иногда нет. Дело случая. Мама никогда не знала, кому можно доверять, а кто может сдать ее в полицию. Соседи «стучали» друг на друга. У подружек белых мужчин, живших в том же здании, что и мама, были все основания донести, что среди них живет черная женщина (без сомнений, проститутка). И надо было помнить, что черные люди тоже работали на правительство. Например, белые соседи мамы могли подозревать, что она – шпион, изображающий из себя проститутку (изображающую из себя горничную), посланный в Хиллброу, чтобы доносить на белых, нарушающих закон. Так работает полицейское государство: каждый думает, что любой другой является полицейским.

Живя в городе в одиночестве, не пользуясь ничьим доверием и сама никому не доверяя, мама начала проводить все больше и больше времени в компании того, с кем она чувствовала себя в безопасности: высокого светловолосого швейцарца, живущего вниз по коридору в номере 206. Ему было сорок шесть лет, ей – двадцать четыре. Он был спокойным и сдержанным, она – дикой и свободной. Она заходила к нему в квартиру поболтать, они вместе отправлялись на подпольные посиделки, танцевали в ночном клубе с вращающимся танцполом. Что-то щелкнуло.

Я знаю, что между моими родителями были настоящие взаимопонимание и любовь. Я видел это. Но какими бы романтическими их отношения ни были, я не могу сказать, до какого момента они оставались просто друзьями. Есть вещи, о которых дети не спрашивают.

Так работает полицейское государство: каждый думает, что любой другой является полицейским.

Все, что я знаю – это то, что однажды она сделала предложение.

– Я хочу ребенка, – сказала она ему.

– Не хочу детей, – ответил он.

– Я не прошу тебя завести ребенка себе. Я прошу тебя помочь мне иметь ребенка. Я всего лишь хочу от тебя сперму.

– Я католик, мы не делаем подобные вещи, – сказал он.

– Знаешь, – сказала она, – я могла бы переспать с тобой и уйти, и ты бы никогда не узнал, есть ли у тебя ребенок или нет. Но я не хочу этого. Удостой меня своим «да», чтобы я могла жить спокойно. Я хочу ребенка для себя, и я хочу его от тебя. Ты сможешь видаться с ним, когда захочешь, но у тебя не будет никаких обязательств.

Ты не будешь должен разговаривать с ним. Тебе не придется платить за него. Просто сделай мне ребенка.

Для мамы тот факт, что этот мужчина не очень-то хочет создать с ней семью, существование закона, запрещавшего ему создать с ней семью, делал эту идею еще привлекательней. Она хотела ребенка, а не мужчину, который вмешался бы в ее жизнь и управлял ею. Что касается моего отца, я знаю, что он долгое время продолжал говорить «нет».

В конце концов, он сказал «да». Почему он согласился? На этот вопрос я никогда не найду ответа.

Через девять месяцев после того «да», 20 февраля 1984 г., маму приняли в больнице Хиллброу, где ей должны были сделать плановое кесарево сечение. Живущая отдельно от семьи, беременная от человека, с которым не могла появляться на людях, она была совсем одна. Врачи отвели ее в родильный зал, разрезали живот, залезли туда и достали полубелого, получерного ребенка, нарушившего многочисленные законы, постановления и правила: я был рожден преступником.

Когда врачи вынули меня, был тот неловкий момент, когда они сказали: «Ага. Это очень светлокожий ребенок». Быстро оглядев родильный зал, они не обнаружили ни одного мужчины, стоявшего рядом и готового взять на себя ответственность.

– Кто отец? – спросили они.

– Его отец из Свазиленда, – сказала мама, имея в виду крошечную, сухопутную страну к востоку от ЮАР.

Вероятно, они понимали, что она лжет, но приняли это, так как нуждались в объяснении. Во времена апартеида правительство отмечало в твоём свидетельстве о рождении все: расу, племя, национальность. Все должно было быть упорядочено. Мама солгала и сказала, что я родился в Кангване – полусуверенном хоумленде, бантустане для народа свази, живущего в ЮАР. Так что в моем свидетельстве о рождении не говорится, что я – коса, хотя я им, в принципе, являюсь. И в нем не говорится, что я швейцарец, чего бы не позволило

правительство. Там просто говорится, что я из другой страны.

Мой отец не был вписан в мое свидетельство о рождении. Официально он не был моим отцом. А мама, держа слово, была готова к тому, что он не будет принимать участия в нашей жизни. Она арендовала для себя новую квартиру в Жубер-Парке, районе, соседнем с Хиллброу, и туда она принесла меня из больницы.

На следующей неделе она пошла навестить моего отца, без меня. К ее удивлению, он спросил, где я. «Ты сказал, что не хочешь принимать в этом участия», – сказала она. Он не хотел, но – так как я уже существовал, он понимал, что не может иметь сына, живущего за углом, и не быть частью его жизни. Так что мы втроем стали своего рода семьей, насколько позволяло наше дикое положение. Я жил с мамой. Мы тайком навещали моего папу, когда могли это сделать.

Врачи отвели ее в родильный зал, разрезали живот, залезли туда и достали полубелого, получерного ребенка, нарушившего многочисленные законы, постановления и правила: я был рожден преступником.

Тогда как большинство детей уверено в любви своих родителей, я был уверен в их преступности. С папой я мог находиться только дома. Если мы выходили на улицу, ему приходилось идти по другой стороне дороги. Мы с мамой постоянно ходили в парк Жубер. Это Центральный парк Йоханнесбурга: красивые сады, зоопарк, огромная шахматная доска с фигурами в человеческий рост, которыми играли люди. Мама рассказывает мне, что однажды, когда я уже начал ходить, папа попробовал пойти с нами. Мы были в парке, он шел на довольно большом расстоянии от нас, а я побежал за ним с криком «Папа! Папа! Папа!» Люди начали на нас смотреть. Он был напуган. Он запаниковал и стал убегать. Я подумал, что это игра, и продолжал гнаться за ним.

Я не мог гулять и с мамой: светлокожий ребенок с черной женщиной вызвал бы слишком много вопросов. Когда я был новорожденным, она могла завернуть меня и брать куда угодно, но очень быстро это перестало быть вариантом. Я был крупным ребенком, огромным ребенком. Когда мне был год, можно было подумать, что мне два. Когда мне было два, можно было подумать, что мне четыре. Не было никакого способа меня спрятать.

Мама, как это было с ее квартирой и формой горничной, и здесь нашла лазейки в системе. Быть мулатом (когда один родитель белый, а другой – черный) было незаконно, но быть цветным (иметь обоих цветных родителей) незаконным не было.

Так что мама представляла меня миру как цветного ребенка. Она нашла ясли в цветном районе, где могла оставлять меня, когда работала.

В нашем здании жила цветная женщина по имени Куин. Когда мы хотели пойти погулять в парке, мама приглашала ее пойти с нами. Она шла рядом со мной и вела себя, словно была моей матерью, а мама шла в нескольких шагах позади, словно была служанкой, работавшей на эту цветную женщину. У меня есть десятки фотографий, где я гуляю с этой женщиной, которая похожа на меня (но не является моей матерью). А черная женщина позади нас, которая, кажется, случайно оказалась на фотографии, – моя мама.

Когда мы не могли пойти гулять с цветной женщиной, мама рисковала сама гулять со мной. Она держала меня за руку или на руках, но если появлялась полиция, ей приходилось опускать меня на землю, словно я мешок с травой, и делать вид, что я не ее ребенок.

Когда я родился, мама уже три года не видела свою семью, но она хотела, чтобы я знал их, а они знали меня. Так что блудная дочь вернулась. Мы жили в городе, но я по несколько недель проводил у бабушки в Соуэто, часто во время каникул. У меня столько воспоминаний об этом месте, что мысленно мы словно жили и там.

В городе, как бы ни было трудно по нему передвигаться, мы справлялись. На улицах было много людей, черных, белых и цветных, идущих на работу и с работы, и мы могли затеряться в толпе. Но в Соуэто могли жить только черные. Там было труднее спрятать кого-то вроде меня, и правительство наблюдало намного пристальней.

В «белых» районах полицию можно было увидеть нечасто, а если и увидеть, то «дружелюбного полицейского» в его рубашке с застегнутым воротничком и отутюженных брюках. В Соуэто полиция была оккупационной армией. Они не носили рубашек с застегнутыми воротничками. Они носили защитное снаряжение. Они были вооружены. Они работали командами, известными как «летучие отряды», потому что появлялись вдруг и ниоткуда, раскатывая в бронированных военных автомобилях (мы называли их бегемотами) с огромными шинами и прорезями по бокам автомобиля, откуда стреляли из своего оружия.

С «бегемотами» не связывались. Как только увидел – беги. Это была суровая реальность жизни. Тауншип постоянно находился в состоянии мятежа; кто-нибудь где-нибудь всегда маршировал или протестовал, и это надо было подавлять. Играя в бабушкином доме, я слышал ружейные выстрелы, крики, слышал,

как в толпу бросали гранаты со слезоточивым газом.

Во времена апартеида правительство отмечало в твоём свидетельстве о рождении все: расу, племя, национальность.

Все должно было быть упорядочено.

Мои воспоминания о «бегемотах» и «летучих отрядах» относятся к тому времени, когда мне было пять или шесть лет, когда апартеид, наконец, начал рушиться. До этого я никогда не видел полицию, так как мы не могли рисковать, чтобы полицейские увидели меня. Когда бы мы ни приезжали в Соуэто, бабушка не разрешала мне выходить на улицу. Если она присматривала за мной, это было: «Нет, нет, нет. Он не выходит из дома». Я мог играть за стеной, во дворе, но не на улице. А именно там, на улице, играли остальные дети. Мои двоюродные брат и сестра, дети из квартала, они открывали ворота, выбегали и носились на свободе, возвращаясь домой в сумерках. Я упрашивал бабушку разрешить мне выйти.

– Пожалуйста. *Пожалуйста*, можно я поиграю с двоюродным братом?

– Нет! Они заберут тебя!

Я долгое время думал, что под «они» она имеет в виду других детей, но она говорила о полицейских. Детей могли забрать. Детей на самом деле забирали. Ребенок не того цвета в районе не того цвета – и правительство могло прийти, лишит твоих родителей родительских прав, забрать тебя в приют. Для поддержания порядка в тауншипах правительство полагалось на свою сеть *impiris*, анонимных доносчиков, информировавших о подозрительных действиях. Были еще «блэкджеки», черные, работавшие на полицию. Бабушкин сосед был блэкджеком. Ей приходилось проверять, чтобы он не увидел, как она приводит меня в дом и уводит из дома.

Бабушка до сих пор рассказывает историю о случае, когда мне было три года. Мне надоело сидеть в заключении, и я прокопал яму в подъездной дорожке под воротами, протиснулся в нее и убежал. Все паниковали. Поисковая группа отправилась на поиски и выследила меня. Я даже не подозревал, какая опасность угрожала всем из-за меня. Семья могла быть депортирована, бабушка могла быть арестована, мама могла отправиться в тюрьму, а меня, возможно, запихнули бы в групповой дом для цветных детей.

Так что меня держали внутри. Не считая тех редких прогулок в парке, почти все обрывочные воспоминания о моем раннем детстве относятся к дому: я с мамой в ее крошечной квартирке, я

сам по себе у бабушки. У меня не было друзей. Я не был знаком с другими детьми, кроме двоюродного брата и сестры.

Тем не менее я не был одиноким ребенком – мне нравилось быть одному. Я читал книги, играл в игрушки, которые у меня были, создавал воображаемые миры. Я жил в своей голове. И сегодня я могу оставаться один часами и прекрасно себя развлекать. Мне приходится напоминать себе, что надо быть с людьми.

Люди – это люди, а секс – это секс, и я, безусловно, не был единственным ребенком, рожденным у черного и белого родителей во время апартеида. Путешествуя по миру сегодня, я все время встречаю других «смешанных» южноафриканцев. Наши истории начинались одинаково. Мы примерно одного возраста. Их родители встретились на какой-нибудь подпольной вечеринке в Хиллброу или Кейптауне. Они жили на нелегальной квартире. Разница была в том, что почти все остальные покинули страну. Белый родитель тайно провозил их через Лесото или Ботсвану, и они росли за границей, в Англии, Германии или Швейцарии, потому что создать смешанную семью во времена апартеида было невозможно.

Как только был избран Мандела, мы, наконец-то, смогли жить свободно. Уехавшие из страны тоже начали возвращаться. Первого из них я встретил, когда мне было лет семнадцать. Он рассказал мне свою историю, а я реагировал примерно так: «Погоди-ка, *что?* Ты имеешь в виду, мы могли *уехать?* Это был *вариант?*»

Представьте, что вас выбросили из самолета. Вы ударяетесь о землю и ломаете все кости, вас отправляют в больницу, и вы исцеляетесь и снова можете двигаться, и все, наконец, остается позади. А потом, однажды, кто-то рассказывает вам о парашюте.

Вот как я себя чувствовал. Я не мог понять, почему мы остались.

Я побежал домой и спросил маму.

– Почему? Почему мы попросту не уехали? Почему мы не уехали в Швейцарию?

– Потому что я не швейцарка, – сказала она так же упрямо, как всегда. – Это моя страна. Почему я должна была уезжать?

ЮАР – СОЧЕТАНИЕ СТАРОГО И НОВОГО, ДРЕВНЕГО И СОВРЕМЕННОГО, и идеальный пример этого – южноафриканское христианство. Мы приняли религию своих колонизаторов, но большинство придерживалось и старых верований предков, просто на всякий случай. В

ЮАР вера в Святую Троицу вполне гармонично сочетается с верой в заклинания и наложения проклятий на чьих-то врагов.

Я родом из страны, где люди, скорее, пойдут к sangomas (шаманам, традиционным целителям, известным под уничижительным прозвищем «знахарь»), чем к врачам западной медицины. Я родом из страны, где людей арестовывали и устраивали настоящий судебный процесс за колдовство. Я говорю не о 1700-х годах. Я говорю о том, что было пять лет назад.

Я помню, как кого-то привлекли к суду за то, что он ударил другого молнией. Это часто происходит в хоумлендах. Там нет высоких зданий, мало высоких деревьев – ничто не стоит между тобой и небом, так что людей постоянно поражают молнии. А когда кого-то убивает молнией, все знают, что это случилось потому, что кто-то заставил мать-природу нанести удар. Так что если у вас были разногласия с убитым молнией парнем, кто-нибудь обвинит вас в убийстве и к вам заявится полиция.

– Мистер Ной, вы обвиняетесь в убийстве. Вы использовали колдовство, чтобы убить Дэвида Кобуку, наслав на него удар молнии.

– Какие существуют доказательства?

– Доказательство – то, что Дэвид Кобуку был убит молнией, а ведь даже не шел дождь.

И вы отправляетесь в суд. Судебное разбирательство ведет судья. Есть досье. Есть прокурор. Ваш адвокат должен доказать отсутствие мотива, предъявить криминалистическую экспертизу места преступления и держать упорную оборону. Аргументом вашего адвоката не может быть «Колдовства не существует». Нет, нет, нет. Вы проигрываете.

Глава 3

Тревор, молись!

Я вырос в мире, где правили женщины. Мой отец был любящим и преданным, но я мог видеть его только тогда и там, когда и где позволял апартеид. Мой дядя Велайл, самый младший брат мамы, жил с бабушкой, но большую часть времени он проводил в местной таверне, ввязываясь в драки.

Единственным мужчиной, почти регулярно появлявшимся в моей жизни, был дедушка, мамин папа. Он был силой, с которой приходилось считаться. Дедушка с бабушкой были в разводе, и он не жил с нами, но часто заходил. Его звали Темперанс Ной^[4], что было странно, так как уж сдержанным человеком он вовсе не был. Он был буйным и шумным. В квартале его прозвали «Тат Шиша», что переводится примерно как «сногшибательный дедуля». И он был именно таким. Он любил женщин, а женщины любили его. Время от времени по вечерам он надевал лучший костюм и прогуливался по улицам Соуэто, вызывая на всех лицах улыбку и очаровывая всех встреченных женщин. У него была широкая ослепительная улыбка и белые зубы – искусственные. Дома он снимал вставную челюсть, и я видел, как он это делает. Выглядел он при этом так, словно ел собственное лицо.

Много лет спустя мы узнали, что у него было биполярное расстройство, но до этого мы считали его просто эксцентричным. Однажды он взял мамин автомобиль, чтобы съездить в магазин за молоком и хлебом. Он исчез и вернулся домой только поздним вечером, когда нам уже давно не были нужны ни молоко, ни хлеб. Выяснилось, что он проезжал мимо стоявшей на автобусной остановке молодой женщины и, будучи уверенным, что ни одна красивая женщина не должна ждать автобуса, предложил подвезти ее до дома – в трех часах езды. Мама разозлилась на него, потому что это стоило нам полный бак бензина, которого хватило бы, чтобы две недели добираться до работы и школы.

Когда он был в приподнятом настроении, его ничто не могло остановить, но перепады его настроения были резкими. В юности дедушка был боксером, и однажды он сказал мне, что я его не уважаю и он хочет со мной боксировать. Было ему тогда за восемьдесят. Мне было двенадцать. Он поднял кулаки, начал кружить вокруг меня. «Давай, Тревор! Давай! Поднимай кулаки! Ударь меня! Я покажу тебе, что я все еще мужчина! Давай!» Я не мог его ударить, потому что не собирался бить старшего члена своей семьи. К тому же я никогда еще не дрался и не хотел, чтобы

моя первая драка была с восьмидесятилетним стариком. Я побежал к маме, и она заставила его остановиться. Через день после вспышки боксерской ярости он сидел в кресле и за весь день не двинулся и не сказал ни слова.

Темперанс жил со своей второй семьей в Мидоулендсе^[5]. Приезжали мы туда нечасто, потому что мама и бабушка всегда опасались, что их отравят. Такое у нас случалось. Все имущество умершего мужчины наследовала его первая семья, так что всегда существовала возможность, что вторая семья ее может отравить. Это было что-то вроде «Игры престолов» для бедных. Мы приходили в тот дом, и мама предупреждала меня:

– Тревор, не пробуй еду.

– Но я есть хочу!

– Нет. Они могут отравить нас.

– Ладно, но почему бы мне просто не помолиться Иисусу, чтобы Иисус убрал яд из еды?

– Тревор! *Sun'qhela!*

Так что я виделся с бабушкой только время от времени, а когда он умер, дом оказался во власти женщин.

Кроме мамы была еще моя тетя Спонгхили. У них с ее первым мужем, Динки, было двое детей – Млунгиси и Булелва. Спонгхили была авторитетом, во всех смыслах сильной женщиной, полногрудой домохозяйкой. Динки^[6], как и значило его имя, был малозначительной личностью. Роста он был небольшого. Любил ругаться, но не всерьез. Казалось, что он, скорее, пытается быть грубым, но это у него не очень-то получалось. Он старался соответствовать тому образу мужа, каким тот, по его мнению, должен был быть: главным, руководящим. Помню, как он говорил мне, когда я был ребенком: «Если ты не бьешь свою женщину, ты ее не любишь». Именно такие рассуждения можно было услышать от мужчин в барах и на улицах.

Динки пытался выдавать себя за главу семьи, которым на самом деле не был. Он давал тете пощечины и бил ее, она терпела и терпела, пока, наконец, не давала пощечину ему, одерживая над ним верх и ставя его на место. Динки всегда разглагольствовал в стиле «Я командую своей женщиной». И хотелось сказать: «Динки, во-первых, нет. Во-вторых, тебе это не нужно. Потому что она любит тебя».

Помню, как однажды он ее действительно достал. Я был во дворе, а Динки выбежал из дома, крича благим матом. Спонгхили бежала прямо за ним с кастрюлей кипящей воды, проклиная его и угрожая облить кипятком.

В Соуэто можно было постоянно слышать о мужчинах, облитых кипятком, – часто это было единственным средством

защиты женщин. И мужчинам везло, если это была кипящая вода. Некоторые женщины использовали горячее масло. Вода означала, что женщина хочет дать своему мужчине урок. Масло означало, что она хочет закончить отношения.

Моя бабушка, Фрэнсис Ной, была матриархом семьи. Она управляла домом, присматривала за детьми, готовила и занималась уборкой. Ростом едва метр пятьдесят, сгорбленная из-за долгих лет работы на фабрике, но твердая, как камень, и до сегодняшнего дня очень активная и очень энергичная. Там, где дедушка был важным и буйным, бабушка была спокойной, расчетливой, очень сообразительной. Если нужно узнать что-нибудь из истории семьи, начиная с 1930-х годов, она может рассказать, в какой день это случилось, где это случилось и почему это случилось. Она помнит все.

Моя прабабушка тоже жила с нами. Мы называли ее Коко. Она была очень старой, далеко за девяносто, согбенной и хрупкой, абсолютно слепой. Ее глаза стали абсолютно белыми, затянутыми бельмами. Она не могла ходить, если кто-нибудь ее не поддерживал. Она сидела на кухне рядом с топящейся углем печью, замотанная в длинные юбки и шали, с укутанными плечами плечами. Угольная печь всегда горела. Она предназначалась для обогрева дома, приготовления еды, нагревания воды для мытья. Мы сажали прабабушку там, потому что это было самым теплым местом в доме. Утром кто-нибудь будил ее и помогал добраться до кухни. Вечером кто-нибудь отводил ее в кровать. Это все, что она делала – целый день, каждый день. Сидела у печи. Она была замечательной и доброй. Просто она не могла видеть и не двигалась.

Коко и бабушка часто сидели вместе и вели долгие разговоры, но когда мне было пять лет, я не думал о Коко как о реальном человеке. Так как ее тело не двигалось, она напоминала говорящий разум.

Наши отношения представляли собой вопросы и ответы, словно разговор с компьютером.

- Доброе утро, Коко.
- Доброе утро, Тревор.
- Коко, ты ела?
- Да, Тревор.
- Коко, я иду гулять.
- Хорошо, будь осторожен.
- Пока, Коко!
- Пока, Тревор!

Тот факт, что я рос в мире, где главенствовали женщины, не

Потом все прощались и расходились по домам. Следующий вечер, другой дом, все то же самое.

Я всегда с нетерпением ждал вторников (когда по вечерам молитвенные собрания проходили в бабушкином доме) по двум причинам. Во-первых, такт во время пения отбивал я. А во-вторых, я любил молиться.

Бабушка всегда говорила мне, что ей нравятся мои молитвы. Она верила, что мои молитвы более сильные, потому что я молился на английском. Все знали, что Иисус говорит по-английски, ведь он – белый. Библия на английском языке. Да, Библия не была *написана* на английском, но в ЮАР она попала на английском, так что для нас она была английской. Что делало мои молитвы лучшими молитвами, потому что на английские молитвы отвечают в первую очередь.

Откуда мы это знали? Посмотрите на белых людей. Очевидно, что они попадают по адресу. Прибавьте сюда из Евангелия от Матфея, 19:14. «Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное».

А если ребенок молится на английском? Белому Иисусу? Несомненно, это – мощная комбинация. Когда бы я ни молился, бабушка говорила: «На эту молитву будет ответ. Я *чувствую* это».

Женщинам в тауншипе всегда было о чем помолиться: денежные проблемы, сын, который арестован, дочь, которая заболела, муж, который пьет. Когда бы молитвенные собрания ни проходили в нашем доме, бабушка хотела, чтобы я за них помолился, потому что мои молитвы были такими хорошими. Она поворачивалась ко мне и говорила: «Тревор, молись». И я молился. Я любил это делать. Бабушка убедила меня, что мои молитвы получают ответ. Я чувствовал, что помогаю людям.

В Соуэто есть что-то волшебное. Да, он был тюрьмой, созданной нашими притеснителями, но он также давал нам ощущение самостоятельности и самоуправления. Соуэто был нашим. Он обладал мотивирующей способностью, которую вы больше нигде не найдете. В Америке мечтой было выбраться из гетто. В Соуэто, так как покинуть гетто было невозможно, мечтой было преобразить гетто.

Для миллиона людей, живших в Соуэто, не было магазинов, не было баров, не было ресторанов. Не было асфальтированных дорог, электроснабжение было минимальным, канализация плохой. Но если собрать миллион людей в одном месте, они найдут выход. Так что рос «черный рынок», где в чем-нибудь

доме мог вестись бизнес любого рода: услуги автомеханика, детский сад, ребята, продающие восстановленные покрышки.

Самыми распространенными были магазины *spaza* и *shebeens*.

Магазины *spaza* были неофициальными продуктовыми магазинами. Люди строили в своем гараже киоск, оптом покупали хлеб и яйца, а потом продавали их в розницу. В тауншипе все покупали продукты в небольшом количестве, так как денег у всех было мало. Ты не мог позволить себе купить сразу дюжину яиц, это было слишком дорого. Но ты мог купить два яйца, так как этого было достаточно на утро. Ты мог купить четверть буханки хлеба, чашку сахара.

Shebeens были незаконными барами в задней части чьего-нибудь дома. Во дворе ставили стулья, вешали тент и устраивали подпольный бар. В *shebeens* мужчины ходили, чтобы выпить после работы и во время молитвенных собраний, а также почти в любое другое время дня.

Люди строили дома так же, как покупали яйца, – постепенно. Правительство выделяло каждой семье в тауншипе участок земли. Сначала ты строил на своем участке сарай, временное сооружение из фанеры и рифленого железа. Со временем ты, накопив денег, строил кирпичную стену. Одну стену. Затем ты копил дальше, чтобы построить еще одну стену. Потом, годы спустя, появлялась третья стена и, наконец, четвертая. Теперь у тебя была комната, одна комната, где все члены твоей семьи спали, ели, занимались всеми делами. Затем ты копил на крышу. Потом на окна. Потом штукатурил постройку. Потом у твоей дочери появлялась семья. Им некуда было идти, поэтому они стали жить с тобой. Ты пристроил к своей кирпичной комнате еще одно сооружение из рифленого железа и медленно, годами, превращал его в нормальную комнату для них. Теперь в твоём доме было две комнаты. Потом три. Может быть, четыре. Медленно, в течение поколений, ты пытался добиться того, чтобы у тебя был дом.

Она поворачивалась ко мне и говорила:

«Тревор, молись». И я молился.

Я любил это делать. Бабушка убедила меня, что мои молитвы получают ответ.

Я чувствовал, что помогаю людям.

Бабушка жила в тауншипе Орландо-Ист. У нее был двухкомнатный дом. Нет, не дом с двумя спальнями, а двухкомнатный дом. В нем была спальня и была гостиная/кухня/комната для всего остального. Кто-то может сказать, что мы жили, как бедняки. Я предпочитаю выражение «свободная

планировка». Мы с мамой жили там во время школьных каникул. Тетя и ее дети, мои двоюродные брат и сестра, тоже могли быть там, если тетя была в ссоре с Динки. Мы все спали на полу в одной комнате – мама, я, тетя, двоюродные брат и сестра, дядя, бабушка и прабабушка. У каждого взрослого был собственный поролоновый матрас, и был еще один большой поролоновый матрас, который раскатывали посреди комнаты, – все дети спали на нем.

На заднем дворе у нас было два сарая, которые бабушка сдавала в аренду мигрантам и сезонным рабочим. В крошечном дворе с одной стороны дома росло маленькое персиковое дерево, с другой стороны у бабушки была подъездная дорожка.

Я так и не понял, почему у бабушки была подъездная дорожка. У нее не было автомобиля. Она не умела водить. Но у нее была подъездная дорожка. У всех наших соседей были подъездные дорожки. И ни у одного из них не было автомобиля. И в обозримом будущем у большинства этих семей не могло появиться автомобиля. Возможно, здесь был один автомобиль на тысячу человек, но почти у всех были подъездные дорожки. Казалось, что строительство подъездной дорожки было чем-то вроде мечты об автомобиле. История Соуэто – это история подъездных дорожек. Это место, полное надежд.

К сожалению, какими бы причудливыми ни были ваши ворота или подъездные дорожки, была одна вещь, об улучшении которой можно было даже не мечтать: туалет. В домах не было водопровода, был только один общий кран на улице и один уличный туалет. Этими «общаками» пользовались шесть или семь домов.

Наш туалет был «скворечником» из рифленого железа, мы пользовались им вместе с несколькими соседними домами. Внутри была бетонная плита с дырой и пластиковым сиденьем поверх. Когда-то была и крышка, но она давным-давно сломалась и исчезла. Мы не могли позволить себе покупать туалетную бумагу, так что на стене рядом с сиденьем был проволоочный держатель со старыми газетами. Использовать газеты было неприятно, но, по крайней мере, я получал информацию, пока делал свои дела.

Мухи – вот чего я терпеть не мог в сортире. До дна было далеко, и они всегда были там, питаюсь нечистотами, а у меня был иррациональный всепоглощающий страх, что они собираются взлететь и забраться мне в задницу.

Однажды, когда мне было лет пять, бабушка оставила меня дома на несколько часов и ушла по делам. Я лежал на полу в спальне и читал. Мне надо было выйти, но лил дождь. Я боялся

идти по улице под дождем к туалету, промокнув до нитки, а вода капала бы на меня с прохудившегося потолка. Да еще – мокрые газеты, мухи, атакующие меня снизу... Потом у меня появилась мысль. Зачем вообще беспокоиться по поводу сортира? Почему бы не положить газету на пол и не сделать свои дела, как щенок? Так я и сделал. Я взял газету, положил ее на пол в кухне, снял штаны, присел на корточки и приступил.

Когда ты облегчаешься, то в момент, когда ты только присел, процесс еще не совсем начался. Ты еще не гадающий человек. Ты пока на переходе от человека, который собирается облегчиться, к человеку, который облегчается. Ты не сразу выхватываешь свой смартфон или газету. Требуется минута, чтобы процесс пошел, чтобы ты расслабился и почувствовал себя удобно. Как только ты достигаешь этого момента, все идет на лад.

Это яркое впечатление, облегчение. В этом есть что-то волшебное, даже проникновенное. Я думаю, бог распорядился, чтобы люди облегчались так, как облегчаются, потому что это возвращает нас на землю и придает нам смирение. И неважно, кто ты. Все мы гадим одинаково. Бейонсе облегчается. Папа римский облегчается. Королева Елизавета облегчается. Когда мы облегчаемся, то забываем о своей важности и месте в обществе, забываем, насколько мы знамениты или богаты. Все это исчезает.

Ты никогда не бываешь настолько самим собой, как когда гадишь. Это тот момент, когда ты осознаешь: *«Это я. Я такой, как есть»*. Мочиться ты можешь, не задумываясь ни на секунду, но с облегчением дело обстоит не так. Смотрели ли вы когда-нибудь в глаза младенца, когда он какает? Это момент абсолютной погруженности в себя.

А вот предназначенный для тебя ветхий сортир... Дождь, мухи у тебя отняли этот момент, а ни у кого нельзя его отнимать. Сидя на корточках и облегчаясь на кухонный пол в тот день, я думал что-то вроде: *«Вау! Мух нет. Стресса нет. Это действительно здорово. Мне это правда нравится»*. Я знал, что сделал отличный выбор, я очень гордился собой за этот выбор. Я достиг того момента, когда мог расслабиться и быть самим собой. Потом я мимоходом оглядел комнату, взглянул налево, а там, буквально в метре от меня, прямо у угольной печи, сидела Коко.

Это было как в сцене из *«Парка Юрского периода»*, когда дети обернулись, и прямо рядом с ними был тираннозавр. Ее глаза были широко открытыми, мутно-белыми, и она водила ими по комнате. Я знал, что она не может меня видеть, но она стала морщить нос: она могла чувствовать, что что-то здесь не так.

Я запаниковал. Все, что можно сделать во время облегчения, – закончить процесс. Моим единственным вариантом

было закончить как можно тише и спокойней, именно так я и решил поступить. Потом: тишайший *плюх* какашки маленького ребенка на газету. Голова Коко повернулась на звук.

– Кто там? Эй? Эй?!

Я замер. Задержал дыхание и ждал.

– Кто там? Эй?!

Я сидел тихо, ждал, потом продолжил свое.

– Есть кто-нибудь?! Тревор, это ты?! Фрэнсис? Эй? Эй?

Она начала выкрикивать имена всех членов семьи. «Номбуйисело? Спонгхили? Млунгиси? Булелва? Кто там? Что происходит?»

Это было похоже на игру, словно я пытался спрятаться, а слепая женщина пыталась меня найти, используя эхолотатор. Каждый раз, когда она звала, я замирал. Была полная тишина. «Кто здесь? Эй?!» Я делал паузу, ждал, чтобы она снова устроилась на стуле, потом продолжал.

Строительство подъездной дорожки было чем-то вроде мечты об автомобиле.

История Соуэто – это история подъездных дорожек. Это место, полное надежд.

Наконец, когда, казалось, прошла вечность, я закончил. Я встал, взял газету (это было не очень-то тихо) и ме-е-е-едленно свернул ее. Она зашуршала. «Кто здесь?» Я снова остановился, подождал. Потом получше свернул ее, подошел к мусорному ведру, положил свой грех на дно, осторожно прикрыл его другим мусором. Потом на цыпочках вернулся в другую комнату, устроился на матрасе на полу и притворился спящим. Дело было сделано, выходить из дома не пришлось, а Коко осталась в неведении.

Миссия выполнена.

Час спустя бабушка вернулась домой. В ту же секунду, как она вошла, Коко позвала ее.

– Фрэнсис! Слава богу, ты здесь. В доме что-то произошло.

– Что это было?

– Не знаю, но я слышала это, и был запах.

Бабушка начала принюхиваться. «Господи! Да, я тоже чувствую запах. Это крыса? Кто-то сдох? Это определенно в доме».

Они продолжали выдвигать предположения, очень обеспокоенно, а потом, когда начало темнеть, с работы домой вернулась мама. Как только она вошла, бабушка позвала ее.

– О, Номбуйисело! Номбуйисело! В доме что-то произошло!

– Что?! Что ты имеешь в виду?

Коко рассказала ей историю про звуки и запахи.

Потом мама, очень чувствительная к запахам, начала ходить по кухне, принюхиваясь. «Да, я чувствую это. Я могу это найти... Я могу это найти». Она подошла к мусорному ведру. «Это здесь». Она вынула мусор, достала из-под него скомканную газету, развернула ее, а там была моя какашка. Она показала это бабушке.

– Смотри!

– Что?! Как это сюда попало?!

Коко, слепая, прикованная к стулу, умирала от нетерпения узнать, что происходит.

– Что происходит?! – кричала она. – Что происходит?! Вы нашли это?!

– Это дерьмо, – сказала мама. – На дне мусорного ведра было дерьмо.

– Но как?! – спросила Коко. – Здесь никого не было!

– Ты уверена, что здесь никого не было?

– Да. Я всех звала. Никто не пришел.

– Нас заколдовали! – ахнула мама.

Бес. Для мамы это было логичным умозаключением. Потому что именно так работает колдовство. Если кто-нибудь проклинает тебя или твой дом, всегда есть талисман или тотем, пучок волос или кошачья голова, физическое воплощение духовного, подтверждение присутствия беса.

Как только мама нашла дерьмо, началось настоящее светопреставление. Это было *серьезно*. У них было *свидетельство*. Она вошла в «спальню».

– Тревор! Тревор! Просыпайся!

– Что?! – сказал я, притворяясь сонным. – Что происходит?!

– Пошли! У нас в доме бес!

Она схватила меня за руку и вытащила из постели. Все собрались, пришло время действовать. Первое, что мы должны были сделать, – выйти на улицу и сжечь дерьмо. Это то, что надо делать с колдовством: единственный способ разрушить его – сжечь физическое проявление. Мы пошли во двор, мама положила газету с моей какашкой на подъездную дорожку, зажгла спичку и подожгла ее. Потом мама и бабушка встали у горящего дерьма, молились и пели псалмы.

*Это то, что надо делать с колдовством:
единственный способ разрушить его – сжечь физическое
проявление.*

Но суматоха на этом не закончилась, потому что когда бес находится рядом, вся община должна объединиться и прогнать

его. Если ты не принимаешь участие в молитве, бес может уйти из нашего дома, пойти в твой дом и проклясть тебя. Так что нам нужны были все. Поднялась тревога. Раздался клич. Моя маленькая старая бабушка вышла за ворота, ходила туда-сюда по кварталу, созывая всех других бабуль на срочное молитвенное собрание. «Пойдем! На нас напустили порчу!»

Я стоял, мое дерьмо горело на подъездной дорожке, моя бедная старая бабушка в панике носилась вверх и вниз по улице, а я не знал, что делать. Я знал, что беса нет, но не было никакого способа признаться. Мне придется выдержать порку? Господи. Честность никогда не была лучшей тактикой, если речь идет о порке. Я молчал.

Секундами позже начали стекаться бабули с Библиями в руках, они входили через ворота и шли по подъездной дорожке, десяток, а может, и больше. Все вошли в дом. Дом был набит битком. Это, без сомнений, было крупнейшим молитвенным собранием из всех, когда-либо проходивших в нашем доме. Вообще, крупнейшим мероприятием, случившимся за всю историю нашего дома. Все расселись кружком, молились и молились, и молитвы были сильными. Бабули говорили нараспев и шептали, качались вперед-назад, бубнили. Я изо всех сил старался не поднимать голову и не вмешиваться. Потом бабушка потянулась назад, схватила меня, вытащила в центр круга и посмотрела мне в глаза.

– Тревор, молись.

– Да! – сказала мама. – Помоги нам! Молись, Тревор! Молись богу, чтобы он убил беса!

Я был напуган. Я верил в силу молитвы. Я знал, что мои молитвы *работают*. Так что – если бы я помолился богу, чтобы он убил то, что оставило дерьмо, а тем, что оставило дерьмо, был я, тогда бог убил бы меня. Я замер. Я не знал, что делать. Но все бабули смотрели на меня, ждали, чтобы я помолился, так что я молился, стараясь как можно больше запинаться.

«Дорогой господь, пожалуйста, защити нас, эм-м-м, ты знаешь, – от того, кто это сделал, но, на самом деле, мы не знаем, что точно случилось, и, может быть, произошло большое недопонимание, и, знаешь ли, может быть, нам не следовало делать поспешных выводов, ведь мы не знаем всей истории, и, я имею в виду, что тебе, конечно, виднее, небесный отец, но, может быть, на этот раз это на самом деле был не бес, потому что кто может точно сказать, так что, может, стоит отсрочить исполнение приговора, кто бы это ни был...»

Это не было моим лучшим выступлением. В конечном счете я свернул его и сел. Молитва продолжалась. Она продолжалась еще некоторое время. Молитва, пение, молитва. Пение, молитва, пение. Пение, пение, пение. Молитва, молитва, молитва. Наконец, все почувствовали, что бес ушел, и жизнь может продолжаться. Мы долго тянули «аминь», потом все пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по домам.

Той ночью я чувствовал себя ужасно. Перед тем как пойти спать, я тихо помолился. «Господи, я так сожалею обо всем. Я понимаю, что это было не здорово». Потому что я знал: бог отвечает на твои молитвы. Бог – твой отец. Это мужчина, который всегда с тобой, мужчина, который о тебе заботится. Когда ты молишься, он откладывает дела, он тратит свое время и слушает. А я заставил его два часа выслушивать молитвы бабуль, хотя знал, что в мире столько боли и страданий, и у него есть дела поважнее, чем разбираться с моим дерьмом.

КОГДА Я РОС, МЫ СМОТРЕЛИ РЕТРАНСЛЯЦИИ АМЕРИКАНСКИХ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ на наших телеканалах: «Доктор Дуги Хаузер», «Она написала убийство», «Служба спасения 911» с Уильямом Шетнером. Большинство из них было дублировано на африканские языки. «Альф» шел на африкаанс. «Трансформеры» – на сото. Но если вы хотели посмотреть их на английском, оригинальная американская аудиозапись синхронно транслировалась по радио. Надо было выключить звук телевизора и слушать ее. Я осознал, что, когда на экране появлялись черные люди, говорившие на африканских языках, они казались мне привычными. Они звучали так, как и должны были звучать. Потом я слышал их в синхронной трансляции по радио, и у всех был афроамериканский акцент. Мое восприятие этих людей менялось. Они не казались привычными. Они казались незнакомцами.

Язык несет в себе самосознание и культуру, или как минимум их восприятие. Общий язык говорит: «Мы одинаковые». Языковой барьер говорит: «Мы разные». Строители апартеида это понимали. Частью попыток разделить черных людей было обеспечение того, чтобы мы были разделены не только физически, но и с точки зрения языка. В школах банту детей учили только на родном языке. Дети зулусов учились на зулу. Дети тсвана – на тсвана. Из-за этого мы попали в ловушку, уготованную нам правительством, и боролись друг с

другом, будучи уверенными в том, что мы – разные.

В языке великолепно то, что вы с той же легкостью можете использовать его, чтобы сделать обратное: убедить людей, что они одинаковые. Расизм учит нас, что мы разные из-за цвета нашей кожи. Но так как расизм глуп, его легко обмануть. Если вы расист и встречаете того, кто выглядит не так, как вы, тот факт, что он не может разговаривать так же, как вы, усиливает ваши расистские предубеждения: он другой, менее разумный. Замечательный ученый может приехать из Мексики, чтобы жить в Америке, но если он говорит на ломаном английском, люди скажут: «Ну, я не доверяю этому парню».

– Но он ученый.

– Может быть, в мексиканской науке. Я ему не доверяю.

Но если человек, который выглядит не так, как вы, говорит так, как вы, ваш мозг замыкает, потому что в вашей расистской программе нет инструкций на этот случай. «Погоди-ка, – говорит ваш разум, – расистская программа говорит, что, если он выглядит не так, как я, он не такой, как я. Но языковой код говорит, что если он говорит, как я, то он... такой же, как и я? Здесь что-то не так. Я не могу этого понять».

Глава 4

Хамелеон

Однажды я играл с двоюродными братом и сестрой. Я был врачом, а они – моими пациентами. Я оперировал ухо кузины Булелвы при помощи нескольких спичек и случайно проткнул ей барабанную перепонку. Началось светопреставление. Бабушка прибежала с кухни: «*Kwenzeka ntoni?* Что случилось?!» Из головы сестры текла кровь. Мы все плакали. Бабушка запихала что-то в ухо Булелвы, чтобы кровотечение остановилось. Но мы продолжали плакать. Мы ясно понимали, что сделали что-то такое, чего не должны были делать, и знали, что нас накажут. Бабушка закончила возиться с ухом Булелвы, достала ремень и выбила из нее дурь. Потом она выбила дурь из Млунгиси. Меня она не тронула.

Позже вечером мама пришла домой с работы. Она увидела мою кузину с повязкой на ухе и бабушку, плачущую у кухонного стола.

– Что происходит? – спросила мама.

– Ой, Номбуйисело, – ответила бабушка, – Тревор такой озорной. Он самый озорной ребенок из всех, что я видела в жизни.

– Тогда тебе надо было его побить.

– Я не могу его бить.

– Почему?

– Потому что я не знаю, как ударить белого ребенка, – сказала она. – Как черного – знаю. Когда ты бьешь черного ребенка, он остается черным. Когда ты бьешь Тревора, он становится синим, и зеленым, и желтым, и красным. Раньше я никогда не видела таких цветов. Я боюсь сломать его. Я не хочу убить белого человека. Я боюсь. Я не собираюсь его трогать.

И она никогда меня не трогала.

Бабушка обращалась со мной так, словно я был белым. Дедушка тоже, но еще в большей степени. Он называл меня «Маста»^[7]. Когда мы ехали на автомобиле, он настаивал на том, чтобы везти меня так, словно был моим шофером. «Маста всегда должен сидеть на заднем сиденье». Я никогда не пробовал переубедить его. Что я должен был сказать? «Дедушка, я думаю, что ты неправильно думаешь о расах». Нет. Мне было пять лет. Я сядился сзади.

Было так много преимуществ быть «белым» в черной семье, что все и не перечесть. Мне жилось замечательно. Моя семья, в

общем-то, делала то, что делает американская судебная система: со мной обращались более мягко, чем с черными детьми. За плохое поведение, за которое двоюродные брат и сестра были бы наказаны, я получал предупреждение и обходился без наказания. А я был намного более озорной, чем они. Намного. Если что-нибудь ломалось или кто-нибудь таскал бабушкино печенье – это был я. Я был проблемой.

Мама была единственной силой, которую я по-настоящему боялся. Она была уверена: пожалеешь розгу – испортишь ребенка. Но остальные говорили: «Нет, он же другой». И делали мне поблажки. Подрастая в таких условиях, я начал понимать, как легко белым людям существовать в системе, дарующей им все привилегии. Я знал, что двоюродных брата и сестру порол за то, что сделал я, но не был заинтересован в том, чтобы менять взгляды бабушки: ведь это означало бы, что меня тоже будут пороть. Зачем мне это делать? Буду ли я тогда *чувствовать* себя лучше? Если меня будут пороть, я не буду чувствовать себя лучше. Такая дилемма: могу бороться с расистскими взглядами в нашей семье или наслаждаться бабушкиным печеньем. Я выбрал печенье.

В то время я не думал, что особое отношение было связано с цветом кожи. Я думал, что оно было связано с Тревором. То есть это было не «Тревога не бьют, потому что Тревор белый». Это было «Тревога не бьют, потому что Тревор – это Тревор». Тревор не может выходить на улицу. Тревор не может гулять без присмотра. Просто я – это я, вот почему это происходит. У меня не было других точек отсчета. В округе больше не было детей-мулатов, так что я не мог сказать: «О, это происходит с нами».

В Соуэто жил примерно один миллион человек. 99,9 % из них были черными. И был я. В своем районе я был знаменит только из-за цвета своей кожи. Я был настолько уникален, что люди указывали направление, используя в качестве ориентира меня. «Дом находится на улице Махалима. На углу вы увидите светлого мальчика. Там поверните направо».

Когда бы дети на улице ни видели меня, они кричали «*Indoda yomlu-ngu!*» («Белый человек!»). Некоторые убегали. Другие звали родителей посмотреть. Кое-кто подбегал и пытался до меня дотронуться, чтобы проверить, настоящий ли я. Это был кромешный ад. В то время я абсолютно не понимал, что другие дети на самом деле не имеют ни малейшего представления о том, что такое белый человек. Черные дети из тауншипа не покидали тауншип. Телевизоры были у немногих. Они видели, как по улицам проезжают белые полицейские, но никогда не

сталкивались с белым человеком лицом к лицу.

Я ходил на похороны, и, когда я входил, потерявшие близких поднимали глаза, видели меня и переставали плакать. Они начинали перешептываться. Потом махали мне рукой и говорили: «Привет!», словно их больше потрясло мое появление, а не смерть тех, кого они любили. Думаю, люди чувствовали что-то вроде того, что умерший был более важной персоной, потому что на похороны пришел белый человек.

– Я не могу его бить.

– Почему?

– Потому что я не знаю, как ударить белого ребенка.

Когда ты бьешь черного ребенка, он остается черным.

Когда ты бьешь Тревора, он становится синим, и зеленым, и желтым, и красным. Я не хочу убить белого человека.

Я боюсь. Я не собираюсь его трогать.

После похорон и церковной службы скорбящие отправлялись на поминки в дом понесшей потерю семьи. Могла прийти сотня людей, и вы должны были их накормить. Обычно у семьи была корова, которую забивали, и соседи приходили, чтобы помочь с готовкой. Соседи и знакомые ели во дворе и на улице, а члены семьи – в доме. На всех похоронах, которые я посещал, я ел в доме. Неважно, знали ли мы усопшего или нет. Семья видела меня и приглашала в дом. «*Awunakuvumela umntana womlungu ame ngaphandle. Yiza naye apha ngaphakathi*». «Нельзя оставлять белого ребенка на улице. Приведите его сюда».

Будучи ребенком, я понял, что люди бывают разных цветов, но в моей голове белый, черный и коричневый были как сорта шоколада. Папа был белым шоколадом, мама – темным шоколадом, а я – молочным шоколадом. Но все мы были просто шоколадками. Я не знал, что это имело какое-то отношение к «расе». Я не знал, что такое раса. Мама никогда не говорила о папе как о белом или обо мне как о мулате. Так что когда другие дети в Соуэто называли меня «белым», хотя на самом деле я был светло-коричневым, я просто думал, что они путают цвета, словно плохо выучили их названия. «Ах, да, дружок. Ты перепутал цвет морской волны с бирюзовым. Понимаю, почему ты сделал эту ошибку. Не ты первый».

Вскоре я понял, что эффективнейший способ построить мост через пропасть между расами – использовать язык. Соуэто был плавильным котлом. Семьи из различных племен и хоумлендов. Большинство детей в тауншипе говорили только на своих родных языках, но я выучил различные языки, потому что рос в доме, где не было никаких других вариантов, кроме как выучить их. Мама

сделала все, чтобы первым языком, на котором я заговорил, был английский. Если ты – черный, живущий в ЮАР, английский язык – единственное, что поможет тебе выбиться в люди. Английский – язык денег. Знание английского отождествлялось с интеллигентностью. Если ты искал работу, знание английского определяло, получишь ли ты ее или останешься безработным. Если ты попадал на скамью подсудимых, знание английского определяло, отделаешься ли ты штрафом или отправишься в тюрьму.

После английского языком, на котором мы говорили дома, был коса. Когда мама злилась, она переходила на свой родной язык. Как непослушный ребенок, я получал достаточную порцию угроз на коса. Они были первыми фразами, которые я выучил, большинство из них касалось моей же безопасности, например: «*Ndiza kubetha entloko*» – «Я дам тебе подзатыльник» или «*Sidenge ndini somntwana*» – «Ты идиот, а не ребенок». Это очень страстный язык.

Помимо этого, мама учила языки тут и там. Она выучила зулу, потому что он похож на коса. Она говорила на немецком, потому что он был языком моего отца. Она говорила на африкаанс, потому что полезно знать язык своих угнетателей. Сото она выучила на улицах.

Живя с мамой, я видел, что она использует язык для того, чтобы стирать границы, улаживать ситуации, ориентироваться в мире. Однажды мы были в магазине, и его владелец, стоя прямо перед нами, повернулся к охраннику и сказал (на африкаанс): «*Volg daai swartes, netnou steel hulle iets*» («Иди за этими черными, чтобы они что-нибудь не украли»).

Мама развернулась и сказала на прекрасном, беглом африкаанс: «*Hoekom volg jy nie daai swartes sodat jy hulle kan help kry waarna hulle soek nie?*» («Почему бы вам не пойти за этими черными, чтобы помочь им найти то, что они ищут?»)

Если ты – черный, живущий в ЮАР, английский язык – единственное, что поможет тебе выбиться в люди.

Английский – язык денег.

Знание английского отождествлялось с интеллигентностью.

«*Oh, jammer!*» – сказал он, извиняясь на африкаанс. На самом деле (и это было забавно) он извинился не за то, что был расистом. Он просто извинился за то, что его расизм был направлен против нас. «О, извините, – сказал он, – я подумал, что вы такие же, как остальные черные. Знаете, как они любят красть».

Я учился использовать язык так, как это делала мама. Я вел синхронную трансляцию: транслировал окружающим мысли на их собственном языке. Просто гуляя по улице, я получал подозрительные взгляды от прохожих. «Откуда ты?» – спрашивали они. Я отвечал им на том языке, на котором они ко мне обращались, используя тот же акцент, с которым говорили они. Далее следовало секундное замешательство, потом подозрение из взглядов исчезало. «А, ладно. Я думал, ты чужак. Тогда все хорошо».

Это стало моим инструментом, который служил мне всю жизнь. Однажды, будучи юношей, я гулял по улице, а за мной шла группа зулусских парней. Они подходили все ближе, и я мог слышать, как они болтают друг с другом о том, как собираются меня ограбить: «*Asibambe le ndoda yomlungu. Iya ngakwesokunxele sakhe mina ngizoqhamuka ngemuva kwakhe*» («Давайте возьмемся за этого белого парня. Ты заходи слева, а я подойду к нему сзади»). Я не знал, что делать. Убежать я не мог. И тогда я быстро обернулся и сказал: «*We madoda, kungani singasoongi umun-tu sonke? Ngikulindele lokho. Masikwenze*» («Ребята, почему бы нам не ограбить кого-нибудь другого? Я готов. Давайте сделаем это»).

Секунду они выглядели шокированными, потом начали смеяться: «Эй, извини, пижон. Мы приняли тебя не за того. Мы не собирались у тебя ничего отнимать. Мы воруют только у белых людей. Хорошего дня, парень». Они готовы были жестоко обойтись со мной, пока не признали во мне соплеменника, так что мы смогли нормально пообщаться. Это, а также множество других не столь крупных происшествий в моей жизни, заставило меня осознать, что язык, даже больше, чем цвет, дает людям понять, кто ты есть.

Я стал хамелеоном. Мой цвет не изменился, но я мог менять восприятие своего цвета. Если со мной говорили на зулу, я отвечал на зулу. Если со мной говорили на тсвана, я отвечал на тсвана. Может быть, я не выглядел так же, как ты, но если я говорил, как ты, я был тобой.

Так как апартеид заканчивался, элитные частные школы ЮАР начали принимать детей всех цветов. Компания, в которой работала мама, предлагала социальные стипендии, стипендии для незащищенных категорий семей, и она смогла устроить меня в колледж «Мэривейл» – дорогую частную католическую школу. Занятия вели монахини. По пятницам были мессы. Полный набор. Я начал ходить в подготовительную школу, когда мне было три года, а в пять лет пошел в начальную школу.

В моем классе были самые разнообразные дети. Черные дети,

белые дети, дети-индийцы, цветные дети. Большинство белых детей были из достаточно состоятельных семей. Почти каждый цветной ребенок – нет. Но благодаря стипендиям мы все сидели за одной партой. Мы носили одинаковые бордовые пиджаки, одинаковые серые брюки и рубашки. Там не было разделения на расы. В каждом классе были представители разных рас.

Конечно, детей дразнили и травили, но это были обычные детские глупости. Например, из-за того, что ты толстый или тощий, из-за того, что ты высокий или низкий, из-за того, что слишком умный или тупой. Я не помню, чтобы кого-нибудь дразнили из-за его расовой принадлежности. Меня не учили ограничивать себя в том, что я должен или не должен любить. Я был абсолютно свободен проявлять себя. Я влюблялся в белых девочек. Я влюблялся в черных девочек. Никто не спрашивал меня, кто я такой. Я был Тревором.

Это было замечательным опытом, но минусом было то, что это отгораживало меня от реальности. «Мэривейл» был оазисом, далеким от истинного положения дел, комфортным местом, где мне не приходилось принимать трудных решений. Но реальный мир не исчез. Расизм существует. Людей оскорбляют, и тот факт, что этого не случается с тобой, не означает, что этого не случается вообще. И в какой-то момент тебе приходится выбирать. Черный или белый. Выбрать сторону.

Ты можешь попробовать спрятаться от этого. Или можешь сказать: «Ну, я не встаю ни на чью сторону». Но в какой-то момент жизнь вынудит тебя выбрать сторону.

В конце шестого класса я ушел из «Мэривейла», чтобы ходить в среднюю школу «Эйч-Эй-Джек». Перед началом обучения мне надо было пройти тест для проверки способностей, и на основании результатов этого теста школьный методист сказал мне: «Ты пойдешь в класс для самых умных, в класс “А”». В первый день я появился в школе и пошел в свой класс, и из примерно тридцати детей моего класса почти все были белыми. Был один индеец, один или два черных ученика и я.

Потом наступила большая перемена. Мы вышли на игровую площадку, и черные дети были повсюду. Это был океан черного, словно кто-то открыл кран и оттуда полилось все черное. Я подумал что-то вроде: *«Где же они все прятались?»* Белые дети, с которыми я познакомился тем утром, пошли в одну сторону, черные дети – в другую, а я остался стоять посередине в абсолютном замешательстве. Должны ли мы встретиться позже? Я не понимал, что происходит.

Мне было одиннадцать лет, и я словно впервые увидел свою страну. В тауншипах вы не увидите сегрегации, потому что там

все – черные. В белом мире, когда бы мама ни водила меня в «белую» церковь, мы были там единственными черными, а мама не отделялась от кого-либо. Ее это не волновало. Она спокойно шла и садилась с белыми людьми. А в «Мэривейле» дети перемешивались и проводили время вместе.

До того дня я никогда не видел, чтобы люди были вместе и одновременно не вместе. Чтобы они находились на одной территории, но предпочитали никоим образом не водить компанию с «другими». Я мгновенно увидел, почувствовал, как появились границы. Группы передвигались разноцветными лоскутами по двору, вверх по лестнице, вниз по коридору. Это было сумасшествием.

Я посмотрел на белых детей, с которыми познакомился утром. Десять минут назад я думал, что оказался в школе, где они были большинством. Теперь я понимал, как мало их было на самом деле по сравнению со всеми остальными.

Я неловко стоял в одиночестве на «нейтральной полосе» посреди игровой площадки, и меня спас только мальчик-индиец из моего класса, парень по имени Тисан Пиллау. Тисан был одним из немногих индийских детей в школе, так что он сразу заметил меня, еще одного очевидного аутсайдера. Он подбежал знакомиться: «Привет, еще одна аномалия! Ты из моего класса. Кто ты? Расскажи о себе». Мы начали болтать и быстро сдружились. Он взял меня под крыло, словно Ловкий Плут растерявшегося Оливера.

Во время разговора выяснилось, что я говорю на нескольких африканских языках, и Тисан решил, что цветной ребенок, говорящий на языках черных, – очень занимательный фокус. Он подвел меня к группе черных детей. «Скажите что-нибудь, – попросил он их, – а он продемонстрирует, что понимает вас». Один ребенок сказал что-то на зулу, и я ответил ему на зулу. Это было принято на ура. Другой ребенок сказал что-то на коса, я ответил ему на коса. Все снова пришли в восторг. Всю оставшуюся перемену Тисан подводил меня к разным группам черных детей на детской площадке. «Покажи им свой фокус. Покажи этот фокус с языком».

Черные дети были в восторге. В ЮАР редко можно было найти белого или цветного человека, который говорил бы на африканских языках. Во время апартеида их всегда учили, что на их языках говорят только они сами. Поэтому то, что я говорил на африканских языках, тут же сделало меня популярным у черных детей.

– Почему ты говоришь на наших языках? – спрашивали они.

– Потому что я черный, как вы, – отвечал я.

– Ты не черный.

– Я черный.

– Нет, не черный. Ты разве себя не видел?

Сначала они были смущены. Из-за цвета моей кожи они решили, что я – цветной, который скатился вниз. Но то, что я говорю на одних с ними языках, означало, что мы принадлежим одному племени. Им понадобилась всего минута, чтобы так решить. Мне тоже понадобилась минута.

В какой-то момент я повернулся к одному из них и сказал: «Эй, а как так получилось, ребята, что я не видел ни одного из вас на своих уроках?» Оказалось, что они из класса «Б», который оказался также черным классом. В тот же день я вернулся в класс «А», а к концу дня выяснил, что это не для меня. Неожиданно я понял, кто был моим народом, и я хотел быть с ними. Я пошел поговорить со школьным методистом.

– Я хочу перейти в другой класс, – сказал я ей, – я хочу перейти в класс «Б».

Она пришла в замешательство.

– О, нет, – сказала она, – не думаю, что ты этого хочешь.

– Почему нет?

– Потому что эти дети... ну, ты знаешь.

– Нет, я не знаю. Что вы имеете в виду?

– Послушай, – сказала она, – ты умный ребенок. Ты не захочешь учиться в этом классе.

– Но разве классы не одинаковые? Английский – это английский. Математика – математика.

– Да, но тот класс... те дети потянут тебя назад. Ты ведь хочешь быть в сильном классе.

– Но в классе «Б» обязательно должны быть умные дети.

– Нет.

– Но там все мои друзья.

– Ты не захочешь дружить с теми детьми.

– Захочу.

Мы препирались. Наконец, она строго предупредила меня.

– Ты точно понимаешь, как это повлияет на твое будущее? Ты точно осознаешь, от чего ты отказываешься? Это на всю оставшуюся жизнь повлияет на те возможности, которые откроются перед тобой.

– Я воспользуюсь этой возможностью.

Я перешел в класс «Б», где учились черные дети. Я решил, что лучше буду держаться позад с людьми, которые мне нравятся, чем двигаться вперед с людьми, которых не знаю.

Пребывание в «Эйч-Эй-Джеке» заставило меня осознать, что я – черный. До той перемены мне никогда не приходилось

выбирать, но когда я был вынужден сделать выбор, я выбрал черных. Мир смотрел на меня как на цветного, но я не тратил жизнь на рассматривание себя. Я тратил жизнь на рассматривание других людей. Я видел себя как одного из окружающих, а люди вокруг меня были черными. Мои двоюродные брат и сестра были черными, мама была черной, бабушка была черной. Я вырос черным. Так как у меня был белый отец, я ходил в «белую» воскресную школу, общался с белыми детьми, но я не был целым с белыми детьми. Я не был членом их племени. А черные дети приняли меня. «Давай, – сказали они, – пошли с нами». С черными детьми мне не приходилось что-то из себя строить. С черными детьми я просто был собой.

ДО АПАРТЕИДА ЛЮБОГО ЧЕРНОГО, ПОЛУЧИВШЕГО ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, учили, скорее всего, европейские миссионеры, иностранцы-энтузиасты, желающие обратить в христианство и европеизировать местное население. В школах при миссиях черные люди изучали английский язык, европейскую литературу, медицину, закон. Неслучайно почти каждый черный лидер движения против апартеида, от Нельсона Манделы до Стива Бико, учился у миссионеров. Образованный человек – свободный человек или, по крайней мере, человек, который желает свободы.

Единственным способом заставить режим апартеида работать являлась парализация черного ума. Во время апартеида правительство построило то, что стало известно как школы банту. В школах банту не изучали науки, историю, граждановедение. Там учили счету и сельскому хозяйству: как сосчитать картофель, как мостить дороги, как рубить дрова, обрабатывать землю. «Банту бесполезно учить истории и науке, потому что он примитивен, – говорило правительство. – Это только собьет его с толку, покажет ему пастбища, на которых он не имеет права пастись». Надо отдать им должное, они попросту говорили правду. Кто дает образование рабу? Зачем учить кого-то латыни, если его единственное предназначение – копать ямы в земле?

Школам при миссиях приказали придерживаться нового учебного плана или закрываться. Большинство из них закрылось, и черные дети были вынуждены ходить в переполненные классы обветшалых школ, часто с почти неграмотными учителями. Нашим родителям, бабушкам

и дедушкам устраивали небольшие уроки с чтением нараспев, примерно, как вы учите дошкольника формам и цветам. Мой дедушка пел песни и смеялся над тем, какие они глупые. Дважды два четыре. Трижды два шесть. Ля-ля-ля-ля-ля. Мы говорим о том, что так учили подростков в течение поколений.

То, что происходило с образованием в ЮАР, со школами при миссиях и школами банту, дает возможность четко сравнить две группы белых, которые были нашими угнетателями, – британцев и африканеров. Разница между британским расизмом и расизмом африканеров заключалась в том, что британцы хотя бы давали аборигенам то, к чему стремиться. Если они могли научиться говорить на правильном английском и одеваться в соответствующую одежду, если они могли англизироваться и вести себя культурно, то когда-нибудь их могли принять в обществе. Африканеры никогда не давали нам такой возможности. Британский расизм говорил: «Если обезьяна может ходить, как человек, и говорить, как человек, возможно, она является человеком». Расизм африканеров говорил: «Зачем давать обезьяне книгу?»

Глава 5

Вторая девочка

Мама говорила мне: «Я решила, что у меня должен быть ты, потому что мне нужен был кто-то, кого бы я любила и кто безусловно любил бы меня в ответ». Я был результатом ее поисков «своего». Она нигде и никогда не чувствовала себя «своей». Она не принадлежала своей матери, не принадлежала своему отцу, не принадлежала брату и сестре. Она выросла в отчуждении и хотела иметь кого-то, кого могла бы называть своим.

Брак бабушки и дедушки был несчастливим. Они встретились и поженились в Софиятауне, но годом позже пришли войска и вышвырнули их оттуда. Правительство конфисковало их дом и сровняло с землей весь район, чтобы построить красивый новый пригород для белых, *Triomf* («Триумф» в переводе с африкаанс). Вместе с десятками тысяч других черных бабушка и дедушка были насильственно перемещены в Соуэто, в район под названием Мидоулендс. Вскоре они развелись, и бабушка переехала в Орландо со своими детьми – моими мамой, тетей и дядей.

Мама была проблемным ребенком, озорным, упрямым, дерзким. Бабушка не знала, как ее воспитывать. Как бы они ни любили друг друга, эта любовь с годами исчезла в постоянном противостоянии между ними.

Но мама обожала своего отца, очаровательного, харизматичного Темперанса. Она таскалась за ним, как привязанная, во время его маниакальных злоключений. Она увязывалась за ним, когда он шел пьянствовать в *shebeens*. Все, чего она хотела в жизни, – угождать ему и быть с ним. Разные подружки деда всегда пытались отвадить ее – они не хотели, чтобы возле них ошивалось напоминание о его предыдущем браке. Но это только сильнее и сильнее заставляло ее желать быть с ним.

Когда маме было девять, она сказала своей матери (моей бабушке), что больше не хочет с ней жить. Она хотела жить с отцом. Бабушка ответила: «Если ты этого хочешь – пожалуйста». Темперанс приехал, чтобы забрать мою маму, и она с радостью залезла в его машину, готовая ехать и жить с человеком, которого любила. Но вместо того, чтобы взять ее к себе в Мидоулендс, он, даже не сказав ей, по какой причине, отправил ее жить к своей сестре в Транскей, хоумленд коса. Ему тоже не надо было, чтобы

она с ним жила.

Мама была средним ребенком. Ее сестра была старшей и первенцем. Брат был единственным сыном и хранителем фамилии семьи. Они оба остались в Соуэто, росли рядом с родителями, которые заботились о них. А мама была нежеланной. Она – вторая девочка. Единственная в мире страна, где она была бы еще менее ценной, – Китай.

Мама снова увидела семью только через двенадцать лет. Все это время она жила в домике с четырнадцатью двоюродными братьями и сестрами, четырнадцатью детьми от разных матерей и отцов. Все мужья и дяди были в городах, где искали работу, а дети, которые были нежеланными (или которых родители не могли прокормить), отправлялись в хоумленд, чтобы жить на ферме этой тети.

В то время как «белая» сельская местность ЮАР была орошаемой и зеленой, «черные» земли были перенаселены, а пастбища вытравлены скотом, почва была истощенной и эродированной. Не считая мизерных зарплат, отправляемых домой из городов, семьи существовали почти исключительно за счет сельского хозяйства, обеспечивающего минимальный прожиточный минимум. Мамина тетя взяла ее не из милости. Она должна была работать. «Я была одной из коров, одной из стада», – позже говорила мама. Она и ее кузены и кузины должны были вставать в полпятого утра, вспахивать поля и пасти скот, пока солнце не поджаривало землю до цементной твердости и не становилось слишком жарко для того, чтобы находиться не в тени.

На обед могла быть одна курица на четырнадцать детей. Маме приходилось драться с детьми постарше за горстку еды или глоток подливки или даже за кость, из которой можно было высосать немного мозга. И это если на обед вообще была еда. Когда еды не было, она крада ее у свиней. Она крада еду у собак. Фермеры собирали для животных объедки, и она таскала их. Она была голодна, а животные пусть сами добывают себе пропитание. Временами она в буквальном смысле слова ела грязь. Она шла к реке, брала с берега глину, смешивала ее с водой, чтобы сделать что-то вроде сероватого молока. Она пила это, чтобы наполнить желудок.

Но маме повезло, что ее деревня была одним из тех мест, где школы при миссии ухитрились продолжить существование вопреки государственной политике образования банту. Так что был белый пастор, который учил ее английскому. У нее не было еды, или обуви, или даже нижнего белья, но у нее был английский. Она могла читать и писать. Когда она достаточно

подросла, то перестала работать на ферме и получила работу в соседнем городке, на фабрике. Она работала на швейной машине, шила школьную форму. Платой за работу была тарелка еды в конце каждого дня. Она говорила, что это была лучшая еда, которую она когда-либо ела, потому что она была тем, что мама заработала самостоятельно. Она сама за себя отвечала, не была ни для кого обузой и не была обязанной кому бы то ни было за что-то.

Когда маме исполнился двадцать один год, тетя заболела, и семья не могла больше держать ее в Транскее. Мама написала бабушке, прося ту прислать денег на билет (около тридцати рэндов), чтобы вернуться домой. Вернувшись в Соуэто, мама поступила на курсы секретарей, которые позволили бы ей зацепиться за нижнюю ступеньку мира «белых воротничков». Она работала, работала и работала, но, живя под крышей моей бабушки, не могла позволить себе распоряжаться собственными средствами.

Как секретарь, мама приносила домой больше денег, чем кто-либо другой, и бабушка настаивала, что все эти средства должны идти в семью. Семье нужны были радиоприемник, плита, холодильник, и теперь мамина работа могла это обеспечить. В этом проклятие быть черным и бедным. И проклятие быть ребенком, пытающимся вырваться из этой бедности. Из-за того, что предшествующие тебе поколения были ограблены, ты теряешь все, что зарабатываешь, пытаешься поднять прошлые поколения к нулевой отметке, вместо того, чтобы использовать средства для собственного продвижения вверх.

Проклятие быть ребенком, пытающимся вырваться из этой бедности.

Из-за того, что предшествующие тебе поколения были ограблены, ты теряешь все, что зарабатываешь, пытаешься поднять прошлые поколения к нулевой отметке, вместо того, чтобы использовать средства для собственного продвижения вверх.

Когда мама работала на семью в Соуэто, у нее было не больше свободы, чем в Транскее, так что она сбежала. Она бежала всю дорогу до железнодорожной станции, села на поезд и исчезла в городе, собираясь спать в туалетах и полагаться на доброту проституток, пока не сможет проложить собственный путь в этом мире.

Мама никогда не сажала меня и не рассказывала мне всю историю своей жизни в Транскее. Она рассказывала небольшие

отрывки, беспорядочные детали, истории о том, как была начеку, чтобы в деревне ее не изнасиловали незнакомые мужчины. Она рассказывала мне это, а я думал что-то вроде: «Дамочка, да ты определенно не знаешь, какие истории можно рассказывать десятилетке».

Мама рассказывала мне эти истории, так что я никогда не считал само собой разумеющимся, что мы достигли того, чего достигли. Но она никогда не жаловалась на судьбу. «Извлекай уроки из своего прошлого и будь лучше благодаря своему прошлому, – говорила она, – но не плачь о прошлом. Жизнь полна боли. Позволь боли закалить тебя, но не оставляй ее у себя. Не будь обиженным». И она никогда не была. Лишения юности, предательства родителей – она никогда не жаловалась на это.

Мама отпустила прошлое, и была решительно настроена не повторять его: мое детство не должно было быть похожим на ее. Она начала с моего имени. Имена, которые семьи коса дают своим детям, всегда обладают значением, и это значение некоторым образом влияет на реальность. Возьмем моего двоюродного брата, Млунгиси – «Тот, кто улаживает дела». Он именно такой. Когда бы я ни попадал в беду, он всегда старался помочь мне с ней справиться. Он всегда был добрым ребенком, занимался уборкой, помогал по дому. И возьмем моего дядю (незапланированную беременность бабушки), Велайла – «Тот, кто появился из ниоткуда». И это именно то, чем он занимается всю свою жизнь, исчезает и вновь появляется. Он отправляется в пьяный загул, а через неделю вновь появляется из ниоткуда.

Потом, возьмем мою маму, Патрисию Номбуйисело Ной. Номбуйисело – «Та, что отдает». Именно это она делает. Она отдает, отдает и отдает. Она делала это, когда была девочкой, жившей в Соуэто. Играя на улицах, она находила малышей лет трех-четырех, весь день бегавших без присмотра. Их отцы уехали, их матери были пьяны. Мама, которой самой было шесть или семь лет, собирала заброшенных детей, организовывала группу и водила их по *shebeens*. Они собирали пустые бутылки из-под алкоголя, забирая их у проходивших мимо мужчин, и относили туда, где их можно было сдать за деньги. Потом мама на эти деньги покупала еду в магазинах *spaza* и кормила детей. Она была ребенком, заботившимся о детях.

Когда пришло время выбрать мне имя, она назвала меня Тревором – это имя в ЮАР ничего не означает, такого в моей семье еще не было. Это не было даже библейским именем. Мама не хотела, чтобы судьба ее ребенка была предопределена. Она хотела, чтобы я мог отправиться куда угодно делать, что угодно, быть кем угодно.

Она также дала мне инструменты для этого. Она учила меня английскому как первому языку. Она постоянно мне читала. Первой книгой, которую я научился читать, была *эта* книга. Библия. Большинство других книг мы тоже брали из церкви. Мама приносила домой коробки с тем, что пожертвовали белые: книги с картинками, церковные книги, любые книги, которые могли попасть ей в руки. Потом она оформила подписку, и мы получали книги по почте. Это были книги из серии «как быть...». *«Как быть хорошим другом»*. *«Как быть честным»*. Она также купила комплект энциклопедий; ему было пятнадцать лет, и книги немного устарели, но я мог сидеть и тщательно изучать их.

«Жизнь полна боли. Позволь боли закалить тебя, но не оставляй ее у себя. Не будь обиженным».

И мама никогда не была. Лишения юности, предательства родителей – она никогда не жаловалась на это.

Мои книги были моим ценным имуществом. У меня была книжная полка, куда я их ставил, и я очень гордился ею. Я любил свои книги и содержал их в идеальном состоянии. Постоянно их перечитывал, но не загибал страницы и не перегибал корешки. Ценил каждую. Став постарше, я начал покупать собственные книги.

Я любил фэнтези, любил теряться в мирах, которых не существует. Помню, что была какая-то книга о белых мальчиках, распутывавших тайны или что-то вроде этого. Но на это у меня не было времени. Дайте мне Роальда Даля. *«Джеймс и гигантский персик»*, *«БДВ»*, *«Чарли и шоколадная фабрика»*, *«Чудесная история Генри Шугара»*. Вот что мне нравилось.

Мне с боем пришлось убеждать маму купить мне книги про Нарнию. Ей они не нравились.

– Этот лев, – говорила она, – он поддельный бог. Неистинный идол! Ты помнишь, что случилось, когда Моисей спустился с горы, получив скрижали...

– Да, мама, – объяснял я, – но лев – образ Христа. В общем-то, он Иисус. Это история, которая объясняет Иисуса.

Ее это не успокаивало.

– Нет, нет. Никаких ложных идолов, дружок.

Но в итоге я уговорил ее. Это было большой победой.

Мама разговаривала со мной, как со взрослым, что было необычным. В ЮАР дети играют с детьми, а взрослые разговаривают со взрослыми. Взрослые присматривают за тобой, но они не спускаются на твой уровень, чтобы с тобой поболтать. Мама это делала. Всегда. Я словно был ее лучшим другом. Она

всегда рассказывала мне истории, учила меня, особенно Библии. Она хорошо знала Псалтирь. Я должен был читать Псалтирь каждый день. Она экзаменовала меня по нему. «Что значит эта строфа? Что она значит для *тебя*? Как ты применишь ее в своей жизни?» Это было каждый день. Мама делала то, что не делала школа. Она учила меня думать.

Апартеид заканчивался постепенно. Он не был похож на Берлинскую стену, просто рухнувшую в один день. Стены трескались и осыпались в течение многих лет. Там и здесь происходили послабления, некоторые законы были отменены, другие просто не применялись. За несколько месяцев до освобождения Манделы дошло до того, что мы могли жить менее тайно. Именно тогда мама решила, что нам надо переехать. Она почувствовала, что с нас хватит прятаться в крошечной квартире в городе.

Теперь страна была открыта. Куда мы могли отправиться? Жизнь в Соуэто была связана с трудностями. Мама все еще хотела вырваться из тени своей семьи. Кроме того, мама не могла прогуляться со мной через Соуэто, чтобы ни один человек не сказал: «Вот идет эта проститутка с ребенком от белого мужчины». В черном районе о ней всегда думали бы так. Так что моя мама не хотела переезжать в черный район, а переехать в белый район нам было не по карману. Поэтому она решила переехать в цветной район.

Иден-Парк был цветным районом, соседствующим с несколькими черными тауншипами в Ист-Рэнде. Как она решила – полуцветной и получерный, как мы. Там мы не бросались бы в глаза. Но этого не получилось, мы так и не вписались в него.

Но, когда мы переезжали, она думала, что вполне впишемся. Плюс открывалась возможность купить дом – наш собственный дом. Иден-Парк был одним из тех «пригородов», которые на самом деле находились на краю цивилизации. Одним из тех мест, о которых продавцы недвижимости говорили: «Эх, бедные люди. Вы тоже можете жить хорошо. Вот дом. В богом забытом месте. Но смотрите, у вас есть двор!»

По какой-то причине улицы в Иден-Парке были названы в честь автомобилей: Ягуар-стрит, Феррари-стрит, Хонда-стрит. Не знаю, было ли это случайностью или нет, но это было забавно, потому что в ЮАР цветные люди известны своей любовью к шикарным автомобилям. Это все равно, что жить в белом районе, где все улицы названы в честь сортов изысканного вина.

Я обрывочно, фрагментарно помню переезд туда. Как мы ехали в место, которое я никогда не видел, как встречали людей,

которых я никогда не знал. Район был равнинный, деревьев немного, та же пыльная красная глина и трава, что и в Соуэто, но – с хорошими домами и асфальтированными дорогами, а также атмосферой предместья.

Наш дом был крошечным, на повороте дороги прямо у Тойота-стрит. Внутри он был скромным и тесным, но войдя, я подумал: *«Bay! Мы по-настоящему заживем»*. Я не очень-то хотел собственную комнату. Это мне не нравилось. Всю свою жизнь я спал в комнате с мамой или на полу с двоюродными братом и сестрой. Я привык, чтобы рядом со мной находились другие человеческие существа, так что большинство ночей я спал в маминой кровати.

На горизонте еще не было отчима, не было плачущего по ночам маленького брата. Только я и она, одни. Было чувство, что мы вдвоем совершаем великое приключение. Она говорила мне что-то вроде: «Мы с тобой против всего мира». С самого раннего возраста я понимал, что мы – не просто мама и сын. Мы были командой.

Именно тогда, когда мы переехали в Иден-Парк, у нас наконец-то появился автомобиль, подержанный оранжевый «Фольксваген», который мама купила почти даром (а он не стоил и этого). Один раз из пяти он не заводился. В нем не было кондиционера. Каждый раз, когда я по ошибке включал кнопку вентилятора, из отверстия в меня летели кусочки листьев и грязь.

Когда автомобиль ломался, мы пользовались микроавтобусами или ловили попутки. Мама заставляла меня прятаться в кустах, так как знала, что мужчины останавливаются, увидев женщину, но не женщину с ребенком. Она стояла у дороги, водитель подъезжал, она открывала дверцу и свистела, а я подбегал к машине. Я видел, как менялось выражение их лица, когда они понимали, что подвозят не привлекательную незамужнюю женщину, а привлекательную незамужнюю женщину с толстым маленьким ребенком.

Когда автомобиль был на ходу, мы опускали стекла, ехали и пеклись на солнце. Всю мою жизнь радиоприемник этого автомобиля был настроен на одну волну. Она называлась «Radio Pulpit», и, как и предполагало название, там были только проповеди и молитвы. Мне не разрешали трогать колесико настройки этого приемника. Каждый раз, когда радио не ловило сигнал, мама ставила кассету с проповедями Джимми Сваггерта (когда же мы узнали о скандале^[8]? О, боже. Это было ужасно).

Было чувство, что мы вдвоем совершаем великое приключение.

«Мы с тобой против всего мира».

С самого раннего возраста я понимал, что мы – не просто мама и сын.

Мы были командой.

Но каким бы дерьмовым ни был наш автомобиль, это был автомобиль. Это была свобода. Мы не были черными, застрявшими в тауншипах, ожидавшими общественного транспорта. Мы были черными, которые могли свободно перемещаться по миру. Мы были черными, которые могли проснуться утром и сказать: «Куда мы поедem сегодня?»

По дороге на работу и в школу был длинный участок дороги, идущей в город, который был абсолютно пустынным. Именно там мама учила меня водить. На шоссе. Мне было шесть лет. Она сажала меня на колени и давала мне порулить и включать и выключать поворотники, а сама нажимала на педали и переключала скорости. Через несколько месяцев она научила меня переключать передачи. Она все еще работала сцеплением, но я забирался к ней на колени и брался за рычаг переключения передач, а она, пока мы ехали, говорила, какую передачу включать. Этот участок дороги спускался глубоко в долину, а потом поднимался по противоположному склону. Мы набирали скорость, потом переключались на нейтральную передачу, отпускали тормоз и сцепление и, *эге-гей*, мчались вниз по склону, а потом, *жжжух*, взмывали по другой стороне. Мы летели.

Если мы не ехали в школу, на работу или в церковь, то изучали окрестности. Подход мамы был таков: «Я выбрала тебя, малыш. Я привела тебя в этот мир и собираюсь дать тебе все, чего у меня никогда не было». Она вкладывала в меня всю душу. Она находила такие места, куда бы мы могли поехать, не потратив при этом денег.

Мы побывали, должно быть, во всех парках Йоханнесбурга. Мама сидела под деревом и читала Библию, а я бегал и играл, играл, играл. Во второй половине дня по воскресеньям, после церкви, мы уезжали за город. Мама находила для нас места с красивыми видами, где мы садились и устраивали пикник. В корзине для пикника или на тарелках не было ничего грандиозного, только бутерброды из серого хлеба с вареной колбасой и маргарином, завернутые в пергаментную бумагу. До сегодняшнего дня вареная колбаса, серый хлеб и маргарин немедленно переносят меня в прошлое. Сами ходите во все мишленовские рестораны мира, а мне дайте просто вареную колбасу, серый хлеб и маргарин, и я буду на седьмом небе.

Еда (или даже доступ к еде) всегда была индикатором того,

насколько хорошо или плохо шли у нас дела. Мама говорила: «Моя работа – накормить твое тело, напитать твою душу и дать пищу твоему уму». Именно это она и делала. И то, что она находила деньги на еду и книги, означало, что она не тратила их больше ни на что.

Об ее экономности можно было слагать легенды. Наш автомобиль был жестянкой на колесах, мы жили в захолустье. У нас была потрепанная мебель, продавленные старые диваны с протертой до дыр обивкой. Телевизор был крошечным черно-белым, со стоящей на нем антенной-«усами». Мы переключали каналы при помощи пассатижей, потому что кнопки не работали. Чаще всего приходилось из всех сил присматриваться, чтобы понять, что показывают.

Мы всегда носили подержанную одежду, из магазинов «Goodwill» или ту, что белые отдавали в церковь. Все остальные дети в школе носили фирменную одежду. Они носили «Nike» и «Adidas». У меня никогда не было фирменной одежды. Как-то я попросил маму купить мне кроссовки «Adidas». Она пришла домой с каким-то липовым брендом – «Abidas».

– Мам, это фейк, – сказал я.

– Я не вижу разницы.

– Посмотри на логотип. Здесь четыре полосы вместо трех.

– Повезло, у тебя на одну больше, – ответила она.

Мы привыкли обходиться минимумом, но у нас всегда была церковь, всегда были книги и всегда была еда. Имейте в виду, это не обязательно была *хорошая* еда. Мясо было роскошью. Когда дела шли хорошо, у нас была курица. Мама была специалистом в том, чтобы разламывать куриные кости и доставать оттуда костный мозг до последней крошки. Мы не ели кур. Мы уничтожали их. Наша семья была бы кошмаром археолога. Мы не оставляли после себя костей. Когда с курицей было покончено, не оставалось ничего, кроме головы.

Иногда единственное мясо, которое у нас было, – фасованное мясо под названием «опилки», продававшееся в мясной лавке. Это были в буквальном смысле опилки мяса, кусочки, отваливающиеся во время разделки и упаковки мяса для магазина, кусочки жира и всякой всячины. Их подбирали и складывали в пакет. Это мясо предназначалось для собак, но мама покупала его для нас. Порою это было единственным, что мы ели многими месяцами.

Мясник продавал и кости. Мы называли их «суповыми костями», но на самом деле они продавались в магазине как «кости для собак», люди готовили их для собак в качестве угощения. В те времена, когда мы были очень стеснены в

средствах, мы переходили на кости для собак. Мама варила их для супа. Мы высасывали из них костный мозг.

Высасывать костный мозг из костей – умение, которому бедные люди учатся очень рано. Никогда не забуду, как, уже будучи взрослым, впервые пришел в роскошный ресторан и кто-то сказал мне: «Ты должен попробовать костный мозг. Это такой деликатес! Он *божественен*». Они его заказали, официант его принес, а я подумал что-то вроде: «Охренеть, собачьи кости!» Я был совсем не впечатлен.

Мама брала меня в поездки по роскошным белым районам. Мы смотрели на жилые дома, на особняки. Мы смотрели в основном на стены, потому что это было все, что можно увидеть с дороги. Мы смотрели на стену, которая тянулась с одного конца квартала до другого, и думали: «Ничего себе! Это только *один* дом. Все это для *одной* семьи». Иногда мы останавливались и подходили к стене, мама поднимала меня на плечи, словно я был маленьким перископом. Я заглядывал во дворы и описывал все, что видел. «Это большой белый дом! У них две собаки! Там лимонное дерево! У них есть бассейн! И теннисный корт!»

Мы не ели кур. Мы уничтожали их.

Наша семья была бы кошмаром археолога.

Мы не оставляли после себя костей.

Мама брала меня в места, куда черные никогда не попадали. Она отказывалась подчиняться нелепым представлениям о том, что черные не могут или не должны делать. Она водила меня на каток, чтобы покататься на коньках. В Йоханнесбурге был этот легендарный кинотеатр для автомобилистов, «Top Star Drive-In», расположенный на вершине огромного рудничного отвала за границами города. Она возила меня туда смотреть кино; мы покупали закуски, вешали динамик на окно нашего автомобиля. От «Top Star» открывался панорамный вид города, пригородов, Соуэто. Оттуда я мог смотреть на километры в любом направлении. Я чувствовал себя, словно на вершине мира.

Мама растила меня так, словно не существовало никаких ограничений в том, куда я мог идти или что я мог делать. Оглядываясь назад, я понимаю, что она растила меня как белого ребенка: белого не с точки зрения культуры, но воспитывая веру в то, что мир был моей устрицей, что я должен говорить от своего имени, что мои идеи, мысли, решения имеют значение.

Мы говорим людям, чтобы они следовали за своими мечтами. Но ты можешь мечтать только о том, что ты можешь вообразить, и, в зависимости от того, откуда ты, твое воображение может быть очень ограниченным. Если ты рос в Соуэто, твоей мечтой

было пристроить еще одну комнату к своему дому. Твоей мечтой было иметь подъездную дорожку. Может быть, однажды поставить в конце подъездной дорожки кованые ворота. Потому что это было все, что ты знал.

Но высочайшая ступенька возможного находится далеко за пределами того мира, который ты можешь видеть. Мама показала мне, что было возможным. Что меня всегда удивляло в ее жизни, так это то, что ей никто этого не показывал. Ее никто не выбирал. Она всего добилась сама. Она нашла свой путь исключительно при помощи силы воли.

Возможно, еще более удивительным является тот факт, что мама начала свой маленький проект – меня – в те времена, когда не могла знать о том, что апартеид закончится. Не было никаких предпосылок думать, что он закончится. При его существовании появлялись и уходили поколения. Мне было почти шесть лет, когда Мандела вышел из тюрьмы, десять, когда, наконец, наступила демократия. Но она готовила меня жить свободной жизнью задолго до того, как мы узнали, что свобода существует.

Более вероятными вариантами были трудная жизнь в тауншипе или отправка в приют для цветных детей. Но мы никогда так не жили. Мы двигались только вперед, и всегда двигались быстро. Так что к тому времени, как закон и все остальные только тронулись в путь, мы уже преодолели километры дороги, летя по шоссе в ярко-оранжевом раздолбанном «Фольксвагене» с открытыми окнами и во весь голос восхваляющим Иисуса Джимми Сваггертом.

Люди думали, что моя мама сошла с ума. Катки и кинотеатры для автомобилистов, предместья – все это было *izinto zabelungu*, предназначенным для белых людей. Очень много черных впитало логику апартеида и сделало ее своей. Зачем учить черного ребенка белым штучкам?

Соседи и родственники все время донимали мою маму:

– Зачем все это делать? Зачем показывать ему мир, когда он никогда не покинет гетто?

– Затем, – отвечала мама, – что, даже если он никогда не покинет гетто, он будет знать, что гетто – это не весь мир. Если это будет всем, чего я достигну, этого уже будет достаточно.

АПАРТЕИД, НЕСМОТЯ НА ВСЮ СВОЮ СИЛУ, ОБЛАДАЛ СУЩЕСТВЕННЫМИ НЕДОСТАТКАМИ, начиная с того факта, что он никогда не имел никакого смысла. Расизм лишен логики.

Представьте: китайцев в ЮАР относили к черным. Я не имею в виду, что они становились черными. Они

оставались китайцами. Но, в отличие от индийцев, их было слишком мало, чтобы им придумали отдельную группу. Апартеид, несмотря на свою сложность и тщательность, не знал, что с ними делать, так что правительство сказал: «Ладно, мы просто назовем их черными. Так проще».

Любопытно, но японцы считались белыми. Причиной этого было то, что южноафриканское правительство хотело установить хорошие отношения с японским в целях импорта их замечательных автомобилей и электроники. Так что японцы получили почетный белый статус, а китайцы оставались черными.

Мне всегда нравится представлять, что я – южноафриканский полицейский, который вряд ли определит разницу между китайцем и японцем, но чья работа – обеспечивать, чтобы люди «неправильного» цвета не делали того, что им не положено. Он видит азиата, сидящего на скамейке только для белых:

- Эй, вставай со скамейки, ты, китаец!
- Простите, но я – японец.
- О, извините, сэр. Я не расист. Хорошего дня!

Глава 6

Лазейки

Мама постоянно говорила мне: «Я решила завести тебя, потому что хотела кого-то любить и чтобы кто-то безусловно любил меня в ответ. А получилось так, что я дала жизнь самому эгоистичному куску дерьма на земле, и все, что он делал, – плакал, ел, гадил и говорил: «Я, я, я, я, я!»»

Мама думала, что иметь ребенка – примерно то же самое, что иметь партнера. Но каждый ребенок рождается в центре своей собственной вселенной, он не способен понять мир за пределами своих личных желаний и потребностей, и я не был исключением. Я был ненасытным ребенком. Я ел, как свинья. Я поглощал коробки книг и хотел больше, больше, больше. Учитывая то, как я ел, я должен был бы страдать ожирением. В какой-то момент семья думала, что у меня глисты. Когда бы я ни уезжал в дом родственников на каникулы, мама отправляла меня с сумкой помидоров, лука и картошки и большим пакетом кукурузной муки. Это было ее способом предупредить жалобы на мое гостевание. В доме бабушки я всегда получал добавку, чего никогда не получали другие дети. Бабушка давала мне котелок и говорила: «Доешь». Если вам не хотелось мыть посуду, вы звали Тревора, он посуду подчищал. Они называли меня мусорным баком семьи. Я ел, ел и ел.

А еще я был гиперактивным. Прямо-таки жаждал постоянных действий и активности. Когда был малышом и гулял по тротуару, надо было мертвым захватом держать меня за руку, иначе я вырывался и на полной скорости бежал на проезжую часть. Любил, когда за мной гнались. Я думал, что это – игра. Что на этот счет думали бабули, которых мама нанимала присматривать за мной, пока она на работе? Я оставлял их в слезах. Мама приходила домой, а они плакали: «Я ухожу. Не могу больше. Твой сын – тиран». То же самое было с учителями в школе, с учителями в воскресной школе. Если вам не удалось заинтересовать меня, вы в беде. Я не изводил людей специально. Я не был нытиком и избалованным. У меня были хорошие манеры. Просто я был очень энергичным и знал, что хочу делать.

Мама водила меня в парк, чтобы я мог как следует набегаться и сжечь энергию. Она брала пластиковый диск и кидала его, а я бежал, ловил его и приносил обратно. Снова и снова, снова и снова. Иногда она использовала теннисный мяч. Между прочим, со своими собаками черные люди так не играют, собаке черного

ничего не бросают, если только это не еда. Так что я только тогда, когда начал проводить время в парках, где белые люди гуляют со своими питомцами, понял, что мама тренировала меня, как собаку.

Всякий раз, когда моя избыточная энергия не сгорала, она находила выход в шалостях и непослушании. Я гордился тем, что был невероятным озорником.

Каждый учитель в школе использовал потолочные проекторы, чтобы продемонстрировать свои записи на стене во время урока. Однажды я взял и достал увеличительные стекла из каждого проектора в каждом классе. В другой раз я раздобыл огнетушитель и опустошил его в школьное фортепиано, потому что знал, что на следующий день мы должны были выступать на школьном концерте. Пианист сел, сыграл первую ноту и – *пишишиш!* – вся эта пена вырвалась из пианино.

Больше всего я любил две вещи: огонь и ножи. Они бесконечно восхищали меня. Ножи были просто круты. Я покупал их в ломбардах и на гаражных распродажах: пружинные ножи, перочинные ножи, нож Рэмбо, нож Крокодила Данди. Но лучше всего все же был огонь. Я любил огонь, а особенно фейерверки. В ноябре мы праздновали Ночь Гая Фокса, и каждый год мама покупала множество фейерверков, настоящий мини-арсенал. Я понял, что могу достать порох из всех фейерверков, а потом создать один огромный собственный фейерверк. Однажды я делал именно это, развлекаясь с двоюродным братом и наполняя пустой цветочный горшок немалым количеством пороха, когда меня отвлекли петарды «Black Cat». Классная штука, которую можно было сделать с «Black Cat», заключалась в том, что вместо того, чтобы поджечь и взорвать ее, можно было разломать ее пополам, поджечь, и она превращалась в огнемёт в миниатюре. Я остановился на полпути в деле создания собственного фейерверка, чтобы поиграть с петардами, и каким-то образом бросил спичку в кучу пороха. Все взорвалось, мне в лицо полетел большой огненный шар. Млунгиси закричал, мама в панике выбежала во двор.

– Что случилось?!

Я держался, как ни в чем не бывало, хотя чувствовал на лице очень приличный жар огня.

– А, ничего. Ничего не случилось.

– Вы играли с огнем?!

– Нет.

Она покачала головой.

– Знаешь, что? Я выпорола бы тебя, но Иисус уже сделал явной твою ложь.

– Да?

– Иди в ванную и посмотри на себя.

Я пошел в ванную и посмотрел в зеркало. Мои брови исчезли, а сантиметра три волос спереди совершенно выгорели.

С точки зрения взрослого, я был разрушительным и неуправляемым, но как ребенок я так не думал. Я никогда не хотел разрушать. Я хотел создавать. Я не сжигал свои брови. Я создавал огонь. Я не ломал потолочные проекторы. Я создавал хаос, чтобы увидеть реакцию людей.

И я ничего не мог с этим поделать. Есть состояние, от которого страдают дети, невроз навязчивых состояний, который заставляет их делать то, чего они сами не понимают. Вы можете сказать ребенку: «Делай, что угодно, но не рисуй на стене. Ты можешь рисовать на этой бумаге. Ты можешь рисовать в этом альбоме. Ты можешь рисовать на любой поверхности. Но не рисуй и не пиши на стене, не раскрашивай ее». Ребенок посмотрит вам прямо в глаза и скажет: «Хорошо». Десять минут спустя ребенок уже рисует на стене. Вы начинаете на него кричать. «Какого черта ты рисуешь на стене?!» Ребенок смотрит на вас и на самом деле абсолютно не понимает, почему он рисовал на стене.

Хорошо помню, как, когда я был ребенком, у меня все время было это чувство. Каждый раз, когда меня наказывали, когда мама била меня по заднице, я думал: *«Почему я это сделал? Ведь знал, что этого делать нельзя. Она велела мне этого не делать»*. Потом, как только порка прекращалась, я говорил сам себе: *«Теперь я буду таким хорошим. Я никогда в своей жизни не буду делать плохого, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда. И буду всегда помнить, что нельзя делать ничего плохого. Ну-ка, напишу это на стене, чтобы напомнить себе»*. И брал мелок и снова брался за дело. И никогда не мог понять почему.

Мои отношения с мамой напоминали отношения между полицейским и преступником в фильмах – неумолимая дама-детектив и хитрый криминальный гений, которого она намерена поймать. Они – злейшие враги, но при этом невероятно уважают друг друга и каким-то образом даже становятся похожими друг на друга. Иногда мама ловила меня, но обычно она была на шаг позади, но всегда многообещающе смотрела на меня: *«Однажды, парень. Однажды я поймаю тебя и арестую до конца твоей жизни»*. Тогда в ответ я кивал ей: *«Доброго вечера, офицер»*. Так было все мое детство.

Мама всегда пыталась обуздать меня. С течением лет ее тактика становилась все более и более совершенной. Когда я был юным и энергия была на моей стороне, она обладала хитростью и

придумывала различные способы держать меня в узде. Как-то в воскресенье мы были в продуктовом магазине, где была большая витрина глазированных яблок. Я любил глазированные яблоки и ныл все время, пока мы были в магазине. *«Пожалуйста, мне можно глазированное яблоко? Пожалуйста, мне можно глазированное яблоко? Пожалуйста, мне можно глазированное яблоко? Пожалуйста, мне можно глазированное яблоко?»*.

Наконец, когда мы набрали продукты и мама отправилась к кассе, чтобы их оплатить, я преуспел и добился своего. «Ладно, – сказала она, – иди и возьми глазированное яблоко». Я побежал, взял яблоко, вернулся и положил его на прилавок у кассы.

– Прибавьте это глазированное яблоко, пожалуйста, – сказал я.

Кассир скептически посмотрел на меня.

– Дождись своей очереди, мальчик. Я еще обслуживаю эту леди.

– Нет, – сказал я, – она покупает это для меня.

Мама повернулась ко мне.

– Кто покупает это для тебя?

– Ты покупаешь это для меня.

– Нет-нет. Почему твоя мама не купит его тебе?

– Что? Моя мама? Ты моя мама.

– Я твоя мама? Нет, я не твоя мама. Где твоя мама?

Я был в замешательстве.

– Ты моя мама.

Кассир посмотрел на нее, снова посмотрела на меня, опять на нее. Та пожала плечами, словно говоря: *«Понятия не имею, о чем говорит этот ребенок»*. Затем она взглянула на меня так, словно ни разу в жизни меня не видела.

– Ты потерялся, малыш? Где твоя мама?

– Да, – сказал кассир, – где твоя мама?

Я показал на маму.

– Она моя мама.

– Что? Она не может быть твоей мамой, мальчик. Она черная. Ты не видишь?

С точки зрения взрослого, я был разрушительным и неуправляемым, но как ребенок я так не думал.

Я никогда не хотел разрушать.

Я хотел создавать. Я не сжигал свои брови.

Я создавал огонь. Я не ломал потолочные проекторы.

Я создавал хаос, чтобы увидеть реакцию людей.

Мама покачала головой.

– Бедный маленький цветной мальчик потерял маму. Как

жаль!

Я запаниковал. Я сошел с ума? Разве она не моя мама? Я начал реветь.

– Ты моя мама. Ты моя мама. Она моя мама. Она моя мама. Она снова пожала плечами.

– Как печально. Надеюсь, он найдет свою маму.

Мужчина кивнул. Она заплатила ему, взяла наши продукты и вышла из магазина. Я бросил глазированное яблоко, в слезах побежал за ней и догнал ее у машины. Она обернулась, истерически смеясь, словно действительно сделала мне добро.

– Почему ты плачешь? – спросила она.

– Потому что ты сказала, что ты не моя мама. Почему ты сказала, что ты не моя мама?

– Потому что ты не замолкал из-за глазированного яблока. Теперь садись в машину. Поехали.

К тому времени, как мне было семь или восемь лет, я уже был слишком умным для того, чтобы меня провести, так что она изменила тактику. Именно тогда наша жизнь превратилась в спектакль в зале суда, где два адвоката бесконечно спорят о лазейках и формальностях. Мама была умной и острой на язык, но я был быстрее в придумывании аргументов. Она нервничала, потому что не поспевала за мной. Так что она начала писать мне письма. Таким образом она могла донести свою точку зрения без бесконечных пререканий. Если мне надо было сделать что-то по дому, то, придя домой, я находил подсунутый под дверь конверт, как от домовладельца.

Дорогой Тревор,

«Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу».

– Послание к Колоссянам, 3:20

Есть определенные вещи, которые я ожидаю от тебя, как моего ребенка и молодого мужчины. Ты должен убирать свою комнату. Ты должен содержать дом в чистоте. Ты должен приводить в порядок свою школьную форму. Пожалуйста, дитя мое, я прошу тебя. Уважай мои правила, чтобы я тоже могла уважать тебя. Сейчас я тебя прошу, пожалуйста, вымой посуду и выполни сорняки в саду.

Искренне твоя,

Мама

Я делал домашние дела, а если мне было что сказать, писал

ответное письмо. Так как мама была секретарем, а я каждый день после школы проводил часы в ее офисе, я многое узнал о деловой переписке. Я был необычайно горд своим умением писать письма.

К сведению заинтересованных лиц:

Дорогая мама,

Ранее я получил твою корреспонденцию. Рад сообщить, что я начал мыть посуду ранее запланированного срока и мыл ее примерно в течение часа. Пожалуйста, прими во внимание, что в саду сыро, так что я не имею возможности выполоть сорняки в это время. Но будь уверена, что эта задача будет завершена к концу выходных. Также я абсолютно согласен с тем, что ты сказала относительно моего уровня уважения, и я буду убирать свою комнату на удовлетворительном уровне.

Искренне твой,

Тревор

Это были вежливые письма. Если у нас была настоящая полномасштабная ссора или у меня были проблемы в школе, то, когда я приходил домой, меня ждали более обвинительные послания.

Дорогой Тревор,

«Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него».

– Книга Притчей Соломоновых 22:15

Твои школьные результаты в этом семестре были очень неутешительными, а твое поведение в классе продолжает быть разрушительным и неуважительным. Твои действия ясно дают понять, что ты меня не уважаешь. Ты не уважаешь своих учителей. Научись уважать женщин в своей жизни. Потому что то, как ты относишься ко мне, и то, как ты относишься к своим учителям, может стать способом относиться к другим женщинам мира. Научись обуздывать эту манеру сейчас, и благодаря этому ты станешь мужчиной получше. Из-за твоего поведения я на одну неделю запрещаю тебе выходить из дома. Никакого телевизора и никаких видеоигр.

Искренне твоя,

Конечно, я считал это наказание абсолютно несправедливым. Я брал это письмо и пробовал спорить с мамой.

– Я могу поговорить с тобой об этом?

– Нет. Если ты хочешь ответить, ты должен написать письмо.

Так что я шел в свою комнату, брал ручку и бумагу, садился за маленький письменный стол и по пунктам отвечал на ее аргументы.

К сведению заинтересованных лиц:

Дорогая мама,

Во-первых, этот семестр был особенно сложным, так что говорить, что у меня плохие результаты, – очень нечестно с твоей стороны. Особенно учитывая тот факт, что ты сама не очень хорошо училась в школе, а я, между прочим, твой отпрыск, поэтому отчасти можно винить тебя, ведь это ты не очень хорошо училась в школе, так что почему я должен хорошо учиться в школе, ведь генетически мы одинаковые. Бабушка всегда говорит, что ты была очень озорной, так что я не думаю, что ты права или справедлива, говоря такое.

Искренне твой,

Тревор

Я приносил ей письмо и стоял рядом, пока она его читала. Она, как обычно, рвала его и кидала в мусорное ведро. «Чепуха! Это чепуха». Потом начинала спорить со мной, а я говорил: «Ах-ах-ах. Ты должна написать письмо». И я шел в свою комнату и ждал ее ответа. Иногда так продолжалось целыми днями.

Письма применялись во время незначительных разногласий. За серьезные проступки мама надирала мне задницу. Как и большинство черных южноафриканских родителей, мама была старой закалки, если речь шла о дисциплине. Если мне удавалось сильно вывести ее из себя, она бралась за ремень или прут. Именно так было принято в те дни. У большинства моих друзей было то же самое.

Мама устраивала мне настоящие основательные порки, если я давал ей такую возможность, но она никогда не могла поймать меня. Бабушка называла меня «Спрингбок», в честь антилопы, на которую охотится гепард, второго по скорости сухопутного млекопитающего на земле. Маме пришлось стать партизаном. Она наносила мне удары там, где могла, при помощи подхваченных на лету ремня, или прута, или туфли.

В маме я особенно уважал одно – она никогда не оставляла мне ни малейших сомнений в том, за что меня выпорола. Это не были ярость или гнев. Это было воспитание из лучших побуждений. Мама была одна с бешеным ребенком. Я разрушал фортепиано. Я гадил на полы. Я делал промахи, и она выбивала из меня дурь. Потом давала мне время выплакаться, заглядывала в мою комнату с широкой улыбкой и говорила:

– Ты будешь обедать? Нам надо поесть побыстрее, если мы хотим посмотреть *«Службу спасения 911»*. Ты идешь?

– Что? Что ты за психопатка? Ты только что побила меня!

– Да. Потому что ты поступил неправильно. Но это не значит, что я тебя больше не люблю.

– Что?

– Послушай, ты сделал что-то плохое или не сделал?

– Сделал.

– А потом? Я ударила тебя. Но сейчас это уже прошло. Так что зачем сидеть и плакать? Время смотреть *«Службу спасения 911»*. Уильям Шетнер ждет. Ты идешь или нет?

Если говорить о дисциплине, католическая школа – это вам не шутки. Когда бы я ни конфликтовал с монахинями в «Мэривейле», они били меня по пальцам краем металлической линейки. За ругань они мыли мне рот с мылом. За серьезные проступки меня отправляли в кабинет директора. Официально пороть мог только директор. Приходилось наклоняться, а он бил по заднице чем-нибудь плоским и резиновым, например подошвой ботинка.

Каждый раз, когда директор бил меня, он, казалось, боялся сделать это слишком сильно. Однажды меня били, а я подумал: *«Боже, если бы моя мама била меня так»*. И начал смеяться. Я не мог удержаться. И это был первый из трех раз, когда школа заставила маму отвести меня на обследование к психологу. Директор был очень обеспокоен. «Если ты смеешься, когда тебя бьют, – сказал он, – с тобой определенно что-то не так».

Каждый осматривавший меня психолог говорил: «С этим ребенком все в порядке». У меня не было синдрома дефицита внимания. Я не был социопатом. Я просто был творческим, независимым и полным энергии. Психотерапевты провели ряд тестирований и пришли к заключению, что я либо стану отличным преступником, либо буду хорошо ловить преступников, потому что всегда смогу находить лазейки в законах. Когда бы я ни считал, что какое-либо правило нелогично, я находил способ его обойти.

Например, правила о причастии на пятничной мессе не

имели абсолютно никакого смысла. Мы проводили в церкви час, стоя на коленях, на ногах, сидя, и в конце всего этого я был голоден, но мне никогда не разрешали принять причастие, потому что я не был католиком. Другие дети ели тело Иисуса и пили кровь Иисуса, а я не мог. А кровью Иисуса был виноградный сок. Я любил виноградный сок. Виноградный сок и крекеры – что еще мог бы хотеть ребенок? А они ничего мне не давали. Я все время спорил с монахинями и священником.

– Только католики могут есть тело Иисуса и пить кровь Иисуса, так?

– Да.

– Но Иисус не был католиком.

– Не был.

– Иисус был евреем.

– Ну да.

– То есть вы говорите мне, что, если Иисус войдет в вашу церковь прямо сейчас, Иисусу не будет позволено вкушать тело и кровь Иисуса?

– Ну... эм... э...

У них никогда не было удовлетворительного ответа.

Однажды утром перед мессой я решил: *«Я получу немного крови Иисуса и тела Иисуса»*. Я спрятался за алтарем и выпил целую бутылку виноградного сока и съел целый пакет просвирок, чтобы компенсировать все те разы, когда не мог этого сделать.

Со своей точки зрения, я не нарушал правил, потому что правила были бессмысленны. И меня поймали только потому, что я нарушил их собственные правила. Другой ребенок наядбедничал на меня во время исповеди, и священник выдал меня.

– Нет, нет, – протестовал я. – Это *Вы* нарушили правила. Это конфиденциальная информация. Священник не должен повторять то, что говорилось во время исповеди.

Их это не беспокоило. Школа могла по своему желанию нарушать любые правила. Директор накинулся на меня.

– Что за нездоровая личность могла бы съесть все тело Иисуса и выпить всю кровь Иисуса?

– Голодная личность.

За это меня выпороли и во второй раз отправили к психологу. Причиной третьего визита к психологу и последней каплей стало произошедшее в шестом классе. Один ребенок травил меня. Он сказал, что собирается меня избить, и я принес в школу один из своих ножей. Я не собирался пускать его в дело, только хотел, чтобы он был при мне. Школу это не волновало. Это было для них последней каплей.

*Каждый осматривавший меня психолог говорил:
«С этим ребенком все в порядке».
У меня не было синдрома дефицита внимания.
Я не был социопатом. Я просто был творческим,
независимым и полным энергии.*

На самом деле меня не исключили. Директор усадил меня и сказал: «Тревор, мы можем исключить тебя. Тебе надо хорошенько подумать о том, действительно ли ты хочешь учиться в «Мэривейле» в следующем году». Думаю, он считал, что поставил передо мной ультиматум, который заставил бы меня выправиться. Но мне казалось, что он предложил мне лазейку, и я принял предложение. «Нет, – сказал я ему, – я не хочу учиться здесь». И это был конец обучения в католической школе.

Довольно смешно, но когда это случилось, у меня не было никаких проблем с мамой. Дома меня не ждала порка. Она лишилась социальной стипендии, когда уволилась из «ICI», и оплата частной школы стала обузой. Но, более того, она решила, что школа среагировала слишком строго.

На самом деле она чаще становилась на мою сторону против «Мэривейла», чем на сторону школы. Она была на 100 процентов согласна со мной относительно причастия. «Давайте поговорим прямо, – сказала она директору. – Вы наказываете ребенка за то, что он *хочет* тела Иисуса и крови Иисуса? Почему мы не должны этого иметь? Разумеется, мы должны это иметь».

Когда они отправили меня к психологу из-за того, что я смеялся, когда директор меня бил, она также сказала в школе, что это странно.

– Мисс Ной, ваш сын смеется, когда мы его порем.

– Ну, очевидно, вы не знаете, как пороть ребенка. Это ваша проблема, а не моя. Могу сказать вам, что Тревор никогда не смеется, когда его порю я.

Это было странным и даже удивительным качеством мамы. Если она соглашалась со мной, что правило глупое, то не наказывала меня за его нарушение. И она, и психологи соглашались, что проблема заключалась в школе, а не во мне. Католическая школа – не место для того, чтобы быть креативным и независимым.

Католическая школа напоминает апартеид своей безжалостной авторитарностью, а авторитарность опирается на свод правил, не имеющих никакого смысла. Мама выросла с этими правилами, и они вызывали у нее сомнения. Когда они не казались разумными, она попросту обходила их. Единственным авторитетом, который признавала мама, был бог. Бог был

любовью, а Библия была истиной – все остальное можно было оспорить. Она учила меня бросать вызов авторитарности и подвергать сомнению систему. Единственным, что раздражало ее, было то, что я постоянно бросал вызов ей и подвергал сомнению ее.

Когда мне было семь лет, мама встречалась со своим новым бойфрендом, Абелем, может быть, в течение года. В то время я был слишком мал, чтобы понимать, что они значили друг для друга. Это было просто: «Эй, это мамин друг, который проводит с нами много времени». Он мне нравился, он действительно был хорошим парнем.

Если ты был жившим в те времена черным, то, если тебе хотелось жить в пригороде, ты должен был найти белую семью, сдававшую в аренду комнаты для слуг или иногда гараж, что и сделал Абель. Он жил в районе под названием Оранж-Гроув в гараже белой семьи, который он превратил во что-то вроде коттеджа – с плитой и кроватью. Иногда он ночевал в нашем доме, иногда мы оставались у него. Жить в гараже, имея собственный дом, не было идеальным вариантом, но Оранж-Гроув был рядом с моей школой и маминой работой, так что в этом были свои преимущества.

У этой белой семьи также была черная горничная, жившая в комнате для слуг в задней части дома, и, когда мы бывали там, я играл с ее сыном. В том возрасте моя любовь к огню была в самом разгаре. Однажды все были на работе (мама, Абель, белые родители), и мы с тем мальчиком играли вместе, пока его мама была в доме, занимаясь уборкой. В то время я любил делать одну вещь: использовать увеличительное стекло, чтобы с его помощью выжигать свое имя на кусочках дерева. Надо было направить линзы и сфокусировать луч правильно, и тогда получалось пламя, а потом надо было медленно двигать его, и таким образом можно было выжигать формы, буквы и узоры. Меня это восхищало.

В тот день я учил мальчика, как это делается. Мы играли в комнате для слуг, которая на самом деле была больше похожа на сарай для инструментов, пристроенный в задней части дома, полный деревянных лестниц, корзин со старой краской, скипидара. У меня был с собой коробок спичек – мои обычные приспособления для разжигания огня. Мы сидели на старом матрасе, на котором они спали на полу, попросту – мешке, набитом сухой соломой. Лучи солнца проникали через окно, и я показывал мальчику, как выжигать свое имя на куске фанеры.

В какой-то момент мы сделали перерыв, чтобы перекусить. Я оставил увеличительное стекло и спички на матрасе, и мы вышли

на несколько минут. Вернувшись, мы обнаружили, что дверь сарая была из тех, что сами закрываются изнутри. Мы не могли попасть внутрь, не обратясь к его матери, так что решили побегать и поиграть во дворе. Через несколько минут я увидел, как через трещины в оконной раме струится дым. Подбежал и заглянул внутрь. В центре матраса, там, где мы оставили спички и увеличительное стекло, разгоралось небольшое пламя. Мы побежали звать горничную. Она пришла, но не знала, что делать. Дверь была заперта, и прежде чем мы смогли придумать, как проникнуть в сарай, все вспыхнуло: матрас, лестницы, краска, скипидар, все.

Языки пламени двигались быстро. Вскоре вспыхнула крыша, а оттуда пламя распространилось на главный дом, все горело, горело и горело. В небо поднимался дым. Сосед позвонил в пожарную часть, слышались звуки сирен. Мы с мальчиком и горничной выбежали на тротуар и смотрели, как пожарные пытались сбить пламя, но к тому времени, как им это удалось, было слишком поздно. Не осталось ничего, кроме обугленного остова из кирпичей и цементного раствора, крыша рухнула, и ее обломки валялись внутри.

Белая семья вернулась домой и встала на тротуаре, уставившись на руины своего дома. Они спросили горничную, что случилось, она спросила сына, и мальчик полностью раскололся. «У Тревора были спички», – сказал он. Семья мне ничего не сказала. Думаю, они не знали, что сказать. Они были совершенно ошеломлены. Они не вызвали полицию, не угрожали судебным иском. Что они могли сделать, арестовать семилетнего ребенка за поджог? И мы были настолько бедны, что судебный иск на самом деле ничего для нас не значил. Кроме того, у них была страховка, так что этим дело и кончилось.

Они выгнали Абеля из гаража, что я считал смешным, потому что гараж, который стоял отдельно, был единственной частью собственности, которая не пострадала. Я не видел причин, по которым Абель должен был уйти, но они вынудили его. Мы собрали его пожитки, положили их в наш автомобиль и поехали домой в Иден-Парк.

С тех пор Абель жил в основном с нами. Они с мамой сильно поссорились. «Твой сын сжег дотла мою жизнь!» Но в тот день меня не наказали. Мама была слишком шокирована. Одно дело – озорство, другое – сжечь дотла дом белого человека. Она не знала, что делать.

Я совсем не испытывал угрызений совести. И сейчас не испытываю. Мой внутренний адвокат настаивает, что я абсолютно невиновен. Были спички, и было увеличительное стекло, и был

матрас. И было, очевидно, неудачное стечение обстоятельств. Иногда вещи загораются. Вот для чего существует пожарная часть.

Но каждый член моей семьи скажет вам: «Тревор сжег дом дотла». Если до этого люди думали, что я просто озорник, то после пожара я стал пользоваться дурной славой. Один из моих дядьев перестал называть меня Тревором. Вместо этого он звал меня «Террор». «Не оставляйте этого ребенка одного в своем доме, – говорил он, – он сожжет его дотла».

Мой кузен Млунгиси до сих пор не может понять, как я выжил, будучи таким озорным, так долго, как я выдержал то количество порок, которые получил. Почему я продолжал плохо себя вести? Почему я так никогда и не смог усвоить уроки? Двоюродные брат и сестра были очень хорошими детьми. Млунгиси выпороли, может быть, один раз в жизни. После этого он сказал, что больше никогда не хочет испытать такое еще раз, и с того дня всегда следовал правилам. Но я был награжден еще одной чертой характера, унаследованной от мамы: способностью забывать боль. Я помню, что вызвало травму, но я не держусь за травму. Я никогда не позволяю воспоминаниям о чем-то болезненном удерживать меня от того, чтобы попробовать что-то новое.

Если ты слишком много думаешь о порке, которую задала тебе мама, или об ударах, которые ты получил от жизни, то перестанешь раздвигать границы и нарушать правила. Лучше получить порку, немного поплакать, а затем, на следующий день, проснуться и двигаться дальше. Ты получишь новые синяки, и они будут напоминать тебе о том, что произошло, и это нормально. Но через время синяки сойдут, и сойдут не без причины: ведь теперь пришло время снова влипнуть в историю.

Я РОС В ЧЕРНОЙ СЕМЬЕ В ЧЕРНОМ РАЙОНЕ В ЧЕРНОЙ СТРАНЕ. Я путешествовал в другие черные города в черных странах по всему черному континенту. И за все это время я пока не нашел место, где черные люди любят кошек. Одной из главных причин этого является то, что, как мы в Южной Африке знаем, кошки есть только у ведьм, и все кошки – ведьмы.

Несколько лет назад во время футбольного матча «Орландо Пайретс» случилось нашумевшее происшествие. На стадион забежал кот, пробежал через толпу и выскочил на поле прямо посреди игры. Охранник, увидевший кота, сделал то, что сделал бы любой разумный черный человек. Он сказал себе: «Эта

кошка – ведьма». Он поймал кота и (это транслировалось по телевидению в прямом эфире), стукнул его ногой, потоптался по нему и забил его до смерти тяжелой кожаной плетью – sjambok.

Эта новость была на первых страницах газет по всей стране. Белые люди вышли из равновесия. О боже, это было сумасшествием. Охранник был арестован и отдан под суд, где был признан виновным в жестоком обращении с животным. Он должен был выплатить какой-то немислимый штраф, чтобы не просидеть несколько месяцев в тюрьме.

Для меня было смешным то, что белые люди годами смотрели видеозаписи, на которых другие белые люди до смерти забивали черных людей, но именно эта видеозапись, на которой черный человек забивает кота, стала единственной, которая вывела их из себя. Черные же просто пришли в недоумение. Они не видели никакой проблемы в том, что сделал этот человек. Они думали что-то вроде: «Эта кошка, несомненно, была ведьмой. Как еще кошка могла бы узнать, как пробраться на футбольное поле? Кто-то послал ее, чтобы сглазить одну из команд. Тому человеку пришлось убить кошку. Он защищал игроков».

В Южной Африке черные заводят собак.

Глава 7

Фуфи

Через месяц после того, как мы переехали в Иден-Парк, мама принесла домой двух котов. Черных котов. У одной женщины с ее работы было несколько котят, от которых она пыталась избавиться, и мама взяла себе двух. Я был в восторге, потому что до этого у меня никогда не было питомца. Мама была в восторге, потому что она любила животных. Она не верила во всю чушь насчет кошек. Это был просто еще один способ проявить себя мятежницей, отказываясь следовать представлениям о том, что черные люди делают и не делают.

В черном районе вы не осмелились бы завести кошку, тем более черную. Это словно надеть на себя табличку с надписью «Привет, я ведьма». Это было бы самоубийственным. Так как мы переехали в цветной район, мама решила, что кошки будут восприняты нормально. Когда они подросли, мы выпускали их днем побродить по району. Но однажды вечером мы вернулись домой и увидели котов, подвешенных за хвосты на наших воротах, выпотрошенных, с содранной шкурой, истекавших кровью, с отрубленными головами. На воротах кто-то написал на африкаанс: «*Heks*» – «Ведьма».

Очевидно, цветные люди не были более прогрессивными по сравнению с черными, если дело касалось кошек.

Я не особенно переживал по поводу котов. Не думаю, что они прожили у нас достаточно долго, чтобы я успел к ним привязаться, я даже не помню, как их звали. И коты ведь, по большей части, пофигисты. Как бы я ни старался, они никогда не казались настоящими питомцами. Они никогда не показывали мне свою любовь и не принимали от меня мою. Если бы коты вели себя более заинтересованно, возможно, я бы чувствовал, что что-то потерял. Но, даже будучи ребенком, глядя на этих мертвых, изувеченных животных, я думал: «Ну, ладно. Может быть, если бы они были милее, то смогли бы избежать этого».

После того как коты были убиты, мы какое-то время не заводили питомцев. Потом у нас были собаки. Собаки классные. Почти в каждой черной семье, которую я знал, была собака. Неважно, насколько вы были бедны, собака у вас непременно будет.

Мы относились к ним не так, как белые люди. Белые относятся к собакам, как к детям или членам семьи. Собаки черных служат больше для защиты, это – охранный сигнализация

бедного человека. Вы покупаете собаку и держите ее во дворе. Черные дают собакам кличку в зависимости от их особенностей. Если у нее есть полосы, ее называют Тигр. Если она злая, ее называют Дэнжер («опасность»). Если пятнистая – Спотти («пятнистый»). Учитывая ограниченное количество признаков, которыми может обладать собака, почти у всех владельцев собаки носили одинаковые клички, люди просто постоянно пускали их в ход.

В Соуэто у нас никогда не было собаки. Но однажды другая леди с маминой работы предложила нам двух щенят. Это были незапланированные щенки. У женщины был мальтийский пудель, забеременевший от соседского бультерьера, – странная помесь. Мама сказала, что возьмет обоих щенков. Она принесла их домой, и я был счастливейшим ребенком на земле.

Мама назвала их Фуфи и Пантера. Я не знаю, откуда взялась кличка Фуфи. У Пантеры был розовый нос, так что она была Розовой Пантерой, а потом просто Пантерой. Это были две сестры, которые любили и ненавидели друг друга. Они искали друг друга, но могли и все время драться. Да, это были кровавые бои. Клыки. Когти. Это были странные, пугающие отношения.

Собаки классные.

Почти в каждой черной семье, которую я знал, была собака.

Неважно, насколько вы были бедны, собака у вас непременно будет.

Пантера была маминой собакой, Фуфи – моей. Фуфи была красивой. Чистые линии, счастливая морда. Она выглядела, как идеальный бультерьер, только стройнее из-за мальтийской примеси. Пантера, которая была больше серединка-наполовинку, получилась странной и выглядела нечесаной. Пантера была умной. Фуфи – абсолютно тупой. Во всяком случае, мы всегда думали, что абсолютно тупой. Когда бы мы их ни звали, Пантера сразу бежала на зов, а Фуфи никак не реагировала. Пантера бежала назад, звала Фуфи, и они возвращались вместе. Выяснилось, что Фуфи была глухой. Годы спустя Фуфи погибла, когда в наш дом пытался проникнуть грабитель. Он выбил ворота, те упали ей на спину и сломали позвоночник. Мы отвезли ее к ветеринару, и ее пришлось усыпить. Ветеринар осмотрел ее, подошел к нам и сообщил информацию.

– Вашей семье, должно быть, было непривычно жить с глухой собакой, – сказал он.

– Что?

– Вы не знали, что ваша собака глухая?

– Нет, мы думали, что она глупая.

И только тогда мы осознали, что всю их жизнь одна собака каким-то образом сообщала другой собаке, что надо делать. «Умная», слышащая, помогала «глупой», глухой.

Фуфи была любовью моей жизни. Красивая, но глупая. Я вырастил ее. Я приучал ее к лотку. Она спала в моей постели. Собака – то, что надо ребенку. Это как велосипед, но с чувствами.

Фуфи умела выполнять разнообразные трюки. Она могла очень высоко прыгать. Я имею в виду, Фуфи умела *прыгать*. Я мог держать кусочек еды над своей головой, а она подпрыгивала и хватала его, словно не прилагая никаких усилий. Если бы тогда был «YouTube», Фуфи стала бы звездой.

Фуфи также была немного проказливой. Днем мы держали собак на заднем дворе, который был отгорожен стеной высотой как минимум полтора метра. Спустя некоторое время, каждый день, когда мы приходили домой, Фуфи сидела за воротами, ожидая нас. Мы всегда удивлялись. Может, кто-нибудь открывал ворота? Что происходило? Нам не приходило в голову, что она на самом деле могла преодолеть почти двухметровую стену, но именно так она и делала. Каждое утро Фуфи ждала, пока мы уйдем, перепрыгивала через стену и бродила по району.

Однажды я ее застал за этим, когда был дома во время школьных каникул. Мама ушла на работу, а я был в гостинной. Фуфи не знала, что я там, она думала, что мы ушли, потому что автомобиль уехал. Я услышал, как на заднем дворе лает Пантера, выглянул и увидел Фуфи, перепрыгивающую через стену. Она подпрыгнула, проскребла когтями последние полметра и исчезла.

Я не мог поверить случившемуся. Выбежал за ворота, схватил велосипед и последовал за ней, чтобы увидеть, куда она направляется. Она проделала большой путь до другой части района, позади осталось много улиц. Она подбежала к другому дому, перепрыгнула через его стену во внутренний двор. Какого черта она делает? Я подбежал к воротам и позвонил в колокольчик. Открыл цветной мальчик.

– Могу помочь? – спросил он.

– Да. Моя собака в вашем дворе.

– Что?

– Моя собака. Она в вашем дворе.

Фуфи подошла и встала между нами.

– Фуфи, пошли, – сказал я. – Давай!

Мальчик посмотрел на Фуфи и назвал ее какой-то дурацкой кличкой – Спотти или что-то вроде этого.

– Спотти, возвращайся в дом.

– Эге-ге, – сказал я. – Спотти? Это Фуфи!

– Нет, это моя собака Спотти.
– Нет, это Фуфи, мой друг.
– Нет, это Спотти.
– Как это может быть Спотти? У нее даже нет пятен. Ты даже не знаешь, о чем говоришь.

– Это Спотти!

– Фуфи!

– Спотти!

– Фуфи!

Конечно, так как Фуфи была глухой, она не отзывалась ни на «Спотти», ни на «Фуфи». Она просто стояла. Я начал кричать на мальчика.

– Верни мне мою собаку!

– Я не знаю, кто ты такой, – сказал он, – но тебе лучше убратся отсюда.

Потом он побежал в дом и позвал свою маму. Она вышла.

– Что ты хочешь? – спросила она.

– Это моя собака!

– Это наша собака. Уходи.

Я начал плакать. «Почему вы крадете мою собаку?» Я повернулся к Фуфи и стал умолять ее: «Фуфи, почему ты так со мной поступаешь?! Почему, Фуфи?! Почему?!» Я звал ее. Я умолял ее пойти со мной. Фуфи была глуха к моим просьбам. И все дела.

Я вскочил на велосипед и помчался домой, по лицу бежали слезы. Я так любил Фуфи. Видеть ее с другим мальчиком, когда она ведет себя так, словно не знает меня, после того, как я ее вырастил, после всех ночей, проведенных вместе. Мое сердце было разбито.

В тот вечер Фуфи не пришла домой. Другая семья подумала, что я пришел украсть их собаку, поэтому они решили запереть ее в доме, так что она не могла вернуться обратно, как делала обычно, чтобы дожидаться нас у забора. Мама пришла домой с работы. Я был в слезах. Я рассказал, что Фуфи похитили. Мы отправились к тому дому. Мама позвонила в колокольчик и стала спорить с той мамой.

– Послушайте, это наша собака.

Та леди лгала маме в лицо.

– Это не ваша собака. Эту собаку мы купили.

– Вы не купили эту собаку. Это наша собака.

Они препирались. Переспорить ту женщину было невозможно, так что мы отправились домой за подтверждениями: нашими фотографиями с собаками, справками от ветеринара. Я все время плакал, и мама потеряла терпение:

– Прекрати реветь! Мы заберем собаку! Успокойся!

Мы собрали документы и вернулись в тот дом. На этот раз мы взяли с собой Пантеру как часть доказательств. Мама показала той даме фотографии и информацию от ветеринара. Но та все равно не отдавала нам Фуфи. Мама пригрозила вызвать полицию. Это оказалось не так-то просто. Наконец, мама сказала:

– Ладно, я дам вам сто рэндов.

– Отлично, – ответила дама.

Мама отдала ей деньги, и она вывела Фуфи. Другой мальчик, думавший, что Фуфи – это Спотти, видел, как его мать продает собаку, которую он считал своей. Теперь начал плакать он. «Спотти! Нет! Мама, ты не можешь продать Спотти!» Но мне было все равно. Я хотел одного – вернуть Фуфи.

Как только Фуфи увидела Пантеру, она сразу подошла. Мы ушли, и собаки побежали с нами. Я все еще переживал и всхлипывал весь обратный путь домой. У мамы не было времени на мое нытье.

– Почему ты плачешь?!

– Потому что Фуфи любит другого мальчика.

– И что? Почему это тебя ранит? Это тебе ничего не стоило. Фуфи здесь. Она до сих пор любит тебя. Она все еще твоя собака. Так что возьми себя в руки.

Фуфи была моим первым жестоким разочарованием. Еще никто никогда не предавал меня так, как Фуфи. Это было для меня ценным уроком. Непросто было понять, что Фуфи не изменяла мне с другим мальчиком. Она просто жила своей жизнью во всей ее полноте. Пока я не узнал, что она бегала сама по себе в течение дня, ее отношения с другими никак не отражались на мне. У Фуфи не было злого умысла.

Я был уверен, что Фуфи – моя собака, но это, конечно, было не так. Фуфи была собакой. Я был мальчиком. Мы хорошо ладили. Она была счастлива, живя в моем доме.

Этот опыт стал основой того, что я чувствую относительно взаимоотношений всю свою жизнь: то, что ты любишь, не принадлежит тебе. Мне повезло усвоить этот урок в таком юном возрасте. У меня так много друзей, которые, уже будучи взрослыми, боролись с ощущениями того, что их предали. Они приходят ко мне, злые и плачущие, рассказывают о том, как им изменили или солгали, и я сочувствую им. Я понимаю, через что они проходят. Я сижу с ними, покупаю им спиртное и говорю:

– Дружище, давай-ка я расскажу тебе историю о Фуфи.

КОГДА МНЕ БЫЛО ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ГОДА, МАМА
КАК-ТО НЕОЖИДАННО сказала мне: «Ты должен найти

отца».

– Зачем? – спросил я.

К тому времени я не видел его уже более десяти лет и не думал, что когда-нибудь увижу его снова.

– Потому что он часть тебя, – сказала она, – и если ты не найдешь его, ты не найдешь себя.

– Для этого он мне не нужен, – ответил я. – Я знаю, кто я.

– Речь идет не о том, что ты знаешь, кто ты. Речь идет о том, знает ли он, кто ты, и знаешь ли ты, кто он. Так много мужчин растет без отцов, и они всю жизнь живут с фальшивыми представлениями о том, кто их отцы и каким должен быть отец. Тебе надо найти отца. Ты должен показать ему, кем ты стал. Ты должен закончить эту историю.

Глава 8

Роберт

Мой отец был абсолютной загадкой. О его жизни столько вопросов, что я даже не знаю, с чего начать.

Где он вырос? Где-то в Швейцарии.

Где он учился в университете? Я даже не знаю, учился ли он в нем.

Как он оказался в ЮАР? Не имею ни малейшего представления.

Я никогда не знал своих швейцарских бабушку и дедушку. Не знал, как их зовут, не знал о них ничего. Я знаю, что у папы есть старшая сестра, но с ней я тоже никогда не встречался. Знаю, что какое-то время он работал поваром в Монреале и Нью-Йорке, а потом, в конце 1970-х, переехал в ЮАР. Знаю, что он работал в крупной компании общественного питания и открыл где-то пару баров и ресторанов. И это – все.

Я никогда не называл папу «папа». Уж тем более «папочка» или даже просто «отец». Я не мог. Мне сказали: этого делать нельзя. Если мы были в общественных местах или там, где люди могли услышать, о чем мы говорим, и я назвал бы его папой, кто-нибудь мог начать задавать вопросы или вызвать полицию. Так что, насколько я помню, я всегда звал его Робертом.

Хотя я ничего не знал о его жизни до моего рождения, благодаря маме и тому времени, которое я мог с ним проводить, я имел представление о том, что он был за человек. Он был настоящим швейцарцем – чистоплотным, аккуратным и пунктуальным. Он был единственным из известных мне людей, который поселялся в номере отеля и, уезжая, оставлял его более чистым, чем тот был по прибытии. Он не любил, чтобы ему кто-то прислуживал. Никаких слуг, никаких домработниц. Он сам занимался уборкой. Он любил свое жилище. Он жил в собственном мире и делал все сам.

Я знаю, что он никогда не был женат. Он говорил, что большинство людей вступает в брак потому, что они хотят контролировать другого человека, а он никогда не хотел, чтобы его контролировали. Я знаю, что он любит путешествовать, любит развлекаться, любит принимать гостей. Но в то же время его личное пространство является для него всем. Где бы он ни жил, он никогда не регистрируется в телефонной книге. Я уверен, что в то время, когда родители были вместе, их бы обязательно поймали, если бы он не был таким скрытным. Мама была

необузданной и импульсивной. Папа – сдержанным и рациональным. Она была пламенем, он – льдом. Они были противоположностями, которые притягиваются, а я – сочетанием обоих.

О папе я точно знаю одно – он ненавидел расизм и однородность больше, чем что-либо другое. И не из чувства уверенности в своей правоте или морального превосходства. Он просто никогда не понимал, как белые люди могут быть расистами в ЮАР. «В Африке полно черных людей, – говорил он. – Так почему же вы проделали такой путь до Африки, если вы ненавидите черных? Если вы так сильно ненавидите черных, почему бы вам не вернуться домой?» Для него это было сумасшествием.

Так как расизм никогда не имел для моего отца ни малейшего смысла, он не придерживался ни одного из правил апартеида. В начале восьмидесятых, до моего рождения, он открыл в Йоханнесбурге один из первых ресторанов для всех рас, стейкхаус. Он получил специальную лицензию, позволяющую компаниям обслуживать как черных, так и белых клиентов.

Такие лицензии существовали, потому что требовались отелям и ресторанам для обслуживания черных туристов и дипломатов из других стран, на которых теоретически не должны были распространяться те же ограничения, что предусмотрены политикой апартеида для южноафриканцев. В свою очередь, богатые черные южноафриканцы прибегали к этой лазейке, чтобы пользоваться отелями и ресторанами.

Папин ресторан немедленно обрел огромную популярность. Черные приходили туда, потому что было мало фешенебельных заведений, где они могли бы поесть, а они хотели прийти и посидеть в хорошем ресторане и посмотреть, что это такое. Белые приходили потому, что хотели узнать, что это такое – сидеть рядом с черными. Белые сидели и смотрели, как едят черные, а черные сидели, ели и смотрели, как белые наблюдают за тем, как они едят. Любопытство совместного времяпрепровождения пересиливало неприязнь, разделяющую людей. Здесь была великолепная атмосфера.

Мама была необузданной и импульсивной.

Папа – сдержанным и рациональным.

Она была пламенем, он – льдом.

Они были противоположностями, которые притягиваются, а я – сочетанием обоих.

Ресторан закрылся только потому, что несколько человек из этого района решили пожаловаться. Они писали петиции, и

правительство стало искать способы закрыть заведение. Сначала приходили инспекторы, которые пытались найти нарушения чистоты и санитарных норм. Конечно, они никогда не слышали о швейцарцах. И потерпели полное поражение. Потом они решили взяться за него при помощи наложения дополнительных самоуправных ограничений.

– Так как у вас есть лицензия, вы можете не закрывать ресторан, – сказали они, – но вам требуется устроить отдельные туалеты для каждой расовой категории. Вам нужны туалеты для белых, туалеты для черных, туалеты для цветных и туалеты для индийцев.

– Но тогда в ресторане будут одни туалеты.

– Ладно, если вы не хотите этого делать, есть еще один вариант. Сделать свое заведение обычным рестораном и обслуживать только белых.

Он закрыл ресторан.

После падения апартеида папа переехал из Хиллброу в район под названием Йовилл – бывший тихий спальный район, превратившийся в оживленный плавильный котел черного, белого и всех других оттенков. Туда стекались иммигранты из Нигерии, Ганы и со всего континента, принося с собой различную еду и замечательную музыку. Главной улицей была Роки-стрит, и на ее тротуарах было полно уличных торговцев, а также ресторанов и баров. Это был взрыв культуры.

Пиццерия, в которую мама водила меня каждый вторник, находилась на Роки-стрит, а папа жил в двух кварталах отсюда, на Йо-стрит, прямо у того невероятного парка, куда я любил ходить, потому что там бегали и играли дети всех рас из разных стран. Папин дом был простым. Симпатичным, но ничего роскошного. Мне кажется, у папы было достаточно денег, чтобы комфортно жить и путешествовать, но он никогда не тратил много на приобретение вещей. Он был невероятно экономным. Парень того типа, что ездят на одном автомобиле двадцать лет.

Мы с папой жили по расписанию. Я посещал его каждое воскресенье. Хотя апартеид закончился, мама решила, что не хочет выходить замуж. Так что у нас был свой дом, а у него – свой. Я договорился с мамой, что если с утра я буду ходить с ней в «смешанную» церковь, а потом – в «белую» церковь, то после этого я могу не идти в «черную» церковь, а пойти к папе, где мы будет смотреть «Формулу-1», а не изгнание бесов.

Каждый год я праздновал с папой свой день рождения, мы также вместе проводили Рождество. Я любил Рождество с папой, потому что папа праздновал европейское Рождество. Европейское Рождество – лучшее Рождество. Папа прилагал все усилия. У него

были рождественская гирлянда и ель. У него был искусственный снег и снежки. И носки, висящие у камина, с множеством завернутых подарков от Санта-Клауса.

Африканское Рождество было намного более практичным. Мы шли в церковь, приходили домой, ели вкусную еду из хорошего мяса, заварной крем и желе. Но ели не было. Ты получал подарок, но обычно это была только одежда, новый комплект. Ты мог получить игрушку, но она не была завернута в бумагу и не была от Санта-Клауса.

Сам вопрос Санта-Клауса весьма спорный, если говорить об африканском Рождестве, он касается гордости. Когда африканский папа покупает ребенку подарок, меньше всего он хочет, чтобы это было заслугой какого-то седого толстяка. Африканский папа прямо скажет тебе: «Нет, нет, нет. Это купил тебе я».

Помимо дней рождения и особых случаев, все, что у нас было, – воскресенья. Он мне готовил. Он спрашивал меня, что я хочу, и я всегда заказывал одно и то же блюдо, немецкое блюдо под названием *Rösti*, которое, в общем-то, представляло собой картофельную оладью с каким-нибудь мясом с подливой. Я получал это и бутылку «Спрайта», а на десерт – пластиковый контейнер с заварным кремом, поверх которого была карамель.

Большая часть этих дней проходила в тишине. Папа мало разговаривал. Он был заботливым и преданным, внимательным к деталям, на день рождения меня всегда ждала открытка, когда я приходил, меня всегда ждала любимая еда и игрушки. Но в то же время он был закрытой книгой. Мы говорили о еде, которую он готовил, говорили о «Формуле-1», когда ее смотрели. Время от времени он выдавал маленькие порции информации о месте, которое посетил, или о своем стейкхаусе. Но на этом все. Времяпрепровождение с папой напоминало просмотр веб-сериала. Я несколько минут выслушивал информацию, по несколько минут за раз, потом должен был ждать неделю до следующей части.

Мне было тринадцать, когда папа переехал в Кейптаун и мы потеряли связь.

Впрочем, связь между нами ослабевала уже некоторое время, по нескольким причинам. Я был подростком. У меня был целый другой мир, с которым я теперь имел дело. Видеоигры и компьютеры значили для меня больше, чем общение с родителями. Кроме того, мама снова вышла замуж, и моего отчима раздражала мысль о том, что мама общается с предыдущей любовью, так что мама решила, что для всех будет

безопасней не злить его. Если раньше я встречался с отцом каждое воскресенье, то теперь – через воскресенье, а иногда и раз в месяц, когда маме удавалось тайно отвезти меня, как она делала когда-то в Хиллброу. Раньше мы жили при апартеиде, а теперь нам приходилось терпеть тиранию другого типа – со стороны жестокого пьющего мужчины.

В это же время Йовилл начал страдать из-за отъезда белых, заброшенности, общего упадка. Большинство папиных немецких друзей уехало в Кейптаун. Так как он меня не видел, у него не было причин оставаться, поэтому уехал и он. Его отъезд совсем не был травматичным, потому что никогда не говорилось о том, что мы можем потерять связь и никогда не увидать друг друга вновь. Про себя я думал только: *«Папа ненадолго переезжает в Кейптаун. Ну и ладно».*

Когда африканский папа покупает ребенку подарок, меньше всего он хочет, чтобы это было заслугой какого-то седого толстяка. Африканский папа прямо скажет тебе: «Нет, нет, нет. Это купил тебе я».

Итак, он уехал. Я был занят своей жизнью, переживал учебу в старшей школе, переживал свои двадцать с небольшим лет, становился комиком. Моя карьера быстро пошла в гору. Я подрабатывал диджеем на радио и вел детское приключенческое реалити-шоу. Мои афиши висели в клубах по всей стране. Но хотя моя жизнь двигалась вперед, где-то в подсознании все время были вопросы о моем отце.

Время от времени они прорывались на поверхность. «Интересно, где он. Думает ли он обо мне? Знает ли он, чем я занимаюсь? Гордится ли мной?» Когда родителя нет, ты остаешься в неведении, и так легко заполнить эту пустоту негативными мыслями. «Им все равно». «Они эгоистичны».

Единственным спасением было то, что мама никогда не говорила о нем плохого. Она всегда отзывалась о нем хорошо. «Ты умеешь обращаться с деньгами. Это у тебя от отца». «У тебя папина улыбка». «Ты чистюля и аккуратист, как твой отец». Я никогда не озлоблялся против него, потому что она заботилась о том, чтобы я знал, что его отсутствие вызвано обстоятельствами, а не отсутствием любви. Она всегда рассказывала мне историю о том, как вернулась домой из больницы, а папа сказал: «Где мой ребенок? Я хочу, чтобы в моей жизни был этот ребенок». Она говорила мне: «Никогда не забывай, что он выбрал тебя». И в конечном итоге спустя годы именно мама заставила меня искать отца.

Из-за того, что мой отец был невероятно замкнутым, найти

его было непростой задачей. У нас не было адреса. Его не было в телефонной книге. Я начал с того, что связался с его старыми знакомыми – немцами-экспатами в Йоханнесбурге, женщиной, которая когда-то встречалась с одним из его друзей, и женщиной, которая знала кого-то, кто знал последнее место его проживания. Я не добился успеха. Наконец, мама предложила обратиться в швейцарское посольство. «Они должны знать, где он, – сказала она, – потому что он должен поддерживать с ними связь».

Я написал письмо в швейцарское посольство, спрашивая их, где мой отец. Правда, так как мой отец не был вписан в свидетельство о рождении, у меня не было доказательств, что мой отец – это мой отец. Посольство ответило мне, что не может дать мне никакой информации, так как неизвестно, кто я такой. Я пытался позвонить им, но тоже получил от ворот поворот. «Послушай, парень, – сказали мне, – мы не можем тебе помочь. Мы *швейцарское* посольство. Ты ничего не знаешь о Швейцарии? Наш принцип – конфиденциальность. И мы его придерживаемся. Вот незадача». Я не отставал, и, наконец, мне сказали: «Ладно, мы возьмем твое письмо, и если описанный тобой человек существует, мы можем передать письмо ему. Если его не существует, то не сможем. Посмотрим, что будет».

Несколько месяцев спустя на почту пришло ответное письмо: «Рад тебя слышать. Как дела? С любовью, папа». Он дал мне свой адрес в Кейптауне, в районе под названием Кэмпс-Бэй. Несколько месяцев спустя я поехал к нему.

Никогда не забуду тот день. Это был, наверное, самый фантастический день в моей жизни: я собирался встретиться с человеком, которого я знал и одновременно совсем не знал. Мои воспоминания о нем казались недостижимыми. Я пытался вспомнить, как он говорил, как смеялся, как себя вел...

Я припарковался на его улице и пошел вниз по дороге, разыскивая дом. В Кэмпс-Бее было много пожилых белых людей, и когда я шел, все эти старые белые мужчины шли в мою сторону и мимо меня. К тому времени моему отцу было под семьдесят, и я очень боялся, что забыл, как он выглядит. Я смотрел в лицо каждого пожилого белого мужчины, проходившего мимо меня, думая: «*Ты не мой папа?*» По сути, это выглядело так, словно я маневрирую среди старых белых бездельников в приморском доме престарелых.

Наконец, я нашел адрес, который мне дали, и позвонил в колокольчик. И в ту же секунду, как он открыл дверь, я узнал его. «*Эй, это ты, – подумал я. – Конечно, это ты. Это ты, парень. Я знаю тебя.*»

Мы начали прямо с того, на чем расстались, он обращался со

мной, в точности как с тринадцатилетним мальчиком. Он был человеком привычки и перешел сразу к делу. «Хорошо! Итак, на чем мы остановились? Вот, я приготовил все твое любимое. Картофельный *Röstli*. Бутылка «Спрайта». Заварной крем с карамелью». К счастью, мои вкусы не очень-то изменились с тринадцати лет, так что я приступил к еде.

Пока я ел, он встал, вышел и вернулся с книгой, огромным фотоальбомом, который положил на стол. «Я следил за тобой», – сказал он и открыл альбом. Там было собрано все, что я когда-либо делал, каждая газетная статья, в которой упоминалось мое имя, все – от обложек журналов до крошечных клубных списков, с самого начала моей карьеры до этой недели. Он улыбался широкой улыбкой, показывая мне это, глядя на заголовки. «Тревор Ной появится в эту субботу в “Blues Room”». «Тревор Ной ведет новое телешоу».

Я почувствовал затопляющий меня прилив эмоций. Я изо всех сил старался не заплакать. Казалось, что этот десятилетний промежуток в моей жизни исчез в один момент, словно с того времени, как я последний раз видел его, прошел всего один день. За эти годы у меня накопилось столько вопросов. Думал ли он обо мне? Знал ли он, чем я занимаюсь? Гордился ли он мной? Но он был со мной все это время. Он всегда гордился мной. Обстоятельства разлучили нас, но он никогда не переставал быть моим отцом.

В тот день я вышел из дома, поднявшись в своих глазах. Я видел, что он подтвердил то, что выбрал меня. Он выбрал иметь меня в своей жизни. Он выбрал ответить на мое письмо. Я был желанным. Быть выбранным – величайший подарок, который вы можете подарить другому человеческому существу.

Как только мы воссоединились, мной овладело стремление компенсировать все те годы, которые мы потеряли. Я решил, что лучшим способом сделать это будет порасспрашивать его.

Он выбрал иметь меня в своей жизни.

Он выбрал ответить на мое письмо.

Я был желанным. Быть выбранным – величайший подарок, который вы можете подарить другому человеческому существу.

Очень быстро я понял, что это было ошибкой. Вопросы дают вам факты и информацию, но факты и информация на самом деле были вовсе не тем, что я хотел получить. Я хотел взаимоотношений, а вопросы – это не взаимоотношения. Взаимоотношения строятся в молчании. Ты проводишь время с людьми, ты наблюдаешь за ними и взаимодействуешь с ними, и

ты узнаешь их. И время – это именно то, что апартеид украл у нас. Ты не можешь компенсировать это вопросами, но мне надо было лично убедиться в этом.

Я собирался провести с отцом несколько дней и поставил перед собой цель: за эти выходные узнать своего отца. Как только я прибыл, я начал забрасывать его вопросами: «Откуда ты? Где ты ходил в школу? Почему ты это сделал? Как ты это сделал?» Было видно, что он начинает раздражаться.

– Что это? – спросил он. – Почему ты задаешь мне столько вопросов? Что здесь происходит?

– Я хочу тебя узнать.

– Ты именно так обычно узнаешь людей, допрашивая их?

– Ну... на самом деле нет.

– А как ты узнаешь людей?

– Не знаю. Предполагаю, проводя с ними время.

– Хорошо. Тогда проводи время со мной. Посмотрим, что ты узнаешь.

Так что мы провели вместе выходные. Мы обедали и разговаривали о политике. Мы смотрели «Формулу-1» и разговаривали о спорте. Мы молча сидели на заднем дворе и слушали старые записи Элвиса Пресли. За все время он не сказал о себе ни одного слова. Потом, когда я собирал вещи перед отъездом, он подошел ко мне и присел.

– Ну, – сказал он, – ты можешь сказать, что именно ты узнал о своем папе за то время, что мы провели вместе?

– Ничего. Все, что я знаю, – ты невероятно скрытный.

– Видишь? Ты уже начинаешь меня узнавать.

Часть II

КОГДА ГОЛЛАНДСКИЕ КОЛОНИСТЫ ВЫСАДИЛИСЬ НА ЮЖНОЙ ОКОНЕЧНОСТИ АФРИКИ ТРИ сотни лет назад, они встретили аборигенный народ, известный как койсаны. Койсаны – «индейцы» Южной Африки, племя бушменов, кочевых охотников-собирателей, отличное от более темных народов, говорящих на банту. Позже койсаны мигрировали на юг, где стали племенами зулусов, коса и сото современной ЮАР. Обустраиваясь в Кейптауне и на окружающей территории, белые колонисты заводили отношения с койсанскими женщинами. Так родились первые люди смешанной расы Южной Африки.

Вскоре для работы на ранчо и фермах, созданных колонистами, из различных уголков голландской империи – из Западной Африки, с Мадагаскара и даже из Малайзии – были ввезены рабы. Рабы и койсаны заключали между собой браки, а белые колонисты продолжали захватывать территорию и своевольничать. Со временем койсаны исчезли из Южной Африки. В то время как большинство было убито болезнями, голодом и войной, оставшаяся часть народа прекратила существование, смешавшись с потомками белых и рабов и образовав абсолютно новую человеческую расу: цветных.

Цветные – гибрид, полная смесь. Некоторые – светлые, а некоторые – темные. Одни обладают азиатскими чертами, другие – европейскими чертами, третьи – африканскими. Нет ничего необычного, если у цветного мужчины и цветной женщины рождается ребенок, абсолютно не похожий ни на одного из родителей.

Цветные люди не имели за собой никакого наследия. Если они и могли проследить свою родословную достаточно далеко, в определенной точке она распадалась на белую и аборигенную и – запутанную сеть «других». Так как их аборигенные матери исчезли, они всегда испытывали сильнейшую привязанность к своим белым отцам, африканерам. Большинство цветных не говорит на исконно африканских языках, они говорят на аффрикаанс. Их религия, их институты власти, все, что определяет их культуру, заимствовано у африканеров.

В связи с этим история цветных людей в ЮАР хуже, чем история черных людей в ЮАР. Несмотря на все свои страдания, черные знали, кто они такие. Цветные не знали.

Глава 9

Тутовое дерево

В конце нашей улицы в Иден-Парке, прямо на повороте в верхней части дороги, стояло огромное тутовое дерево, растущее у кого-то в палисаднике. Каждый год оно плодоносило, и дети со всего района приходили и рвали ягоды, съедали, сколько смогут, и набивали сумки, чтобы взять их домой. Они также все вместе играли под деревом. Мне приходилось играть под деревом одному. В Иден-Парке у меня не было ни одного друга.

Где бы я ни жил, я был аномалией. В Хиллброу мы жили в белом районе, где никто не выглядел так, как я. В Соуэто мы жили в черном районе, где никто не выглядел так, как я. Иден-Парк был цветным районом. В Иден-Парке *все* выглядели так, как я, но мы не могли бы быть более разными. Это была такая закавыка – крупнейшая из всех, с какими я сталкивался.

Неприязнь и недовольство, которые я чувствовал со стороны цветных, были одной из сложнейших проблем, с которыми мне приходилось иметь дело. Это научило меня тому, что легче быть своим среди чужих, чем чужим среди своих.

Если белый парень решит погрузиться в культуру хип-хопа и будет проводить время только с черными, черные скажут: «Круто, белый парень. Делай, что тебе надо». Если черный парень решит плюнуть на свою черноту, жить среди белых и играть в гольф, белые скажут: «Прекрасно. Мне нравится Брайан. Он надежный».

Но попытайтесь быть черным, который погрузился в белую культуру, но продолжает жить в черной общине. Попробуйте быть белым, который принял атрибуты черной культуры, но продолжает жить в белой общине. Вы столкнетесь с ненавистью, насмешками и гонениями, превосходящими все, что только можно себе представить. Люди готовы принять вас, если видят в вас чужака, пытающегося ассимилироваться в их мире. Но если они видят в вас члена своего племени, пытающегося отречься от племени, это будет тем, чего они никогда не простят. Это и случилось со мной в Иден-Парке.

Когда пришел апартеид, цветных людей было не так просто отнести к той или иной категории, поэтому система использовала их (очень умело) для того, чтобы сеять замешательство, ненависть и недоверие. Цветные стали почти белыми. Они были гражданами второго сорта, лишёнными прав белых, но получившими особые привилегии, которых не было у черных, что заставляло их

требовать большего. Африканеры называли их *amperbaas* – «почти босс». Почти хозяин. «Ты *почти* там. Ты *очень* близко. Ты *невероятно* близок к тому, чтобы быть белым. Как жаль, что твой дед не мог не тянуть руки к шоколаду, да? Но то, что ты цветной, – не твоя вина, так что не оставляй попыток. Если ты будешь усердно работать, ты сможешь убрать этот оттенок из своей родословной. Вступай в брак с более светлыми и белыми, не трогай шоколад, и, может быть, *может быть*, однажды, если тебе повезет, ты сможешь стать белым».

Во время апартеида ежегодно некоторые цветные люди «повышались» до белых.

Это кажется смешным, но это случалось. Во время апартеида ежегодно некоторые цветные люди «повышались» до белых. Это было не мифом, это было реальностью. Люди могли подать прошения в правительство. Ваши волосы могли стать достаточно прямыми, ваша кожа могла стать достаточно светлой, ваш акцент мог стать достаточно незаметным – и вы классифицировались как белый. Все, что надо было сделать, – отказаться от своего народа, отказаться от своей истории и бросить своих друзей и семью с более темной кожей.

Официальное определение белого человека во время апартеида было следующим: «Тот, который внешне очевидно является белым человеком, кого в целом нельзя принять за цветного человека; или тот, кого в целом можно принять за белого человека и кто внешне не является очевидно белым человеком». Другими словами, это было абсолютно субъективно. И именно тогда на помощь приходило правительство с такими штучками, как карандашный тест.

Если вы подавали прошение о том, чтобы быть белым, в ваши волосы клали карандаш. Если карандаш падал, вы были белым. Если карандаш застревал, вы были цветным.

Вы являлись тем, кем вас назвало правительство. Иногда это ограничивалось единственным чиновником, разглядывавшим ваше лицо и быстро принимавшим решение. В зависимости от того, насколько высокие у вас скулы или насколько широкий нос, он мог поставить галочку в той графе, которая казалась ему разумной, таким образом решая, где вы можете жить, с кем можете вступать в брак, какие у вас будут работа, права и привилегии.

И цветные люди не только «повышались» до белых. Иногда цветные становились индийцами. Иногда индийцы становились цветными. Иногда черные «повышались» до цветных, а иногда цветные «понижались» до черных. И конечно же, белые тоже

могли «понизиться» до цветных. Это было главным. Эти смешанные родословные всегда таились, выжидая момент, чтобы проявиться. И страх потерять свой статус держал белых в узде.

Если у двух белых родителей появлялся ребенок, а правительство решало, что этот ребенок слишком темный, то даже если оба родителя представляли документы, подтверждающие, что они – белые, ребенок мог классифицироваться как цветной. Тогда семья была вынуждена принимать решение. Должны ли они отказаться от своего статуса белых и жить как цветные в цветном районе? Или они должны разойтись, и мать с цветным ребенком отправится жить в гетто, а отец останется белым и будет зарабатывать на их содержание?

Многие цветные жили в этом состоянии неопределенности, настоящем чистилище, всегда тоскуя по белым отцам, которые отвергли их. В результате они могли быть ужасными расистами по отношению друг к другу. Самым распространенным оскорблением у цветных было *boesman*. Бушмен. «Буши». Оно кричало об их черноте, их примитивности. Вернейшим способом оскорбить цветного человека было упомянуть, что он в каком-то смысле черный. Одна из самых пагубных вещей апартеида заключалась в том, что он учил цветных, что черные – это то, что тянет их назад. Апартеид говорил, что единственной причиной того, что цветные не обладают статусом первого класса, являлось то, что черные могут использовать оттенок кожи, чтобы просочиться мимо ворот и завладеть преимуществами белизны.

Вот что делал апартеид: он убеждал каждую группу, что она не может быть принятой в клуб исключительно из-за другой расы. По существу, в дверях стоял вышибала и говорил тебе: «Мы не можем вас впустить из-за вашего друга Даррена и его ужасных ботинок». Так что вы смотрели на Даррена и говорили: «Пошел вон, черный Даррен. Ты тянешь меня назад». Потом, когда Даррен «поднимался», вышибала говорил: «Нет, препятствие на самом деле – это твой друг Сизве и его спутанные волосы». Так что Даррен говорил: «Пошел вон, Сизве». И теперь каждый ненавидел другого. Но правда заключалась в том, что ни одного из вас все равно никогда не пустили бы в клуб.

Цветным приходилось нелегко. Представьте: вам промывали мозги, чтобы вы поверили, что ваша кровь испорчена. Вы тратили все свое время на ассимиляцию и стремление к белизне. Потом, только вы подумали, что приближаетесь к финишной черте, какой-то чертов парень по имени Нельсон Мандела подходит и дает стране подзатыльник. Теперь финишная черта находится позади, там, где была стартовая, а эталоном является черный. Черный – главный. Черный красивый. Черный влиятельный.

Веками цветным говорили: черные – обезьяны. Не прыгайте по деревьям, как они. Научитесь ходить прямо, как белый человек. И вдруг, неожиданно, это оказывается «Планетой обезьян», и обезьяны получают преимущество.

Западно-Капская провинция – регион, окружающий расположенный на побережье Кейптаун, – обладает самой большой популяцией цветных в ЮАР. В 1994 году, когда наступила демократия и черные, цветные и индийцы получили право голоса, Западно-Капская провинция была единственным регионом, где число голосов за Национальную партию превысило число отданных Нельсону Манделе и Африканскому национальному конгрессу. Цветные проголосовали за то, чтобы создатели апартеида остались у власти.

Так что можно себе представить, насколько странным это было для меня. Я был мулатом, но не цветным – цветным по цвету лица, но не по культуре. Я выглядел цветным, но мое самосознание не было связано с ними ни генетически, ни как-либо по-другому. Из-за этого на меня смотрели как на цветного, который не хотел быть цветным.

В Иден-Парке я встречал цветных двух типов. Некоторые цветные ненавидели меня из-за моей черноты. Мои волосы были вьющимися, и я гордился своей прической. Я знал африканские языки и любил говорить на них. Цветные слышали, как я говорил на коса или зулу, и говорили: «*Wat is jy? 'n Boesman?*» («Ты что, бушмен?»). Почему ты пытаешься быть черным? Почему ты говоришь на этом прищелкивающем языке? Посмотри на свою светлую кожу. Ты почти здесь, и ты отказываешься от этого.

Все, что надо было сделать, – отказаться от своего народа, отказаться от своей истории и бросить своих друзей и семью с более темной кожей.

Другие цветные ненавидели меня из-за моей белизны. Хотя я считал себя черным, у меня был белый отец. Я ходил в английскую частную школу. Я научился общаться с белыми людьми в церкви. Я мог идеально говорить на английском и редко говорил на африкаанс, языке, на котором вроде бы говорили цветные. Поэтому цветные думали, что я считаю себя лучше них. Они высмеивали мой акцент, будто бы я их передразнивал. «*Dink jy, jy is grênd?*» («Ты думаешь, ты первоклассный») – чванный, как сказали бы люди в Америке.

Даже когда я думал, что нравлюсь, это было не так. В какой-то год я получил абсолютно новый велосипед во время летних каникул. Мы с моим кузенком Млунгиси нарезали круги по

кварталу. Я ехал по нашей улице, когда на дорогу выскочила симпатичная цветная девочка и остановила меня. Она улыбнулась и дружелюбно помахала мне.

– Привет, – сказала она, – можно покататься на твоём велосипеде?

Я был совершенно шокирован. *Ого, у меня появился друг.* Так я подумал.

– Да, конечно, – ответил я.

Я слез с велосипеда, она села на него и проехала метров десять. На улицу выбежал какой-то другой ребенок, она остановилась и слезла, а он вскочил на велосипед и уехал. Я был так счастлив, что девочка говорила со мной, что не совсем понял, что они украли мой велосипед. Я побежал домой, улыбаясь и подпрыгивая. Кузен спросил, где мой велосипед. Я сказал.

– Тревор, тебя обокрали, – сказал он. – Почему ты не погнался за ними?

– Я думал, что они хорошие. Я думал, что у меня появился друг.

Млунгиси был старше, он был моим защитником. Он побежал, нашел этих детей и через полчаса вернулся с моим велосипедом.

Случалось много подобных вещей. Меня все время травили. Самым худшим был, наверное, случай у тутового дерева.

Однажды далеко за полдень я играл, как всегда, один, бегая по району. На улице была группа из пяти или шести цветных мальчиков, которые собирали ягоды с тутового дерева и ели их. Я подбежал и начал срывать ягоды, чтобы взять их домой. Мальчики были на несколько лет старше меня, им было лет двенадцать-тринадцать. Они не разговаривали со мной, я не разговаривал с ними. Друг с другом они говорили на африкаанс, и я не понимал, о чем они говорят.

Потом один из них, парень, который был заводилой в группе, подошел ко мне. *«Mag ek jou moerbeie sien?»* («Можно посмотреть на твои ягоды?»). Моей первой мыслью снова было: *«О, классно. У меня появился друг»*. Я протянул руку и показал ему ягоды. Он выбил их у меня из руки и втоптал в землю. Другие мальчики начали смеяться. Мгновение я стоял и смотрел на него. К тому моменту у меня начала отрастать толстая кожа. Я привык, что меня травят. Я пожал плечами и вновь стал собирать ягоды.

Этот парень, очевидно не увидев ту реакцию, которую ожидал, начал кричать на меня. *«Fok weg, jou onnosele Boesman!»* («Проваливай отсюда! Вали, тупой буши! Бушмен!»). Я не обращал на него внимания и продолжал заниматься делом. Затем я почувствовал шлепок по затылку. Он кинул в меня ягоду. Это

было не больно, но пугающе. Я повернулся, чтобы посмотреть на него, и – *шлеп!* – он кинул ягоду опять, прямо в лицо.

Затем, через долю секунды, еще до того, как я успел среагировать, все дети начали забрасывать меня ягодами, выбивая из меня дурь. Некоторые ягоды были неспелыми, и они били, как камни. Я пытался прикрыть лицо руками, но на меня наступали со всех сторон. Они смеялись, бросались в меня и обзывали. «Буши! Бушмен!» Я был напуган. Просто от неожиданности я не знал, что делать. Я начал плакать и побежал. Я бежал изо всех сил, весь путь до дома.

Когда я вбежал в дом, казалось, что я был избит до синяков, потому что глаза были зарезанными, и я был покрыт красно-фиолетовым ягодным соком. Мама в ужасе посмотрела на меня.

– Что случилось?

Всхлипывая, я рассказал ей эту историю. «Эти дети... тутовое дерево... они бросали в меня ягоды...» Когда я закончил, она рассмеялась.

– Это не смешно! – сказал я.

– Нет-нет, Тревор, – ответила она, – я смеюсь не потому, что это смешно. Я смеюсь от облегчения. Я думала, что тебя избили. Я думала, что это кровь. Теперь я понимаю, что это всего лишь ягодный сок.

Мама все считала смешным. Для нее не было ничего слишком мрачного или слишком болезненного, чтобы не относиться к этому с юмором.

– Посмотри на светлую сторону, – сказала она, смеясь и показывая на мою половину, покрытую темным ягодным соком. – Теперь ты и вправду наполовину черный, а наполовину белый.

– *Это не смешно!*

– Тревор, с тобой все в порядке, – ответила она. – Иди и вымойся. Ты не ранен. Ты ранен эмоционально. Но ты цел.

Полчаса спустя появился Абель. В то время Абель был все еще маминым бойфрендом. На самом деле он не пытался быть мне отцом или даже отчимом. Он скорее был старшим братом. Он шутил со мной, веселился. Одно я знал точно – он был вспыльчивым. Он был обаятельным, когда хотел таким казаться, невероятно веселым, но сдержанным его назвать было нельзя. Он вырос в хоумлендах, где для того, чтобы выжить, надо сражаться. Кроме того, Абель был высоким, около метра девяносто, длинным и худым.

Тогда он еще не бил маму. Тогда он еще не бил и меня. Но я знал, что он опасен. Кто-то подрезал нас в дорожной пробке. Абель крикнул что-то в окно, другой парень посигналил и крикнул что-то в ответ. Абель в мгновение ока выскочил из

автомобиля, подскочил к нему, схватил парня через окно водительского сиденья и закричал ему в лицо, поднимая кулак. Парень запаниковал. «Эй, эй, эй. Извините, извините».

В тот вечер Абель пришел, сел на диван и увидел, что я плакал.

– Что случилось? – спросил он.

Я начал объяснять. Мама прервала меня. «Не рассказывай ему», – сказала она. Потому что она знала, что произойдет. Знала это лучше меня.

– Не рассказывать мне что? – спросил Абель.

– Ничего, – сказала она.

– Ничего, – сказал я.

Она посмотрела на меня.

– Не говори ему.

Абель начал раздражаться.

– Что? Не говорить мне что?

Он был пьян; он никогда не приходил домой с работы трезвым, а алкоголь делал его характер еще хуже. Странно, но в тот момент я понимал, что если скажу правду, то дам ему возможность вмешаться и что-то сделать. Мы были почти семьей, и я знал, что, если я заставлю его почувствовать, что его семью обидели, он поможет мне отомстить мальчикам. Я знал, что внутри него обитает бес, и я ненавидел это. Меня пугало то, каким жестоким и опасным он становился, когда напивался. Но в тот момент я точно знал, что я должен сказать, чтобы чудовище было на моей стороне.

Я рассказал ему историю, то, как меня обзывали, то, как на меня напали. Мама продолжала это высмеивать, говоря, чтобы я забыл об этом, что дети есть дети, ничего такого. Она старалась сгладить ситуацию, но я не мог этого понять. Я просто злился на нее.

– Ты думаешь, что это шутка, но это не смешно! Это не смешно!

Абель не смеялся. Когда я рассказывал ему, что делали обидчики, то мог видеть, как внутри него закипает гнев. Гнев Абеля – это не ругань и не сжатые кулаки. Он сидел на диване, слушая меня, не говоря ни слова. Потом он встал, очень спокойно и неспешно.

Меня пугало то, каким жестоким и опасным он становился, когда напивался.

Но в тот момент я точно знал, что я должен сказать, чтобы чудовище было на моей стороне.

– Отведи меня к этим мальчикам, – сказал он.

«Да, – подумал я, – вот оно. Большой брат собирается за меня отомстить».

Мы сели в его автомобиль и поехали по дороге, остановившись за несколько домов от дерева. Уже было темно, не считая света фонарей, но мы могли видеть, что мальчики до сих пор были там, играя под деревом. Я показал на заводилу.

– Этот. Он был главным.

Абель надавил на газ, пронесся по траве и остановился прямо под деревом. Он выпрыгнул из автомобиля. Я тоже выпрыгнул. Как только дети увидели меня, они точно поняли, что происходит. Они вскочили и бросились врассыпную.

Абель был быстр. Боже, как он был быстр! Заводила сделал рывок и попытался перелезть через стену. Абель схватил его, стащил вниз и потянул назад. Потом он сорвал с дерева ветку, прут, и начал лупить его. Он выбивал из него дурь, и мне это нравилось. Я никогда ничем не наслаждался так, как этим моментом. Месть действительно сладка. Она уводит тебя в темноту, но, боже! – она утоляет жажду.

Потом наступил самый странный момент, когда во мне что-то щелкнуло. Я заметил выражение ужаса на лице мальчика и понял, что Абель не просто мстил за меня. Он делал это не для того, чтобы преподать парню урок. Он просто бил его. Он был взрослым мужчиной, срывавшим свою ярость на двенадцатилетнем мальчике. В один момент я перешел от *«Да, за меня отомстили»* к *«Нет, нет, нет. Это слишком. Это слишком. О, черт. О, черт. О, черт. Господи, что я наделал?»*

Когда мальчик был как следует потрепан, Абель подтащил его к автомобилю и держал его передо мной. «Извинись». Мальчик хныкал, дрожал. Он посмотрел мне в глаза, и я никогда ни у кого не видел в глазах такого страха, как у него. Он был избит незнакомцем так, как его, думаю, никогда еще не били. Он извинился, но это прозвучало так, словно он просил прощения не у меня. Словно он просил прощения за все плохое, сделанное им в жизни, потому что не знал, что бывает такое наказание, как это.

Одна из самых пагубных вещей апартеида заключалась в том, что он учил цветных, что черные – это то, что тянет их назад.

Вот что делал апартеид: он убеждал каждую группу, что она не может быть принятой в клуб исключительно из-за другой расы.

Глядя в глаза этого мальчика, я осознал, как много у нас общего. Он был ребенком. Я был ребенком. Он плакал. Я плакал. Он был цветным ребенком в ЮАР, которого научили, как

ненавидеть других и как ненавидеть самого себя. Кто издевался над ним так, что ему понадобилось издеваться надо мной? Он заставил меня почувствовать страх, и, осуществив месть, я выпустил в его мир свой собственный ад. Но я знал, что поступил ужасно.

Когда мальчик извинился, Абель отбросил его в сторону и пнул. «Иди». Мальчик убежал, а мы в молчании поехали домой. Дома Абель и мама сильно поссорились. Она всегда сердилась на него за его нрав.

– Ты не должен разгуливать и бить чужих детей! Ты не закон! Эта злость... так нельзя жить!

Пару часов спустя папа этого мальчика подъехал к нашему дому, чтобы выяснить отношения с Абелем. Абель вышел к воротам, а я наблюдал из дома. К этому моменту Абель был по-настоящему пьян. Папа мальчика не представлял, во что ввязывается. Он был довольно спокойный цветной парень среднего возраста. Я плохо его помню, потому что все время смотрел на Абеля. Я не отрывал от него глаз. Я знал, что в нем заключена опасность.

У Абеля еще не было пистолета, он купил его позже. Но он в нем не нуждался, чтобы нагнать на тебя страх. Я видел, как он стоял с парнем лицом к лицу. Я не слышал, что говорил тот, но я слышал Абеля. «Не ссорься со мной. Я тебя убью». Парень быстро развернулся, сел в автомобиль и уехал. Он думал, что приехал, чтобы защитить честь своей семьи. Он был рад спасти свою жизнь.

КОГДА Я РОС, МАМА ПОТРАТИЛА МНОГО ВРЕМЕНИ, ПЫТАЯСЬ НАУЧИТЬ МЕНЯ общаться с женщинами. Она давала мне уроки, разговаривала со мной, советовала. Это никогда не было большими, долгими лекциями о взаимоотношениях. Это скорее были кусочки информации между делом. И я никогда не понимал зачем, потому что был ребенком. Единственными женщинами в моей жизни были мама, бабушка, тетя и кузина. У меня никоим образом не было пассив, хотя мама настаивала. Она выдавала целый ряд аргументов.

«Тревор, помни, что мужчина определяется не тем, сколько он зарабатывает. Ты можешь быть хозяином в доме и зарабатывать меньше своей женщины. Являешься ли ты мужчиной, зависит не от того, что у тебя есть, а от того, кто ты. Быть мужчиной не означает, что твоя женщина должна значить меньше, чем ты».

«Тревор, убедись, что твоя женщина – женщина твоей жизни. Не будь одним из тех мужчин, которые заставляют свою жену конкурировать со своей матерью. Женатый мужчина не должен подчиняться матери».

Подтолкнуть ее могла малейшая вещь. Я шел по дому и по пути в свою комнату сказал: «Привет, мам!», не подняв голову. Она говорила: «Нет, Тревор! Посмотри на меня. Заметь меня. Покажи мне, что я для тебя существую, потому что то, как ты относишься ко мне, будет тем, как ты будешь относиться к своей женщине. Женщинам нравится, когда их любят. Женщинам нравится, когда их замечают. Женщинам нравится, когда ими восхищаются. Подойди и заметь меня, покажи, что ты меня видишь. Обращай на меня внимание не только тогда, когда тебе что-то надо. Иначе ты превратишься в одного из тех мужчин, которые обращают внимание на женщину, только когда им нужен от нее секс и больше ничего».

Эти маленькие уроки всегда были об отношениях взрослых, что было довольно забавно. Она была так поглощена тем, что учила меня, как быть мужчиной, что никогда не учила меня, как быть мальчиком. Как разговаривать с девочкой или передать девочке записку в классе – ничего этого не было. Она разговаривала со мной только о взрослых вещах. Она даже читала мне лекции о сексе. Так как мне было восемь или девять лет, это могло быть очень нелепым.

«Тревор, не забывай: ты занимаешься сексом с женщиной в ее воображении до того, как ты занимаешься с ней сексом в ее вагине».

«Тревор, предварительные ласки начинаются днем. Они не начинаются в спальне».

Я думал что-то вроде: «Что? Что такое предварительные ласки? Что это значит?»

Глава 10

Длительное, трудное, временами трагическое и часто унижительное образование юноши в сердечных делах

Часть 1-я: День святого Валентина

образование юноши в сердечных делах

Это был мой первый год в «Эйч-Эй-Джеке», средней школе, куда я перешел из «Мэривейла». Быстро приближался День святого Валентина. Мне было двенадцать, и до этого я никогда не готовился ко Дню святого Валентина. Мы не праздновали его в католической школе. Я понимал День святого Валентина как концепцию. Голый малыш пронзает тебя стрелой, и ты влюбляешься. Это я понимал. Но я впервые познакомился с ним как с видом деятельности. В «Эйч-Эй-Джеке» День святого Валентина использовался для сбора средств. Школьники продавали цветы и открытки, и мне пришлось спросить подругу, что происходит.

– Что это? – спросил я. – Что мы делаем?

– О! Ты знаешь, – ответила она, – это День святого Валентина. Ты выбираешь особого человека и говоришь ему, что ты его любишь, а он в ответ любит тебя.

«Ого, – подумал я, – это кажется интересным». Но меня еще не пронзила стрела Купидона, и я не знал ни о ком, кто был бы влюблен в меня. У меня не было ни малейшего представления о том, что происходит. Всю неделю девочки в школе повторяли: «Кто твоя возлюбленная? Кто твоя возлюбленная?» Я не знал, что от меня ожидалось. Наконец, одна из девочек, белая девочка, сказала: «Ты должен попросить Мэйлин». Другие дети согласились: «Да, Мэйлин. Определенно, тебе стоит попросить Мэйлин. Ты должен попросить Мэйлин. Вы идеально подходите друг другу».

Мэйлин была девочкой, с которой я ходил домой из школы. Теперь мы жили в городе, мама с Абелем, который теперь был моим отчимом, и мой маленький брат Эндрю. Мы продали свой дом в Иден-Парке, чтобы вложить деньги в новый автосервис Абеля. Потом он прогорел, и дело закончилось переездом в район под названием Хайлендс-Норт, в тридцати минутах пешком от

«Эйч-Эй-Джека». Мы выходили из школы каждый день группой, по пути каждый ребенок отделялся и шел своей дорогой, а к тому времени, когда мы доходили до нашего дома, мы с Мэйлин оставались только вдвоем – мы жили дальше всех от школы. Шли вместе, пока не доходили до места, где уже расходились.

Мэйлин была классной. Она хорошо играла в теннис, была умной и симпатичной. Мне она нравилась. Я не был в нее влюблен, тогда я еще даже не думал о девочках в этом смысле. Мне просто нравилось проводить с ней время. А еще Мэйлин была единственной цветной девочкой в школе. Я был единственным мальчиком-мулатом в школе. Так что в нашей школе мы были единственными двумя людьми, похожими друг на друга.

Белые девочки настаивали, чтобы я попросил Мэйлин быть моей возлюбленной. Они говорили: «Тревор, ты *должен* попросить ее. Вас *только двое*. Это твоя *обязанность*». Словно наш вид вымер бы, если бы мы не стали парой. Один из уроков жизни – белые люди что-то делают, даже не осознавая этого. «Вы двое выглядите похоже, поэтому мы должны организовать вам секс».

Я честно не думал о том, чтобы попросить Мэйлин, но когда девочки предложили это мне, произошла та вещь, когда кто-то сажает идею тебе в голову, и та меняет твоё восприятие.

– Мэйлин точно питает к тебе слабость.

– *Правда?*

– Да, вы отлично смотрите вместе!

– *Правда?*

– Абсолютно.

– Ну, ладно. Если вы так говорите.

Предполагаю, Мэйлин мне нравилась не больше остальных. Больше всего, как я думаю, мне нравилась мысль о том, что я кому-то нравлюсь. Я решил, что попрошу ее быть моей возлюбленной, но у меня не было ни малейшего представления о том, как это сделать. Я не знал первейших вещей о том, что значит иметь подружку. Я узнал обо всей любовной волоките в школе.

Один из уроков жизни – белые люди что-то делают, даже не осознавая этого.

«Вы двое выглядите похоже, поэтому мы должны организовать вам секс».

Это было то, о чем на самом деле не говорили с человеком прямо. У тебя была группа друзей, у нее была группа подруг, и твоя группа друзей должна была подойти к ее группе подруг и

сказать: «Ну, Тревору нравится Мэйлин. Он хочет, чтобы она стала его возлюбленной. Мы просим за него. Мы ждем вашего решения». Ее подруги говорят: «Ладно. Звучит неплохо. Мы сбегает к Мэйлин». Они идут к Мэйлин. Совещаются. Говорят ей, что они думают об этом. «Тревор говорит, что ты ему нравишься. Мы за него. Мы думаем, вы будете хорошей парой. Что скажешь?». Мэйлин говорит: «Мне нравится Тревор». Они говорят: «Отлично. Пошли». Возвращаются к нам. «Мэйлин говорит, что согласна, и она ждет от Тревора предложения на День святого Валентина».

Девочки объяснили мне, что весь этот процесс необходим. Я сказал: «Классно. Давайте». Друзья все уладили, Мэйлин согласилась, у меня вопросов больше не было.

За неделю до Дня святого Валентина мы с Мэйлин вместе шли домой, и я пытался набраться смелости и сделать ей предложение. Я очень нервничал. Я никогда не делал ничего подобного. Я уже знал ответ, ее подруги сказали, что она ответит «да». Это словно быть в Конгрессе. Ты знаешь, что у тебя есть голоса, перед тем, как идти выступать, но это все равно трудно, так как может случиться, что угодно. Я не знал, как это сделать. Все, что я знал, – это то, что я хочу быть безупречным, так что я дождался, пока мы не остановились перед «Макдоналдсом». Я собрал всю свою храбрость и повернулся к ней.

– Эй, скоро День святого Валентина, и я хотел бы знать, ты будешь моей возлюбленной?

– Да. Я буду твоей возлюбленной.

А потом мы поцеловались под золотыми арками.

Я впервые целовал девочку. Я ее просто чмокнул, наши губы соприкоснулись всего на несколько секунд, но это вызвало взрыв в моей голове. *Да! О, да. Это. Я не знаю, что это, но мне нравится.* Во мне что-то проснулось. И это было прямо у «Макдоналдса», так что в этом было что-то исключительное.

Я чувствовал себя так, словно кто-то взял ружье и прострелил каждую часть моего тела.

Теперь я испытал настоящий восторг. У меня была подружка. Я целую неделю думал о Мэйлин, желая сделать для нее День святого Валентина чем-то особенным. Я приберег карманные деньги и купил ей цветы, плюшевого мишку и открытку. На открытке я написал стихотворение с ее именем, что на самом деле было трудно, потому что не так много хороших слов рифмуются с Мэйлин (машин? корзины? сардин?).

Потом великий день наступил. Я достал валентинку, цветы и плюшевого мишку и приготовил для того, чтобы взять в школу. Я был счастливейшим мальчиком на земле.

Учителя отвели время перед большой переменной, чтобы все могли обменяться валентинками. За нашей классной комнатой был коридор, и я знал, что Мэйлин должна была быть там, там я ее и ждал. Вокруг меня цвела любовь. Мальчики и девочки обменивались открытками и подарками, смеялись, хихикали и чмокали друг друга. Я ждал и ждал.

Наконец, Мэйлин появилась и подошла ко мне. Я готов был сказать: «С Днем святого Валентина!», но она остановила меня и произнесла: «О, привет, Тревор! Эм-м-м, послушай, я больше не могу быть твоей подружкой. Лоренцо попросил меня быть его подружкой, а у меня не может быть двух возлюбленных, так что теперь я его подружка, а не твоя».

Она сказала это настолько прозаично, что у меня не было мыслей, как реагировать. У меня впервые была подружка, так что сначала я подумал: *«Угу, может быть, пусть все идет, как идет»*.

– А, ну ладно, – сказал я. – Ладно, эм-м-м... с Днем святого Валентина.

Я протянул ей открытку, цветы и плюшевого мишку. Она взяла их, поблагодарила и ушла.

Я чувствовал себя так, словно кто-то взял ружье и прострелил каждую часть моего тела. Но в то же время какая-то часть меня сказала: «Так, это вполне логично».

У Лоренцо было все, чего не было у меня. Он был популярен. Он был белым. Он нарушил баланс всего, сделав предложение единственной цветной девочке в школе. Он нравился девочкам, и он был туп, как валенок. Красивый парень, но «плохой мальчик». Девочки делали за него уроки – такого типа парнем он был. Кроме того, он был действительно красивым. Казалось, что, когда он создавал свой характер, он променял весь интеллект на красоту.

У меня не было шансов. Как бы я ни был огорчен, я понимал, почему Мэйлин сделала такой выбор. На ее месте я бы тоже выбрал Лоренцо. Все другие дети бегали вокруг, неслись по коридорам и выбегали на игровую площадку, смеясь и улыбаясь, с красными и розовыми валентинками и цветами в руках, а я вернулся в класс и сидел там один, ожидая, пока прозвенит звонок.

БЕНЗИН ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ, КАК И ЕДА, ОТНОСИЛСЯ К РАСХОДАМ, которых мы не могли избежать. Но мама могла проехать больше миль на баке бензина, чем любой другой человек, выезжавший на дорогу за всю историю автотранспорта. Она знала каждую хитрость.

Когда мы ехали по Йоханнесбургу на нашем ржавом старом оранжевом «Фольксвагене», каждый раз, как мы останавливались на светофоре, она глушила двигатель. Потом, когда светофор переключался, она снова включала зажигание. Та технология пуска-остановки, которая применяется теперь в гибридных автомобилях? Это была моя мама.

Она была гибридным автомобилем еще до того, как гибридные автомобили появились. Она была мастером езды накатом. Она знала каждый идущий вниз склон между работой и школой, школой и домом. Она точно знала, где уклон позволяет переключиться на нейтральную передачу. Она умела просчитывать светофоры так, что мы могли проезжать перекрестки, не тормозя и не снижая скорости.

Были времена, когда мы находились посреди дороги, и у нас было так мало денег на бензин, что мне приходилось толкать автомобиль. Если мы застревали в пробке, мама глушила двигатель, а моим делом было выйти и толкать его сантиметров на пятнадцать каждый раз. Люди останавливались и предлагали помощь.

- Вы заглохли?
- Нет. Все в порядке.
- Точно?
- Да.
- Мы можем вам помочь?
- Нет.
- Вам нужен буксир?

И что надо было говорить? Правду? «Спасибо, но мы просто настолько бедны, что мама заставляет сына-подростка толкать автомобиль»?

Это было одной из самых постыдных вещей в моей жизни, толкать автомобиль до школы, как чертовы Флинстоуны. Потому что другие дети шли в школу по той же дороге. Я снимал пиджак, чтобы никто не мог догадаться, в какую школу я иду, опускал голову и толкал автомобиль, надеясь, что меня никто не узнает.

Глава 11

Аутсайдер

Закончив «Эйч-Эй-Джек», я пошел в восьмой класс в старшую школу «Сэндрингхэм». Даже после апартеида большинство черных до сих пор жило в тауншипах и хоумлендах, где доступны были только средние школы, жалкие остатки системы банту. Состоятельные белые дети (а также немногочисленные черные, индийцы и цветные, у кого были деньги или кто мог получить стипендию) обучались в частных школах, очень дорогих, но практически гарантировавших поступление в университет.

«Сэндрингхэм» был кооперативной школой, что означало сочетание государственной и частной школы, что-то вроде чартерных школ в Америке. Она была огромной, тысяча детей в большом кампусе с теннисными кортами, спортивными площадками и бассейном.

«Сэндрингхэм», будучи кооперативной, а не районной школой, принимал детей отовсюду. Это делало его (в миниатюре) почти идеальной единой Южно-Африканской Республикой после апартеида – прекрасным примером того, какой может стать ЮАР. Там были богатые белые дети, немало белых детей среднего класса, несколько белых детей рабочих. Там были черные дети из недавно разбогатевших семей, черные дети среднего класса и черные дети из тауншипов. Там были цветные дети и индийские дети, даже несколько китайских детей. Ученики были настолько интегрированы, насколько это было возможно, учитывая, что апартеид только что закончился. В «Эйч-Эй-Джеке» раса разбивала на квадраты. «Сэндрингхэм» был больше похож на круг.

В школах ЮАР нет столовых. В «Сэндрингхэме» мы покупали ланч в школьном буфете (как мы его называли – маленьком кафетерии), а потом могли идти в любое место на территории кампуса, чтобы поесть: в школьный двор, внутренний двор, на игровую площадку, куда угодно.

Дети расходились и собирались своими компаниями и группами. В большинстве случаев люди все еще сбивались в компании по цвету, но можно было видеть, как эти группы смешивались и переходили одна в другую. Дети, игравшие в футбол, были в основном черными. Дети, игравшие в теннис, были в основном белыми. Китайские дети обычно играли рядом со служебными постройками. Выпускники, как в ЮАР называют учеников последнего класса, обычно проводили время в школьном дворе. Популярные красивые девочки проводили время

здесь, а помешанные на компьютерах – там.

То, что эти группы были в основном расовыми, объяснялось тем, что раса часто совпадает с социальным классом и местом проживания. Дети из предместий проводили время с детьми из предместий. Дети из тауншипов проводили время с детьми из тауншипов.

Во время каждого перерыва на ланч я, как единственный ребенок-мулат из тысячи, сталкивался с тем же затруднением, что и на игровой площадке в «Эйч-Эй-Джеке»: куда я должен идти? Хотя был выбор из такого большого количества разных групп, я не был естественным компонентом какой-либо из них. Я определенно не был индийцем или китайцем. Цветные дети постоянно отвергали меня из-за того, что я был слишком черным. Так что меня там не принимали.

Как обычно, я довольно умело вел себя с белыми детьми, чтобы они меня не травили. Но белые дети всегда отправлялись на шопинг, в кино, в поездки – на все это требуются деньги. Денег у нас не было, так что с ними я тоже не мог общаться.

Группой, к которой я испытывал наибольшую симпатию, были бедные черные дети. Я проводил с ними время и общался с ними, но большинство из них пользовалось микроавтобусами, чтобы добираться в школу издалека, из таких тауншипов, как Соуэто, Тембиса, Александра. Они приезжали в школу друзьями и уезжали друзьями. У них были собственные группы. По выходным и в каникулы они проводили время друг с другом, а я не мог их навестить. Соуэто был в сорока минутах езды от дома. У нас не было денег на бензин.

После школы я был сам по себе. По выходным я был сам по себе. Я всегда был аутсайдером и создал свой собственный странный маленький мир. Я сделал это из необходимости. Мне нужен был способ вписаться. Мне также нужны были деньги, чтобы покупать ту же еду и делать то же самое, что делали другие дети. Так я и стал парнем из школьного буфета.

Из-за длинной дороги в школу я опаздывал каждый божий день. Каждое утро я в кабинете старосты записывал свое имя, как опоздавший. Я был святым покровителем опозданий. Опоздав, я бежал в классную комнату, потом шел на утренние уроки: математика, английский, биология, что там еще.

Последним занятием перед ланчем было собрание. Все ученики шли в актовй зал, рассаживались по классам ряд за рядом, а учителя и старосты выходили на сцену и рассказывали о том, что происходит в школе: объявления, награждения, все в таком духе. На каждом собрании оглашались имена опоздавших, и я всегда был одним из них. Всегда. Каждый божий день.

Это было повседневной шуткой. Староста говорил «Сегодня опоздали...», и я автоматически вставал. Словно это было вручение «Оскара», а я был Мерил Стрип. Один раз я встал, а староста назвал имена пяти человек, и я не был ни одним из них. Все рассмеялись. Кто-то закричал: «Где Тревор?!» Староста посмотрел в бумагу и покачал головой. «Нет». Весь зал взорвался смехом и аплодисментами. «Ура!!!»

Сразу же после собрания начиналась гонка в школьный буфет, потому что очередь за едой была невероятно длинной. Каждая минута, проведенная в очереди, работала против твоего времени на отдых. Чем быстрее ты получишь еду, тем дольше сможешь есть, играть в футбол или общаться. И если ты придешь поздно, лучшей еды уже не будет.

Когда я был в том возрасте, обо мне можно было сказать две вещи. Во-первых, я все еще был самым быстрым в школе. Во-вторых, у меня не было гордости. В ту же секунду, как нас распускали с собрания, я со свистом несся в школьный буфет, чтобы быть там первым. Я *всегда* был первым в очереди.

Я так этим прославился, что ребята начали подходить ко мне, когда я стоял в очереди. «Эй, ты можешь мне это купить?» Это злило ребят, стоявших за мной, потому что, в общем-то, означало пролезть без очереди. Так что ко мне стали подходить во время собрания. Мне говорили: «Вот, у меня десять рэндов. Если ты купишь мне еду, я дам тебе два». Именно тогда я понял: время – деньги. Я осознал, что люди платили мне за то, что я куплю им еду, потому что я готов был за ней бежать. Я начал говорить всем на собрании: «Заказывайте. Дайте мне список, чего вы хотите, дайте мне процент от того, что вы планируете потратить, и я куплю вам еду».

Я нашел свою нишу.

Я научился плавно передвигаться между группами.

Я плыл. Я был хамелеоном, правда, культурным хамелеоном.

Я знал, как смешиваться.

Я мгновенно стал пользоваться успехом. Моими клиентами номер один были толстые парни. Они любили еду, но не могли бежать. У меня были все эти богатые толстые белые дети, которые думали что-то вроде: «Фантастика! Родители меня балуют, у меня есть деньги, а теперь у меня есть способ получить еду без необходимости трудиться для этого, и при этом у меня остается перемена».

Клиентов у меня было так много, что некоторым я отказывал. У меня было правило: я брал пять заказов в день – только у тех,

кто давал хороший процент. Я зарабатывал так много, что мог покупать себе ланч на деньги других детей и экономить деньги, которые мама давала мне на обед, чтобы иметь наличные. Тогда я мог позволить себе сесть на автобус до дома, а не идти пешком. Или копить на какую-нибудь покупку. Каждый день я принимал заказы, собрание заканчивалось, и я мчался, как сумасшедший, и покупал всем хот-доги, «Коку» и маффины. Если мне доплачивали, то можно было сказать, куда принести купленное.

Я нашел свою нишу. Так как я не принадлежал ни к одной группе, я научился плавно передвигаться между группами. Я плыл. Я был хамелеоном, правда, культурным хамелеоном. Я знал, как смешиваться. Я мог заниматься спортом со спортсменами. Я мог говорить о компьютерах с умниками. Я мог прыгнуть в круг и танцевать с ребятами из тауншипа. Я мог появиться рядом с каждым, занимаясь, болтая, рассказывая анекдоты, разнося еду.

Я был как распространитель травки, только распространял еду. Торгующего травкой всегда с радостью ждут на вечеринках. Он не входит в круг, но его время от времени приглашают в круг из-за того, что он предлагает. Вот кем я был. Всегда – аутсайдером. Как аутсайдер, ты можешь спрятаться в раковине, быть анонимным, быть невидимым. Или можешь вести себя по-другому. Ты защищаешь себя, открываясь. Ты не просишь принять себя всего целиком, какой ты есть, только ту часть себя, которой ты сам хочешь поделиться.

Для меня это был юмор. Я знал, что, хотя и не принадлежу одной группе, я могу быть частью любой группы, которая смеется. Я подходил, передавал еду, рассказывал несколько анекдотов. Я выступал для них. Немного участвовал в разговоре, немного слушал, о чем они говорят, узнавал больше об этой группе, потом уходил.

Я никогда не задерживался дольше ожидаемого. Я не был популярным, но не был изгоем. Я был везде и со всеми и в то же время был сам по себе.

Я НЕ СОЖАЛЕЮ НИ О ЧЕМ, ЧТО ДЕЛАЛ В ЖИЗНИ, ни об одном выборе, который сделал. Но с сожалением думаю о том, чего я не сделал, о вариантах, которые не выбрал, вещах, которые не сказал. Мы так много времени тратим на боязнь неудачи, боязнь неприятия. Но сожаление – именно то, чего мы должны бояться больше всего. Неудача – это ответ. Неприятие – это ответ. Сожаление – вечный вопрос, на который вы никогда не ответите. «Что если бы...» «Если бы только...»

«Интересно, что должно было бы...» Этого вы никогда, никогда не узнаете, и это будет преследовать вас до конца ваших дней.

Глава 12

Длительное, трудное, временами трагическое и часто унижительное образование юноши в сердечных делах

Часть 2-я: Увлечение

образование юноши в сердечных делах

В старшей школе я не страдал от внимания девочек. Я не был горячим парнем класса. Я не был даже красавчиком класса. Я был уродлив. Подростковый период не красил меня. У меня были такие угри, что, когда люди видели меня, они спрашивали, что со мной случилось. У меня как будто бы была аллергическая реакция на что-то. Это был тот тип угрей, который считается заболеванием. *Acne vulgaris*, как назвал это врач.

Мы говорим не о прыщах, ребята. Мы говорим о настоящих угрях – больших, наполненных гноем угрях и комедонах. Они начались на лбу, стали расползаться по лицу и покрыли щеки и шею, напрочь испортив мою внешность.

Бедность не способствовала улучшению внешности. Я не только не мог позволить себе приличную стрижку и ходил с огромной непокорной кудрявой копной, мама также сердилась на то, что я слишком быстро вырастал из школьной формы, так что для экономии она начала покупать мне одежду на три размера больше. Мой пиджак был слишком длинный, а брюки слишком мешковатыми, ботинки болтались на ногах. Я был клоуном. И, конечно, по закону Мерфи, в тот год, когда мама начала покупать одежду на вырост, я перестал расти. Так что теперь я никогда не дорос бы до своей клоунской одежды, так и должен был оставаться клоуном. Единственная вещь, которая мне нравилась в себе, – я был высоким. Но даже при этом я был нескладным и неуклюжим. Гусиные лапы. Большая задница. Ничего хорошего.

После страданий от сердца, разбитого на День святого Валентина Мэйлин и красивым, очаровательным Лоренцо, я выучил ценный урок о свиданиях. Я узнал, что классные парни получают девушек, а смешные парни общаются с классными парнями и их девушками. Я не был классным парнем, поэтому у меня не было девушек.

Я очень быстро понял эту формулу и знал свое место. Не

приглашал девушек на свидание, у меня не было девушки. Я даже не пытался. Для меня попытка завести девушку означала бы нарушение привычного порядка вещей.

Мой успех как парня из школьного буфета отчасти обеспечивался тем, что меня принимали повсюду, а меня принимали повсюду, потому что я был никем. Я был покрытым угрями клоуном с гусиными лапами в шлепающих ботинках. Я не был угрозой для парней. Я не был угрозой для девушек. В ту же минуту, как я стал бы кем-то, я рисковал перестать быть желанным как никто.

Между тем о красивых девочках уже говорили. Популярные парни уже застолбили их. Они говорили: «Мне нравится Зулейка». И ты знал, что, если ты попробуешь завести какие-нибудь отношения с Зулейкой, будет драка. В целях выживания умным решением было – стоять на обочине, подальше от беды.

В «Сэндрингхэме» одноклассницы обращали на меня внимание в единственном случае: когда они хотели, чтобы я передал письмо горячему парню-однокласснику. Но я знал одну девушку по имени Джоанна. Мы с Джоанной всю нашу жизнь периодически учились в одной школе. Мы вместе были в начальной школе «Мэривейл». Потом она перешла в другую школу. Затем мы вместе были в средней школе «Эйч-Эй-Джек». Она опять перешла в другую школу. Наконец, мы вместе были в «Сэндрингхэме». Потому мы и стали друзьями.

Джоанна была одной из популярных девочек. Ее лучшей подругой была Захира. Джоанна была красивой. Захира была потрясающей. Захира была цветной, капской малайкой. Она выглядела, как Сальма Хайек. Джоанна любила общаться и целовать мальчиков, так что все парни были в нее влюблены. Захира, несмотря на свою красоту, была застенчивой, так что мальчиков за ней бегало не так много.

Джоанна и Захира всегда были вместе. Они были на класс младше меня, но если говорить о популярности, они были на три класса выше меня. Но я проводил с ними время, потому что знал Джоанну, потому что между нами было то, что мы были вместе в разных школах. Возможно, вопрос о свиданиях с девочками передо мной даже не стоял, но разговаривать с ними я мог, я знал, как заставить их рассмеяться. Люди любят смеяться, а девочки, к счастью для меня, были людьми. Так что в этом смысле я мог на них положиться.

Но ни в каком другом. Я знал это, потому что, как только они переставали смеяться над моими шутками и историями, они говорили: «Итак, как ты думаешь, как бы мне заставить Дэниела пригласить меня на свидание?» Я всегда четко знал свое место.

Внешне я внимательно культивировал свой статус смешного, не представляющего опасности парня, но в душе я был невероятно увлечен Захирой. Она была *такой* красивой и *такой* забавной. Мы проводили время вместе и замечательно разговаривали. Я все время думал о ней, но никогда в жизни не мог подумать, что достоин встречаться с ней. Говорил себе: *«Я буду влюблен в нее всегда, и это все, что когда-нибудь может быть»*.

В определенный момент я решил разработать стратегию. Решил стать лучшим другом Захиры и оставаться с нею друзьями до тех пор, пока не придет время пригласить ее на бал выпускников. Имейте в виду, мы в то время были в девятом классе. До выпускного бала оставалось еще три года. Но я решил разыграть длинную партию. Я думал: *«Так, надо только выждать время»*. Ведь именно так происходило в фильмах, верно?

Я видел американские фильмы про старшую школу. Ты долго ошиваешься рядом, как дружелюбный хороший парень, а девушка встречается с кучей красивых ребят, а потом однажды она оборачивается и говорит: «А, это ты. Всегда ты. Ты – тот парень, с которым я была все это время».

Я был невероятно увлечен Захирой.

Она была такой красивой и такой забавной.

Мы проводили время вместе и замечательно разговаривали.

Я все время думал о ней, но никогда в жизни не мог подумать, что достоин встречаться с ней.

Таков был мой план. Он был беспронзримым.

Я при любой возможности проводил время с Захирой. Мы разговаривали о мальчиках, тех, которые нравились ей, и тех, которым нравилась она. Я давал ей советы. Однажды она связалась с одним парнем, Гэри. Они начали встречаться. Гэри входил в группу популярных, но был немного стеснителен, но ведь и Захира входила в группу популярных и тоже была застенчива. Так что его друзья и ее подруги подтолкнули их друг к другу, словно при договорном браке. Ей совсем не нравился Гэри. Так она мне сказала. Мы говорили обо всем.

Как-то раз, сам не знаю как, я набрался смелости и попросил у Захиры номер ее телефона, что в те времена было большим делом. Ведь это не то, что номера сотовых телефонов, когда у всех есть номера всех – для обмена сообщениями и прочего. Это был городской телефон. В ее доме. Где могли ответить ее родители.

В один из дней мы болтали в школе, и я попросил: «Ты

можешь дать мне номер телефона? Может быть, я как-нибудь тебе позвоню, и мы поговорим дома». Она согласилась, и мой мозг взорвался. *Что???!!!! Девочка дает мне номер телефона???!!! С ума сойти!!! Что я делаю???!* Я очень нервничал. Никогда не забуду, как она диктовала мне цифру за цифрой, а я записывал их, стараясь унять дрожь в руке. Потом мы попрощались и разошлись по классам, а я думал что-то вроде *«Так, Тревор. Держи себя в руках. Не звони ей сразу»*. Я позвонил ей в тот же вечер. В семь. Она дала мне номер в два. Вот каким хладнокровным я был. *Парень, не звони ей в пять. Это слишком очевидно. Позвони ей в семь.*

Я позвонил ей домой тем вечером. Ответила ее мама. Я сказал: «Могу я поговорить с Захирой?» Мама позвала ее, она подошла к телефону, и мы поговорили. Примерно час. После этого мы стали разговаривать чаще, в школе, по телефону. Я никогда не говорил ей о своих чувствах. Никогда ничего не предпринимал. Ничего. Я всегда слишком боялся.

Захира и Гэри разошлись. Потом опять сошлись. Потом опять разошлись. И снова сошлись. Они один раз поцеловались, но ей это не понравилось, так что больше они не целовались. Потом они совсем порвали друг с другом. Все это время я выжидал удобного момента. Я видел, как популярный Гэри терпит фиаско, а я все еще остаюсь хорошим другом. *Так, план работает. Мы приближаемся к выпускному бату. Осталось всего два с половиной года...*

Потом мы разошлись на зимние каникулы. В день, когда мы вернулись, Захиры не было в школе. На следующий день она тоже не пришла. И через день. Наконец, я нашел на школьном дворе Джоанну.

– Привет, где Захира? – спросил я. – Она уже несколько дней не приходит. Заболела?

– Нет, – ответила она. – Тебе никто не сказал? Она ушла из школы. Она сюда больше не ходит.

– Что?

– Да, она ушла.

Моей первой мыслью было *«Вау, ладно. Вот так новость. Надо позвонить ей, чтобы все узнать»*.

– В какую школу она перешла? – спросил я.

– Ни в какую. Ее папа получил работу в Америке. Во время каникул они переехали туда. Они эмигрировали.

– Что?

– Да. Она уехала. Она была такой хорошей подругой. Мне действительно жаль. Тебе тоже жаль?

– Ну... да, – сказал я, пытаюсь все осознать. – Мне нравилась

Захира. Она была действительно классной.

– Да, ей тоже было очень грустно, потому что она была так увлечена тобой. Она всегда ждала, что ты пригласишь ее на свидание. Ладно, мне пора идти в класс. Пока!

*«Так, Тревор. Держи себя в руках.
Не звони ей сразу». Я позвонил ей в тот же вечер.
В семь. Она дала мне номер в два.
Вот каким хладнокровным я был.*

Она убежала, а я, потрясенный, остался стоять. Она выдала мне за один раз так много информации. Во-первых, Захира ушла из школы, во-вторых, она уехала в Америку. Наконец – я все это время нравился ей.

Меня словно ударило тремя последовательными, разбивающими сердце волнами, каждая следующая больше предыдущей. В голове проносились мысли о всех часах, проведенных в разговорах на школьном дворе, по телефону, о том времени, когда я мог бы сказать: «Захира, ты мне нравишься. Ты будешь моей девушкой?» Восемь слов, которые могли бы изменить мою жизнь, если бы я только осмелился произнести их. Но я не осмелился. А она уехала.

В КАЖДОМ КРАСИВОМ РАЙОНЕ ЕСТЬ ОДНА БЕЛАЯ СЕМЬЯ, которой на все наплевать. Вы понимаете, о какой семье я говорю. Они не ухаживают за своей лужайкой, не красят забор, не чинят крышу. Их дом – дерьмо. Мама нашла такой дом и купила его, вот каким образом черной семье удалось прокрасться в такой белый район, как Хайлендс-Норт.

Большинство черных, проникающих в белые предместья, переезжали в такие места, как Брэмли или Ломбарди-Ист. Но по какой-то причине мама выбрала Хайлендс-Норт. Он был пригородным районом, полным магазинов. Там жил преимущественно рабочий класс. Не богатые, но платежеспособные представители среднего класса. Дома довольно старые, но местечко – привлекательное для жизни.

В Соуэто я был единственным белым ребенком в черном тауншипе. В Иден-Парке я был единственным ребенком-мулатом в цветном районе. В Хайлендс-Норте я был единственным черным ребенком в белом предместье – и под «единственным» я понимаю единственным.

Белые не уезжали из Хайлендс-Норта. Это был

преимущественно еврейский район, а евреи не переезжают. Они уже переехали. Они добираются до места, строят синагогу и больше никуда не собираются двигаться. Так как окружающие нас белые не собирались уезжать, после нас сюда переехало не так много подобных нам семей.

В Хайлендс-Норте у меня дольше всего не было друзей. Если честно, в Иден-Парке было проще с кем-нибудь подружиться. В предместьях все жили за стенами. Белые районы Йоханнесбурга строились на страхе белых: страхе черной преступности, страхе черных мятежей и возмездия. Так что в результате почти каждый дом прятался за двухметровой стеной, по верху которой шло электроограждение.

Все жили в роскошной, элитной тюрьме строгого режима. Не было сиделок на веранде, не было обмена приветствиями с соседями, не было детей, бегавших туда-сюда между домами. Я часами катался на велосипеде по району, не видя ни одного ребенка. Но я их слышал. Все они встречались за кирпичными стенами на детских праздниках, куда меня не приглашали. Я слышал, как люди смеются и играют. Слезал с велосипеда, подкрадывался и подглядывал поверх стены и видел кучу белых детей, плескавшихся в чьем-нибудь бассейне. Я был словно Любопытный Том из триллера «Подглядывающий», но, конечно, настроенный дружелюбно.

Только где-то через год я понял, как найти черных друзей в предместьях: дети прислуги. Многих служанок в Южной Африке увольняли, когда они забеременеют. Или, если им везло, семья, в которой они работали, позволяла им остаться, но ребенка после того, как он родился, отправляли к родственникам в хоумленд.

Так что черные матери растили белых детей, видя собственного ребенка только раз в год, во время отпуска. Но некоторые семьи разрешали служанкам оставлять детей у себя, и те жили в маленьких комнатах для прислуги или квартирках на заднем дворе.

И долгое время они были моими единственными друзьями.

Глава 13

Дальтоник

В «Сэндрингхэме» я знал одного мальчика, Тедди. Забавный парень, чертовски обаятельный. Моя мама называла его Багз Банни: он обладал улыбкой до ушей с двумя большими зубами, торчавшими изо рта. Мы с Тедди легко и быстро подружились. Он был одним из тех друзей, с которыми начинаешь проводить время и с первого же дня никогда не расстанешься.

Мы оба были невероятно озорными. Познакомившись с Тедди, я наконец-то встретил того, с кем чувствовал себя нормальным. Для своей семьи я был ужасом. Он был ужасом для его семьи. Когда мы сошлись, начался беспредел. Идя домой из школы, мы бросали камни в окна, просто чтобы увидеть, как те раскалываются, а потом убегали. Нас постоянно оставляли в школе после уроков. Учителя, ученики, директор, все остальные знали: Тревор и Тедди – закадычные друзья.

Мама Тедди работала служанкой в семье в Линксфилде, богатом пригороде рядом со школой. Линксфилд находился довольно далеко от моего дома, примерно в сорока минутах пешком, но все же в пределах доступности. В любом случае в те времена я большую часть своего дня бродил по окрестностям. Я не мог себе позволить заниматься чем-нибудь еще или передвигаться каким-нибудь другим способом. Тот, кто любил ходить пешком, был моим другом.

Мы с Тедди вместе ходили по всему Йоханнесбургу. Я приходил к Тедди домой, и мы проводили время там. Затем мы приходили ко мне домой и проводили время у меня. Мы шли пешком от моего дома в центр города, то есть примерно три часа, чтобы просто поболтать, а потом – пешком же весь обратный путь.

Вечерами по пятницам и субботам мы шли в торговый центр и ошивались там. «Balfour Park Shopping Mall» был в нескольких кварталах от моего дома. Он не был большим торговым центром, но там было все: игровые автоматы, кинотеатр, рестораны, южноафриканский вариант «Target», южноафриканский вариант «Gar». А так как, когда мы приходили туда, у нас не было денег на покупки, кино или еду, мы просто бродили внутри.

Однажды вечером мы были в торговом центре, и большинство магазинов было закрыто, но кинотеатр все еще работал, так что здание не закрывалось. Там был канцелярский магазин, продававший поздравительные открытки и журналы, и в нем не

было двери, так что, когда он закрывался на ночь, были только металлические ворота – что-то вроде решетки, перекрывающей вход и закрывающейся на висячий замок.

Проходя мимо этого магазина, мы с Тедди поняли, что, если протянем руки через решетку, сможем дотянуться до полки с шоколадными конфетами внутри. А это были не просто шоколадные конфеты, это были шоколадные конфеты с алкогольной начинкой. Я любил алкоголь. Любил, любил, любил его. Всю свою жизнь я при первой возможности тайком отпивал взрослые напитки.

Мы дотянулись, схватили несколько конфет, выпили из них спиртное и проглотили шоколад. Мы сорвали джекпот!

Мы стали возвращаться к магазину снова и снова, чтобы стянуть больше. Дожидались, пока магазины начинали закрываться, потом подходили и садились перед воротами, делая вид, что просто болтаем. Осматривались и убеждались, что на горизонте никого нет. Тогда один из нас протягивал руку, хватал конфеты, и мы пили виски. Протянуть руку, схватить конфету, выпить ром. Протянуть руку, схватить конфету, выпить бренди. Мы делали это каждые выходные по меньшей мере месяц, это было для нас лучшим временем. Но потом удача покинула нас.

Это было субботним вечером. Мы болтались у входа в канцелярский магазин, а потом присели у ворот. Я протянул руку, чтобы взять конфету, и в этот самый момент из-за угла вышел охранник торгового центра и увидел, как я просунул внутрь руку по самое плечо. Я вытянул руку с горстью шоколадных конфет. Это было словно в кино. Я увидел его. Он увидел меня. Его глаза расширились. Я попытался уйти, ведя себя естественно. Но он закричал: «Эй! Стой!»

И началась погоня. Мы задали стрекача, направляясь к дверям. Я знал, что, если охранник перехватит нас у выхода, мы будем в ловушке. Так что мы неслись со всей возможной скоростью. Мы пронеслись через выход. В ту секунду, когда мы оказались на парковке, охранники подбегали к нам со всех сторон, их было по меньшей мере с дюжину.

Я бежал с опущенной головой. Эти охранники знали меня. Я все время бывал в этом торговом центре. Охранники знали и мою маму, она пользовалась банком в этом торговом центре. Если только они смогут разглядеть, кто я, я погиб.

Мы бежали прямо через парковку, между припаркованными автомобилями, охранники бежали за нами, крича. Мы добежали до автозаправки у дороги, пронеслись через нее и побежали налево по главной дороге. Они гнались и гнались, а мы бежали и бежали, и это было *обалденно*.

Риск быть пойманными был частью веселья от озорства, а теперь был разгар погони. Мне это нравилось. Я проклинал себя, но в то же время мне это нравилось. Это была моя беговая дорожка. Это был мой район. Вы не смогли бы поймать меня в моем районе. Я знал каждый переулок и каждую улицу, каждую стену, по которой можно забраться, каждый забор с зазорами, достаточными для того, чтобы протиснуться. Я знал каждый короткий путь, какой только можно было вообразить.

Будучи ребенком, куда бы я ни шел, в каком бы здании я ни был, я всегда планировал пути отхода. Ну, так, на случай неприятностей. На самом деле я был занудным ребенком, у которого почти не было друзей, но мысленно я был влиятельным и опасным человеком, которому необходимо знать, где расположена каждая камера и где находятся все выходы.

Я знал, что мы не можем вечно бежать. Нам нужен был план. Когда мы с Тедди пронеслись мимо пожарной части, налево вела дорога, тупик, упирающийся в металлическую ограду. Я знал, что в ограде есть дыра, через которую можно протиснуться, а в дальней стороне будет пустырь за торговым центром, по которому можно вернуться на главную дорогу и пойти к моему дому. Взрослый не сможет протиснуться в дыру, но ребенок сможет. Все годы, когда я представлял себе жизнь секретного агента, наконец-то должны были принести результат. Теперь, когда мне нужен был аварийный выход, он у меня был.

– Тедди, сюда! – закричал я.

– Нет, это тупик!

– Мы сможем пролезть! Давай за мной!

Он не пошел. Я повернул и побежал в тупик. Тедди помчался по другой дороге. Половина охранников последовала за ним, половина – за мной. Я подбежал к изгороди и точно знал, как пролезть. Голова, потом плечо, одна нога, потом извернуться, затем вторая нога – готово. Я пролез. Охранники добежали до оставшейся за мной ограды и не могли продолжить погоню. Я побежал через пустырь к забору в дальней стороне, пролез через него и оказался прямо на дороге, в трех кварталах от своего дома. Сунул руки в карманы и непринужденно пошел домой – всего лишь безобидный гуляющий пешеход.

Когда я вернулся домой, я стал ждать Тедди. Он не появился. Я ждал тридцать минут, сорок минут, час. Тедди не было.

Черт.

Я побежал к дому Тедди в Линксфилде. Тедди не было. В понедельник утром я пошел в школу. Тедди все еще не было.

Черт.

Теперь я забеспокоился. После школы я пошел домой и снова

ждал дома – никого. Снова пошел к дому Тедди – никого. Потом я побежал обратно домой.

Час спустя появились родители Тедди. Мама поприветствовала их в дверях.

Риск быть пойманными был частью веселья от озорства, а теперь был разгар погони.

Мне это нравилось. Я проклинал себя, но в то же время мне это нравилось.

Это была моя беговая дорожка.

Это был мой район.

– Тедди арестовали за воровство в магазине, – сказали они.

Чееерт.

Я подслушивал их разговор из другой комнаты. С самого начала мама была уверена, что я замешан.

– Так, а где был Тревор? – спросила она.

– Тедди сказал, что он не был с Тревором, – ответили они.

Мама была настроена скептически.

– Гм. Вы уверены, что Тревор не замешан?

– Нет, разумеется, нет. Полицейские сказали, что был еще один мальчик, но он убежал.

– Значит, это был Тревор.

– Нет, мы спросили Тедди, и он сказал, что это не Тревор. Он сказал, что это был другой мальчик.

– Угу... ладно, – мама позвала меня. – Ты знаешь об этом?

– О чем?

– Тедди поймали за воровство в магазине.

– *Что-о-о-о?* – Я изобразил неведение. – Нееет. Это безумие. Не могу поверить. *Тедди?* Нет.

– Где ты был? – спросила мама.

– Дома.

– Но ты всегда с Тедди.

Я пожал плечами.

– Предполагаю, не в этот раз.

На мгновение мама подумала, что поймала меня с поличным, но Тедди дал мне хорошее алиби. Я вернулся в свою комнату, думая, что я вне подозрений.

На следующий день я был в классе, и мое имя объявили по системе громкой связи. «Тревор Ной, зайди в кабинет директора». Все дети сказали: «О-о-о-ох». Объявления были слышны во всех классах, так что теперь вся школа знала, что у меня – проблема. Я встал и пошел в кабинет, с тревогой ждал в холле у двери, на неудобной деревянной скамейке.

Наконец директор, мистер Фрайдман, вышел. «Тревор, заходи». В его кабинете меня ждали начальник охраны торгового центра, два полицейских в форме и наша с Тедди классная руководительница, миссис Ворстер. Вокруг меня, виновного черного юноши, стояла целая комната молчавших белых начальников с каменными лицами. Мое сердце колотилось. Я сел.

– Тревор, я не знаю, в курсе ли ты, – сказал мистер Фрайдман, – но на днях Тедди арестовали.

– *Что?* – Я снова разыграл полнейшее неведение. – Тедди? О, нет! За что?

– За кражу в магазине. Он был исключен из школы и больше не будет здесь учиться. Мы знаем, что в этом был замешан еще один мальчик, и эти полицейские ходят в районе школы, чтобы навести справки. Мы вызвали тебя, потому что миссис Ворстер говорит, что вы с Тедди лучшие друзья, и мы хотим знать: ты что-нибудь знаешь об этом?

Я покачал головой.

– Нет, я ничего не знаю.

– Ты знаешь, с кем был Тедди?

– Нет.

– Хорошо. – Он встал и подошел к телевизору в углу комнаты. – Тревор, у полицейских есть видеозапись всего произошедшего. Мы хотели бы, чтобы ты это увидел.

Че-е-е-е-е-е-ерт.

Мое сердце колотилось в груди. *«Ладно, жизнь, это было забавно, – подумал я. – Меня исключат из школы. Я отправлюсь в тюрьму. Вот так».*

Мистер Фрайдман нажал «Пуск» на видеоманитофоне. Запись начала проигрываться. Это была зернистая черно-белая запись с камеры безопасности, но мы могли ясно видеть, что происходит. У них даже были записи под разными углами: мы с Тедди тянем руки через ворота. Мы с Тедди мчимся к двери. У них было все. Через несколько секунд мистер Фрайдман потянулся и остановил запись на том месте, где был я, снятый с нескольких метров, застывший посреди экрана. Я думал, что сейчас он повернется ко мне и скажет: «А теперь ты захочешь признаться?» Но он этого не сделал.

– Тревор, – сказал он, – ты знаешь какого-нибудь белого мальчика, с которым Тедди проводил время?

Я действительно обделался. *«Что?!»*

Я посмотрел на экран и понял: Тедди был темным. Я светлый, у меня оливковая кожа. Но камера не может одновременно экспонировать светлый и темный. Так что если показать меня на черно-белом экране рядом с черным человеком, камера не будет

знать, что делать. Если камере надо выбирать, она выберет показать меня как белого. Мой цвет исчезнет. На этой видеозаписи были черный человек и белый человек.

Но все же это был я. Изображение не было хорошим, и мои черты лица были немного размыты, но если присмотреться поближе, это был я. Я был лучшим другом Тедди. Я был *единственным наиболее вероятным сообщником*. Вы должны были хотя бы *подозревать*, что это был я. Но они не подозревали. Они мурыжили меня минут десять. Только потому, что были более чем уверены: я должен знать, кто был этот белый мальчик.

– Тревор, ты – лучший друг Тедди. Скажи правду. Кто этот мальчик?

– Не знаю.

– Ты совсем не узнаешь его?

– Нет.

– Тедди никогда не упоминал о нем?

– Никогда.

В определенный момент миссис Ворстер начала зачитывать список всех белых мальчиков, которые, по ее мнению, могли быть замешаны.

– Это Дэвид?

– Нет.

– Райан?

– Нет.

– Фредерик?

– Нет.

Я продолжал ждать, что это окажется уловкой, что они повернутся ко мне и скажут: «Это *ты!*» Но этого не произошло. В какой-то момент я почувствовал себя настолько невидимым, что почти захотел выдать себя. Мне хотелось подскочить, ткнуть в экран телевизора и сказать: «Вы все слепые? Это я! Разве вы не видите, что это я?!» Конечно, я этого не сделал. А они не видели. Эти люди были настолько зашорены своими представлениями о расе, что не могли видеть: тот белый человек, которого они ищут, сидит прямо перед ними.

Наконец, меня отправили обратно в класс. Остаток дня и следующие пару недель я провел, как на иголках, ожидая, что маме позвонят. «Мы поймали его! Мы все выяснили». Но никто так и не позвонил.

В ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ –
ОДИННАДЦАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ. Когда
наступила демократия, люди сказали: «Ладно, как мы
можем навести порядок, чтобы при этом различные

группы не почувствовали, что их снова лишили власти?»
Английский – язык международного общения, язык денег и СМИ, так что его мы оставим. Большинство людей заставили выучить как минимум азы африкаанс, так что полезно будет оставить и его. Плюс мы не хотим, чтобы белое меньшинство чувствовало себя отверженным в новой ЮАР, иначе они заберут все свои деньги и уедут.

Зулу – самый распространенный из южноафриканских языков, но мы не можем оставить его, не оставив коса, тсвана и ндебеле. Потом, есть свази, тсонга, сото и педи. Мы стараемся, чтобы все основные группы были счастливы, а для этого надо сделать одиннадцать языков официальными языками. Все эти языки достаточно распространены, чтобы требовать признания. А ведь есть еще десятки.

ЮАР – это Вавилонская башня. Каждый божий день. Каждый день вы видите абсолютно потерянных людей, пытающихся завязать разговор и не имеющих ни малейшего представления о том, что говорит другой человек. Зулу и тсвана довольно распространены. Тсонга и педи довольно ограничены. Чем более распространен твой язык, тем меньше вероятность, что ты будешь учить другие. Чем более ограничено его использование, тем больше вероятность, что ты выучишь еще два или три.

В крупных городах большинство людей знает английский, хотя бы немного, обычно так же немного говорит на африкаанс, и этого достаточно для общения. Вы можете прийти на вечеринку с десятком людей, где разговор ведется на двух или трех различных языках. Часть вы не понимаете, кто-нибудь с ходу будет вам переводить, чтобы вы поняли смысл, остальное вы поймете из контекста, так что все будет ясно.

Самое невероятное то, что это каким-то образом работает. Общество функционирует. За исключением тех случаев, когда нет.

Глава 14

Длительное, трудное, временами трагическое и часто унижительное образование юноши в сердечных делах

Часть 3-я: Выпускной вечер

образование юноши в сердечных делах

К концу старшей школы я стал важной персоной. Мой бизнес со школьным буфетом вырос в маленькую империю, куда входила продажа пиратских компакт-дисков, которые я изготавливал дома. Я убедил маму (какой бы экономной она ни была), что для школы мне нужен компьютер. Сначала она не соглашалась. Говорила, что я хочу компьютер, чтобы бродить по Интернету и играть в *«Ларри в выходном костюме»*. Но я был очень убедителен, она сломалась и купила мне его. Благодаря компьютеру, Интернету и записывающему компакт-диски устройству (щедрому подарку от друга), я начал свое дело.

Я нашел свою нишу и отлично проводил время. Жизнь аутсайдера была так хороша, что я даже и не думал о свиданиях. Единственными девушками в моей жизни были те, что появлялись обнаженными на мониторе моего компьютера. Пока я загружал музыку или болтал в чатах, я то и дело заглядывал на порносайты. Никаких видео, конечно, только фотографии.

Благодаря сегодняшнему онлайн-порно, вы можете быть втянутыми прямо в действо, но с выходом в Сеть по телефонному кабелю изображения загружались слишком долго. Это было почти пуританским по сравнению с тем, что есть сейчас. Вы проводили добрых пять минут, глядя на ее лицо, узнавая ее как человека. Несколько минут спустя вы видели часть груди. К тому времени, как вы добирались до вагины, вы уже проводили вместе немало времени.

В сентябре^[9] для двенадцатого класса приближался выпускной бал. Выпускной вечер. Это было большим событием. Я снова стоял перед той же дилеммой, что и перед Днем святого Валентина, столкнувшись с еще одним странным ритуалом, которого не понимал. Все, что я знал о выпускном, если верить виденным мной американским фильмам: именно на выпускном происходит *это*. Ты теряешь девственность. Ты отправляешься на

выпускной, едешь в лимузине, а потом вы с твоей девушкой занимаетесь этим. Это действительно было для меня единственной информацией. Но я знал правило: классные парни получают девушек, а смешные парни вынуждены просто общаться с классными парнями и их девушками. Так что я решил, что не пойду. А если и пойду, никакого свидания не будет.

У меня было два помощника, работавших на меня в моем бизнесе с компакт-дисками, – Бонгани и Том. Они продавали компакт-диски, которые я копировал, в обмен на комиссионные. Я познакомился с Томом у игрового автомата в торговом центре «Balfour Park». Он жил неподалеку, как Дарлингтон и Тедди, потому что его мама была служанкой. Том учился в том же классе, что и я, но ходил в государственную школу, «Нортвью», настоящую школу в гетто. Там он и продавал мои компакт-диски.

Том был болтливым, гиперактивным и непоседливым. Он также был действительно предприимчив, всегда старался договориться, действовать только в свою пользу. Он мог убедить людей сделать, что угодно. Замечательный парень, но абсолютно безумный, а также полнейший лжец.

Однажды я отправился с ним в хоумленд, Хамманскрааль.

Впрочем, Хамманскрааль, как предполагает его название на африкаанс^[10], не был настоящим хоумлендом. Когда-то это был «крааль» Хамманов, ферма белых людей. Настоящие хоумленды – Венда, Тзанин, Транскей – были местами, где на самом деле жили аборигенные племена, а правительство нарисовало вокруг них границу, сказав: «Оставайтесь здесь».

Хамманскрааль (покинутый белыми) и подобные поселения на карте были пустыми местами, туда и переместили депортированных черных. Вот что правительство делало с людьми. Оно находило клочок бесплодной, пыльной, бесполезной земли и рыло ряд за рядом дыры в земле – тысяча сортиров, служивших четырем тысячам семей. В такие места насильно переселили людей из некоторых нелегально оккупированных белых районов – в самую глухомань с горами фанеры и волнистого железа. «Здесь. Это ваш новый дом. Стройте себе дома. Удачи». Вы видели это в новостях. Это напоминало бессердечное телевизионное реалити-шоу на выживание, только никто не выигрывал денег.

Однажды в Хамманскраале Том сказал мне, что мы пойдем смотреть конкурс талантов. В то время у меня была пара купленных мной «тимберлендов». Они были моей единственной приличной деталью одежды. В те времена почти ни у кого в ЮАР не было «тимберлендов». Их было невозможно достать, но все хотели их, потому что их носили американские рэперы. Я изо всех

сил копил заработанные на школьном буфете и компакт-дисках деньги, чтобы их купить. Когда мы уезжали, Том сказал мне: «Обязательно надень свои «тимберленды»».

Конкурс талантов проходил в маленьком зале поселка, расположенном нигде – в самой глуши. Когда мы вошли туда, Том начал бродить, пожимая руки и болтая со всеми. Были пение, танцы, немного поэзии. Потом ведущий поднялся на сцену и сказал: «*Re na le modiragatsi yo o kgethegileng. Ka kopo amogelang... Spliff Star!*» («Мы пригласили особого исполнителя, рэпера, приехавшего из самой Америки. Пожалуйста, поприветствуем... Сплиф Стар!»).

Сплиф Стар в то время был в хип-хоп-группе Басты Раймса. Я сидел в замешательстве. *Что? Сплиф Стар? В Хамманскраале?* Потом все в зале повернулись и посмотрели на меня. Том подошел и прошептал мне в ухо:

– Парень, иди на сцену.

– Что?

– Иди на сцену.

– Парень, о чем ты говоришь?

– Парень, пожалуйста, ты же не хочешь доставить мне неприятности. Они уже заплатили мне деньги.

– *Деньги?* Какие деньги?

Конечно, Том заранее не сказал мне, что он сообщил этим людям, что привез знаменитого рэпера из Америки, который выйдет и споет рэп на их конкурсе талантов. Он потребовал, чтобы ему за это заплатили вперед, а я, в своих «тимберлендах», и был тем знаменитым американским рэпером.

– Черт тебя подери, – сказал я. – Я не собираюсь никуда выходить.

– Пожалуйста, парень, умоляю тебя. Пожалуйста, сделай милость. Пожалуйста. Здесь та девчонка, и я хочу сблизиться с ней, и я сказал ей, что знаю всех этих рэперов... Пожалуйста. Умоляю.

– Парень, я не Сплиф Стар. Что я буду делать?!

– Просто прочитай песни Басты Раймса.

– Но я не знаю ни одну из них.

– Неважно. Эти люди не говорят по-английски.

– О, черт!

Я вышел на сцену, и Том выдал несколько ужасных битбоксингов – «Бф-ф ба-дф-ф, бф-ф бф-ф ба-дф-ф», пока я, запинаясь, читал несколько «песен Басты Раймса», придуманных прямо на ходу. Зрители прерывали меня криками и аплодисментами. Американский рэпер приехал в Хамманскрааль, это было самым легендарным из всего, что они когда-либо

видели.

Таким был Том.

Как-то днем Том пришел ко мне домой, и мы разговаривали о выпускном. Я сказал ему, что не нашел подружку, не могу найти подружку и не собираюсь искать подружку.

– Я могу найти девушку, с которой ты пойдешь на выпускной, – сказал он.

– Нет, не можешь.

– Да, могу. Давай заключим сделку.

– Я не хочу заключать с тобой никаких сделок, Том.

– Нет, послушай. Вот такая сделка. Если ты дашь мне побольше комиссионных с продажи компакт-дисков плюс бесплатные музыкальные записи для меня, я вернусь с самой красивой девушкой из всех, что ты видел в своей жизни, и она пойдет с тобой на выпускной.

– Ладно, я заключу эту сделку, потому что этого никогда не случится.

– Мы заключаем сделку?

– Мы заключаем сделку, но этого никогда не случится.

– Но мы заключаем *сделку*?

– Заметано.

– Ладно, я найду тебе подружку. Она будет самой красивой девушкой из всех, что ты видел в жизни, и ты пойдешь с ней на выпускной и будешь суперзвездой.

До выпускного оставалось еще два месяца. Я немедленно забыл о Томе и его смешной сделке. Но однажды он пришел ко мне домой и заглянул в мою комнату.

– Я нашел девушку.

– Правда?

– Да. Ты должен пойти и познакомиться с ней.

Я знал, что Том – трепло, но успех ловкача заключается в том, что он тебе всегда что-то дает. Он дает ровно столько, чтобы ты продолжал ему верить. Том познакомил меня со многими красивыми женщинами, особенно в хоумлендах. Он никогда не приглашал их на свидания, но заговаривал им зубы и все время ошивался рядом с ними. Так что, когда он сказал, что нашел девушку, я не сомневался. Мы сели в автобус и поехали в центр города.

Девушка жила в захудалом обшарпанном многоквартирном доме в центре. Мы нашли ее дом. Какая-то девушка перевесилась через перила балкона и помахала рукой, приглашая нас войти. Том сказал, что это – Лерато, сестра девушки. Как выяснилось потом, он пытался сойтись с Лерато, а способом сделать это было – познакомить меня с ее сестрой. Конечно, Том придумал

коварный план.

В холле было темно. Лифт был сломан, так что мы прошли пешком несколько пролетов. Та девушка, Лерато, провела нас в квартиру. В гостиной сидела огромная, я имею в виду действительно, на самом деле громадная, толстая женщина. Я подумал: *«Ох, Том. Я понимаю, что ты здесь делаешь. Отлично разыграно»*. Том был неплохим шутником.

– Это моя девушка? – спросил я.

– Нет, нет, нет, – ответил он. – Это не твоя девушка. Это ее старшая сестра. Твоя девушка – Бабики. У Бабики три старших сестры, а Лерато – ее младшая сестра. Бабики ушла в магазин за продуктами. Она скоро придет.

Мы ждали, болтая со старшей сестрой. Через десять минут дверь открылась и вошла самая красивая девушка из всех, что я видел в жизни. Она была... господи! Прекрасные глаза, красивая золотистая желтовато-коричневая кожа. Казалось, что она светится. Ни одна девушка из моей старшей школы не была похожа на нее.

– Привет, – сказала она.

– Привет, – ответил я.

Я был ошеломлен. У меня не было никакого представления, как разговаривать с такой красивой девушкой. Она тоже была застенчивой и говорила мало. Возникла неловкая пауза.

К счастью, Том был парнем, который просто говорил и говорил. Он вмешался и исправил ситуацию. «Тревор, это Бабики. Бабики, это Тревор». Он продолжил разглагольствовать о том, какой я замечательный, как она ждет выпускного бала, когда я приглашу ее на танец, все подробности. Мы немного пообщались, потом Том сказал, что нам надо идти, и мы направились к двери. Бабики повернулась, улыбнулась мне и помахала, когда мы выходили.

– Пока.

– Пока.

Мы вышли из здания, и я был счастливейшим человеком на земле. Я не мог в это поверить. В школе я был парнем, который не мог найти подружку. Я безропотно смирился с тем, что у меня никогда не будет подружки, я не считал себя достойным иметь девушку. Но теперь я собирался идти на выпускной с самой красивой девушкой в мире.

В течение следующих недель мы ходили в Хиллброу немного чаще, чтобы пообщаться с Бабики и ее сестрами и друзьями. Семья Бабики была педи, это одно из небольших племен ЮАР. Я любил знакомиться с людьми разного происхождения, так что это было весело.

Бабики и ее друзья были теми, кого мы называем *buchas*, искаженное «буржуазия». Они так же бедны, как другие черные, но стараются вести себя так, словно – нет, не так. Они модно одеваются и изображают из себя богатых. *Buchas* зарезервируют в магазине рубашку, одну рубашку, и будут семь месяцев выплачивать за нее. Они живут в сараях и при этом носят итальянские кожаные туфли за несколько тысяч. Интересные люди.

Мы с Бабики никогда не ходили на свидание в одиночку. Мы всегда были вдвоем в группе. Она была застенчивой, я чаще всего нервничал, но нам было весело. Спасибо Тому – все чувствовали себя свободно и хорошо проводили время. Когда бы мы ни прощались, Бабики обнимала меня, а один раз слегка поцеловала. Я был на небесах. Я думал: *«Да, у меня есть девушка. Классно»*.

Выпускной вечер приближался, и я начинал нервничать. У меня не было автомобиля. У меня не было никакой приличной одежды. Это был первый раз, когда я должен был выйти в свет с красивой девушкой, и я хотел, чтобы все было идеально.

Мы переехали в Хайлендс-Норт, когда автосервис моего отчима прогорел, и он переместил свою мастерскую в дом. У нас был большой двор с гаражом в задней части, и это стало его новым автосервисом. На подъездной дорожке, во дворе и на улице у нас стояло минимум десять-пятнадцать автомобилей, нуждающихся в ремонте. Это были автомобили клиентов и старые драндулеты, которые Абель хранил, чтобы с ними возиться.

Однажды мы с Томом были у меня дома, и он рассказал Абелью о моей подруге, а Абель решил быть щедрым. Он сказал, что я могу взять автомобиль на выпускной вечер.

Одно время у нас была красная «Мазда», полный кусок дерьма, но на ходу. Я брал ее и раньше. Однако автомобилем, который я действительно хотел, был «БМВ» Абея. Он был старый и битый, как «Мазда», но «БМВ» – это «БМВ». Я упрасивал его, чтобы он мне его дал.

– Пожалуйста, ну пожалуйста, я могу взять «БМВ»?

– Никакого шанса.

– Пожалуйста. Это величайший момент моей жизни. Пожалуйста. Умоляю тебя.

– Нет.

– Пожалуйста.

– Нет. Ты можешь взять «Мазду».

Вмешался Том, который всегда был ловкачом и переговорщиком.

– Братан Абель, – сказал он, – не думаю, что ты понимаешь.

Если бы ты увидел девушку, с которой Тревор идет на выпускной вечер, ты бы понял, почему это так важно. Давай заключим сделку. Если мы приведем ее сюда и она окажется самой красивой девушкой, которую ты видел в своей жизни, ты разрешишь ему взять «БМВ».

Абель подумал над этим.

Vichas зарезервируют в магазине одну рубашку и будут семь месяцев выплачивать за нее. Они живут в сараях и носят итальянские кожаные туфли за несколько тысяч.

Интересные люди.

– Ладно. Заметано.

Мы отправились в дом Бабики, сказали ее родителям, что хотим встретиться с ней, и привели ее в мой дом. Потом мы привели ее в гараж, где работали Абель и его ребята. Мы с Томом подошли и познакомили их.

– Абель, это Бабики. Бабики, это Абель.

Абель широко улыбнулся, он был обаятелен, как всегда.

– Приятно познакомиться, – сказал он.

Они поговорили несколько минут. Том и Бабики ушли. Абель повернулся ко мне.

– Это та девушка?

– Да.

– Ты можешь взять «БМВ».

Теперь, когда у меня был автомобиль, мне отчаянно нужна была одежда. Я собирался выйти в свет с девушкой, которая действительно следовала моде, а у меня вся одежда была дерьмом, за исключением «тимберлендов». Выбор одежды у меня был ограниченным, потому что я привык покупать в магазинах, в которые мне разрешала ходить мама, а моя мама не видела смысла тратить деньги на одежду. Она приводила меня в какой-нибудь дешевый магазин и говорила, сколько денег мы можем потратить, и мне надо было выбрать что-нибудь, чтобы носить.

В то время я абсолютно не разбирался в одежде. Моим представлением о моде была одежда бренда «Powerhouse». Это была дрянная спортивная одежда того рода, что носят в Майами или на Венис-Бич – мешковатые треники и мешковатые футболки. Логотипом был мультяшный огромный бульдог-бодибилдер в облегающих солнечных очках, курящий сигару и играющий мускулами. На штанах он играл мускулами во всю длину ноги. На футболке он играл мускулами во всю грудь. На трусах он играл мускулами на мошонке.

Я думал, что «Powerhouse» – худшее, что есть в мире, в нем

нельзя выглядеть презентабельно. Но у меня не было друзей, я любил собак, а мускулы были крутые – вот чем я руководствовался. Вся моя одежда была «Powerhouse», весь ассортимент, по пять одинаковых вещей пяти разных цветов. Это было легко. Брюки дополнялись верхом, так что я знал, как это сочетать.

Бонгани, мой второй помощник в бизнесе с компакт-дисками, узнал, что у меня появилась подружка, и решил, что его миссия – привести меня в божеский вид.

– Ты должен принарядиться, – сказал он. – Ты не можешь пойти на выпускной, выглядя так, как ты выглядишь. Для ее блага, не для своего. Пошли по магазинам.

Я пошел к маме и выпрашивал у нее деньги для того, чтобы купить что-нибудь на выпускной бал. Наконец, она сжалилась и дала мне 2000 рэндов, на один костюм. Это была самая крупная сумма, которую она давала мне на что-либо за всю мою жизнь. Я сказал Бонгани, сколько я могу потратить, и он сказал, что что-нибудь придумает. Искусство выглядеть богатым, сказал он мне, заключается в том, чтобы иметь одну дорогую вещь, а все остальные вещи могут быть базовыми, симпатичными и качественными. Красивая вещь привлечет всеобщее внимание, и я буду выглядеть так, словно потратил больше, чем на самом деле.

В моем представлении не было ничего круче, чем кожаные плащи, которые все носили в «Матрице». «Матрица» только вышла на экраны и была фильмом года. Я любил Нео. В душе я знал: я – Нео. Он умник. Он никуда не годен во всем, но в тайне он отчаянный супергерой. Все, в чем я нуждался, – лысый таинственный черный мужчина, который пришел бы в мою жизнь и показал мне путь. Теперь у меня был Бонгани, черный, с бритой головой, который говорил мне: «Ты можешь сделать это. Ты – тот самый». И я думал: «Да. Я знал это».

Я любил Нео. В душе я знал: я – Нео.

Он умник. Он никуда не годен во всем, но в тайне он отчаянный супергерой.

Все, в чем я нуждался, – лысый таинственный черный мужчина, который пришел бы в мою жизнь и показал мне путь.

Я сказал Бонгани, что хочу кожаный плащ, как носил Киану Ривз, черный, длиной до колен. Бонгани умерил мой пыл. «Нет, это не практично. Это классно, но ты никогда не сможешь надеть его снова». Он повел меня по магазинам, и мы купили черную кожанку длиной по щиколотку, которая сегодня выглядела бы смешно, но в то время, благодаря Нео, была очень классной. Она

одна стоила 1200 рэндов. Потом мы дополнили наряд парой простых кожаных брюк, замшевыми туфлями с квадратными носками и кремово-белым вязаным свитером.

Как только мы приобрели наряд, Бонгани внимательно посмотрел на мои невероятные кудри. Я бесконечно пытался уложить идеальную прическу в африканском стиле Майкла Джексона 1970-х годов. Но то, что у меня получалось, больше напоминало Баквита^[11]: растрепанные, не поддающиеся укладке волосы, словно стог травы поворошили граблями.

– Нам надо уложить эти чертовы волосы, – сказал Бонгани.

– Что ты имеешь в виду? – спросил я. – Это просто мои волосы.

– Нет, мы *должны* сделать что-нибудь.

Бонгани жил в Александре. Он притащил меня туда, и мы поговорили с какими-то девушками с его улицы, болтавшимися на углу.

– Что бы вы сделали с волосами этого парня? – спросил он их. Девушки рассмотрели меня.

– У него слишком много волос, – сказала одна из них. – Почему он не заплетет их в косички?

– Черт, точно, – сказали они. – Отличная мысль!

– Что? Косички? Нет! – сказал я.

– Нет, нет, – ответили они. – Сделаем это.

Бонгани потащил меня в парикмахерскую вниз по улице. Мы вошли и сели. Женщина потрогала мои волосы, покачала головой и повернулась к Бонгани.

– Я не могу работать с этой овцой, – сказала она. – Вы должны с этим что-то сделать.

– Что нам надо сделать?

– Вам надо выпрямить их. Здесь я это сделать не смогу.

– Ладно.

Бонгани потащил меня во второй салон. Я сел в кресло, и женщина начала втирать в мои волосы какой-то кремообразный белый состав. Она была в резиновых перчатках, чтобы химическое средство для выпрямления волос не попало ей на кожу, и это было для меня первым намеком на то, что, возможно, это не такая уж хорошая идея. Когда мои волосы были полностью покрыты выпрямителем, она сказала: «Постарайся, чтобы он оставался на волосах как можно дольше. Ты можешь почувствовать жжение. Когда начнет жечь, скажи мне, и мы смоем это. Но чем дольше ты сможешь терпеть, тем прямее будут твои волосы».

Я хотел, чтобы все было, как надо, так что сидел в кресле и ждал. Ждал так долго, как только мог.

Я терпел слишком долго.

Она сказала, чтобы я позвал ее, когда начнет жечь. Ей надо было сказать мне, чтобы я позвал ее, когда начнет пощипывать, потому что к тому времени, когда по-настоящему начало жечь, средство уже сняло несколько слоев скальпа. Это уже было далеко не пощипывание, когда я начал паниковать: *«Жжет! Жжет!»* Она кинулась ко мне и начала смывать выпрямитель. Чего я не знал, так того, что химическое средство по-настоящему начинает жечь, когда его смывают. Мне казалось, что кто-то лил мне на голову жидкий огонь. Когда она закончила, на коже по всей голове были пятна химических ожогов.

Я был единственным мужчиной в салоне, все остальные были женщинами. Это была возможность узнать, что женщины регулярно переносят для того, чтобы хорошо выглядеть. *«Зачем они вообще это делают?»* – думал я. – *«Это ужасно»*. Но это сработало. Мои волосы были абсолютно прямыми. Женщина уложила их назад, и я выглядел, как гей – гей по кличке Прилизанный.

Потом Бонгани потащил меня обратно в первый салон, и девушка согласилась заплести мои волосы в косички. Она работала медленно. Это заняло шесть часов. Наконец, она сказала: *«Хорошо, можешь посмотреть в зеркало»*. Она повернула меня на кресле, я посмотрел в зеркало и... Я никогда не видел себя в таком виде. Это напоминало сцены гримирования в американских фильмах, когда берут придурковатого парня или девочку, причесывают, переодевают, и гадкий утенок превращается в лебедя. Я был настолько убежден, что у меня никогда не будет подружки, что никогда не пытался выглядеть лучше, чтобы нравиться девушкам, так что даже не знал, что мог бы. Прическа была хороша. Моя кожа не была идеальной, но она стала лучше, угри превратились в обычные прыщи. Я выглядел... неплохо.

Я пошел домой, и мама завопила, когда я вошел в дверь.

– О-о-о-о-о-о-о! У меня появилась девчушка! Ты такой хорошенький! Они превратили моего мальчонку в хорошенькую девчушку!

– Мам! Ладно. Прекрати.

– Ты таким образом хочешь сказать мне, что ты – гей?

– Что? Нет. Почему ты так говоришь?

– Ты же знаешь, что, если да, то все в порядке.

– Нет, мама. Я не гей.

Всем в моей семье это понравилось. Все считали, что я замечательно выгляжу. Но мама дразнила меня, перемывая мне кости.

– Очень хорошо сделано, – говорила она, – но так ты слишком

хорошенький. Ты выглядишь как девочка.

Выпускной вечер наконец-то наступил. Том пришел ко мне, чтобы помочь собраться. Прическа, одежда, все сочеталось отлично. Как только я был готов, мы пошли к Абелю, чтобы взять ключи от «БМВ», и это был момент, с которого весь вечер пошел наперекосяк.

Это был субботний вечер, конец недели, а это значило, что Абель пил со своими рабочими. Я подошел к его гаражу и, как только увидел его глаза, понял: он пьян в стельку. *Черт.* Когда Абель был пьян, он был совершенно другим человеком.

– А, ты выглядишь прекрасно! – сказал он с широкой улыбкой, оглядывая меня. – Куда собираешься?

– Куда я... Аби, я иду на выпускной бал.

– Здорово. Желаю повеселиться.

– Эм... я могу взять ключи?

– Ключи от чего?

– От автомобиля.

– Какого автомобиля?

– «БМВ». Ты обещал, что я смогу поехать на автомобиле на выпускной бал.

– Сначала купи мне пива, – сказал он.

Он дал мне ключи от своей машины, мы с Томом съездили в винный магазин. Я купил Абелю несколько упаковок пива, вернулся и отдал ему.

– Так, – сказал я, – а теперь я могу взять «БМВ»?

– Нет.

– Что значит «нет»?

– Это значит «нет». Машина нужна мне сегодня вечером.

– Но ты обещал. Ты сказал, что я смогу взять ее.

– Да, но мне нужна машина.

Я был сокрушен. Я сел там с Томом и упрасивал его почти полчаса.

– Пожалуйста.

– Нет.

– *Пожалуйста.*

– Нет.

Наконец, мы поняли, что этого не случится. Мы взяли чертову «Мазду» и поехали к дому Бабики. Я приехал за ней на час позже. Она была очень рассержена. Тому пришлось идти в квартиру и уговаривать ее выйти. Наконец, она спустилась.

Она была еще великолепней, чем раньше, в потрясающем красном платье, но явно не в отличном настроении. Внутри себя я потихоньку начал паниковать, но улыбнулся и старался вести

себя как можно более джентльменски, чтобы быть хорошей парой: придержал для нее дверь, сказал, что она прекрасно выглядит. Том и сестра попрощались с нами, и мы отправились.

Потом я заблудился. Выпускной бал проводился в каком-то клубе в какой-то части города, которую я не знал, и в какой-то момент я совершенно сбился с пути и не имел никакого представления, где нахожусь. Я около часа ездил кругами в темноте, поворачивая налево, поворачивая направо, вновь возвращаясь на то же место. Я все время был на сотовом телефоне, отчаянно названивал людям, пытаюсь выяснить, где я нахожусь, пытаюсь узнать направление. Бабики сидела рядом со мной и все время хранила гробовое молчание. Было ясно, что ни я, ни сам вечер ей *абсолютно* не нравились. Я терпел огромную неудачу. Я опоздал. Я не знал, куда еду. Я был худшим парнем в ее жизни.

Наконец, я выяснил, где нахожусь, и мы добрались на выпускной бал, опоздав почти на два часа. Я припарковался, выпрыгнул из машины и обежал машину вокруг к ее дверце. Когда я открыл дверцу, она осталась сидеть.

– Ты готова? – спросил я. – Пошли.

– Нет.

– Нет? Что... Что значит «нет»?

– Нет.

– Ладно... Но почему?

– Нет.

– Но нам надо идти внутрь. Выпускной бал внутри.

– Нет.

Я простоял там еще двадцать минут, пытаюсь уговорить ее пойти внутрь, но она продолжала говорить «нет». Она не собиралась выходить из автомобиля.

Наконец, я сказал: «Ладно, я сейчас вернусь».

Я побежал внутрь и нашел Бонгани.

– Где ты был? – спросил он.

– Я здесь! Но моя подружка в автомобиле и не собирается идти.

– Что значит «не собирается идти»?

– Я не знаю, что происходит. Пожалуйста, помоги мне.

Мы вернулись на стоянку. Я подвел Бонгани к автомобилю, и в ту же секунду, как он ее увидел, он слетел с катушек. «Иисус на небесах! Это самая красивая женщина из всех, что я видел. Ты говорил, что она красивая, Тревор, но это сумасшествие». В момент он абсолютно забыл о том, что должен помочь мне с Бабики. Он повернулся и побежал обратно внутрь, зовя ребят: «Ребята! Вы должны это видеть! У Тревора есть подружка! И она

красивая! Пошли!»

Двадцать парней выбежали на стоянку. Они столпились вокруг автомобиля. «Ого, вот так штучка!» «Парень, *эта* девушка приехала с Тревором?» Парни глазели на нее, как на животное в зоопарке. Они просили сфотографироваться с ней. Они звали других людей. «Это безумие! Посмотрите на подружку Тревора! Нет, нет, нет, вы должны пойти и увидеть!»

Я был раздавлен. Я четыре года проучился в старшей школе, осторожно избегая любых унижений, вызванных романтическими отношениями, а теперь, в ночь выпускного, в ночь всех ночей, мое унижение превратилось в арену – большую, чем само мероприятие. Тревор, непривлекательный клоун, вообразивший, что у него будет самая красивая девушка на выпускном вечере, потерпел крушение и горит, так что давайте все выйдем и посмотрим на это.

Бабики сидела на пассажирском сиденье, глядя прямо перед собой, отказываясь сдвинуться с места. Я был у автомобиля, утомленный, вышагивающий вокруг него. У одного из друзей была бутылка бренди, которую он протасил на выпускной. «Вот, – сказал он. – Глотни чуть-чуть». В тот момент для меня ничто не имело значения, так что я начал пить. Я облажался. Я не нравлюсь этой девушке. Вечер испорчен.

Было ясно, что ни я, ни сам вечер ей абсолютно не нравились.

Я терпел огромную неудачу. Я опоздал.

Я не знал, куда еду. Я был худшим парнем в ее жизни.

Большинство ребят постепенно вернулось внутрь. Я сидел на дороге, делал глотки из бутылки бренди, постепенно напиваясь. В какой-то момент Бонгани вернулся к автомобилю, чтобы в последний раз попытаться убедить Бабики пойти. Через минуту его голова показалась над автомобилем со смущенным видом.

– Эй, Тревор, – сказал он, – твоя подружка не говорит по-английски.

– Что?

– Твоя подружка. Она совсем не говорит по-английски.

– Это невозможно.

Я встал и подошел к автомобилю. Я задал ей вопрос по-английски, и она посмотрела на меня пустым взглядом.

Бонгани уставился на меня.

– Как ты мог не знать, что твоя подружка не говорит по-английски?

– Я... Я не знаю.

– Ты никогда не разговаривал с ней?

– Конечно, разговаривал... или подожди... *Разговаривал?*

Я начал вспоминать все те случаи, когда я был с Бабики, встречаясь с ней в ее квартире, проводя время с ее друзьями, представляя ее Абелю. Говорил ли я с ней тогда? Нет. Говорил ли я с ней тогда? Нет. Это напоминало сцену из «Бойцовского клуба», когда персонаж Эда Нортон вспоминает и осознает, что он и Брэд Питт никогда не были одновременно в одной и той же комнате с Хеленой Бонэм Картер. Он понимает, что все время бил сам себя. Он, Тайлер Дёрден. Я был так восхищен знакомством с Бабики, что в то время, которое мы проводили вместе, узнавая друг друга, мы на самом деле никогда не разговаривали друг с другом. Все всегда было через Тома.

Мой ум работал с языком так, что когда я слышал другие языки, то в уме переводил их на английский.

Мой ум хранил их на английском.

Когда бабушка и прабабушка истерически молились богу, и все это произносилось на коса, в моем уме это сохранилось на английском.

Я помню это как разговор на английском.

Чертов Том!..

Том обещал, что найдет мне красивую подружку для выпускного, но он не давал никаких обещаний насчет каких-либо других ее качеств. Когда бы мы ни были вместе, она говорила с Томом на педи, а Том говорил со мной на английском. Но она не говорила на английском, а я не говорил на педи. Я действительно никогда не слышал, чтобы она говорила на английском что-нибудь кроме «да», «нет», «привет», «пока». Да, именно: «да», «нет», «привет», «пока».

Бабики была такой застенчивой, что вообще мало разговаривала, а я настолько не умел общаться с женщинами, что не знал, как с ней разговаривать. У меня никогда не было девушки, я даже толком не знал, что означает «девушка». Кто-то дал мне в руки красивую женщину и сказал: «Она – твоя девушка». Я был загипнотизирован ее красотой и самой мыслью о ней. Мне и в голову не приходило, что стоило бы с ней поговорить. Обнаженные женщины на экране моего компьютера – я никогда не говорил с ними, не интересовался их мнением, не спрашивал об их чувствах. И я боялся, что открою рот и все испорчу. Так что я просто кивал и улыбался, а разговор поддерживал Том.

Все три старшие сестры Бабики говорили по-английски, ее младшая сестра Лерато тоже немного говорила. Так что, когда бы мы ни проводили время с Бабики, ее сестрами и друзьями,

большая часть разговора шла на английском. В оставшейся части я не участвовал, и она велась на педи или сото, но для ЮАР это абсолютно нормально, так что я никогда не беспокоился. Главный смысл разговора мне кто-нибудь пересказывал на английском, и мне этого было достаточно для того, чтобы знать, о чем идет речь.

А мой ум работал с языком так, что когда я слышал другие языки, то в уме переводил их на английский. Мой ум хранил их на английском. Когда бабушка и прабабушка истерически молились богу, чтобы тот убил беса, нагадившего на пол в кухне, и все это произносилось на коса, в моем уме это сохранилось на английском. Я помню это как разговор на английском.

Так что когда бы я ни ложился спать, мечтая о Бабики и вспоминая о тех моментах, которые мы провели вместе, я чувствовал, что это происходило на английском, потому что именно так это запомнил. А Том никогда не давал понять, на каком языке она говорит или не говорит, потому что – какая разница? Он всего лишь хотел получить свои бесплатные компакт-диски и поладить с ее сестрой. Вот так и получилось, что я больше месяца встречался с девушкой, которую считал своей первой подружкой, ни разу с ней не поговорив.

Теперь весь вечер был испорчен, и я увидел это с ее точки зрения. Мне стало абсолютно ясно, почему она не захотела выходить из автомобиля. Во-первых, она, возможно, не хотела идти со мной на выпускной бал. Вероятно, она задолжала Тому, а Том ведь мог уболтать кого угодно на что угодно. Во-вторых, я заставил ее целый час сидеть и ждать меня, и она разозлилась. А когда она села в машину и мы впервые оказались наедине, она поняла, что я даже не могу поддерживать с ней разговор. Я возил ее по городу и заблудился в темноте – молодая девушка одна в автомобиле непонятно где, с каким-то странным парнем, без малейшего представления о том, куда я ее везу. Она наверняка испугалась. Потом мы приехали на выпускной бал, а она не говорит ни на одном языке, на которых говорят другие. Она никого не знала. Она не знала даже меня!

Мы с Бонгани стояли у автомобиля, уставившись друг на друга. Я не знал, что делать. Я пытался поговорить с ней на всех языках, которые знал. Ничего не работало. Она говорила только на педи. Я был в таком отчаянии, что попытался поговорить с ней при помощи жестикуляции.

– Пожалуйста. Ты. Я. Внутрь. Бал. Да?

– Нет.

– Внутрь. Бал. Пожалуйста!

– Нет.

Я спросил Бонгани, говорит ли он на педи. Он не говорил. Конечно, не говорил, Бонгани был зулусом. Зулусы знамениты в ЮАР тем, что не учат другие языки, потому что являются крупнейшей группой. «К черту всех остальных. Мы говорим на зулу».

Зулусы знамениты в ЮАР тем, что не учат другие языки, потому что являются крупнейшей группой. «К черту всех остальных.

Мы говорим на зулу».

Я побежал внутрь, на бал, и бегал кругами, ища кого-нибудь, кто говорил бы на педи и помог бы мне убедить ее пойти. «Ты говоришь на педи? Ты говоришь на педи? Ты говоришь на педи?» Никто не говорил на педи.

В итоге я так и не пошел на свой выпускной. Не считая тех трех минут, что я провел, бегая по залу в поисках кого-нибудь, говорящего на педи, я провел всю ночь на стоянке. Когда выпускной вечер закончился, я снова забрался в чертову «Мазду» и повез Бабики домой. Всю дорогу мы сидели в полнейшей неловкой тишине.

Я остановился перед ее многоэтажкой в Хиллброу, заглушил мотор и минуту посидел, пытаясь придумать вежливый и джентльменский способ закончить этот вечер. Потом, ни с того, ни с сего, она нагнулась ко мне и поцеловала.

Да, это был настоящий поцелуй, правильный поцелуй. Тот поцелуй, который заставил меня забыть обо всей этой кошмарной, только что случившейся катастрофе. Я был очень смущен. Я не знал, что от меня ожидается. Она села на место, я заглянул ей в глаза и подумал: *«У меня нет ни малейших представлений о девушках».*

Я вышел из машины, обогнул ее и открыл дверцу. Она подобрала платье, вышла и пошла к своему дому, а когда она повернулась, чтобы уйти, я напоследок помахал ей.

– Бай! Пока.

– Бай.

Часть III

В ГЕРМАНИИ НИ ОДИН РЕБЕНОК НЕ ЗАКАНЧИВАЕТ СТАРШУЮ ШКОЛУ, не узнав о холокосте.

Не только о его фактах, но и о том, как и почему это произошло, о его серьезности – о том, что это значит. В результате немцы вырастают обладающими надлежащими знаниями и чувствующими свою вину.

В британских школах тем же образом рассказывают о колониализме (до определенных, впрочем, пределов). Их дети учат историю империи со своего рода предупреждением, растянутым над ней. «Да, это было постыдно, не так ли?»

В ЮАР о жестокостях апартеида никогда не рассказывали подобным образом. Нас не учили осуждению или стыду. Нас учили истории так, как ей учат в Америке.

В Америке историю расизма проходят как-то так: «Было рабство, а потом были законы Джима Кроу, а потом был Мартин Лютер Кинг, а теперь с этим покончено».

У нас было то же самое. «Апартеид был плохим. Нельсон Мандела был освобожден. Давайте двигаться дальше». Факты (и тех немного) и никакой эмоциональной или моральной оценки. Казалось, что учителя, которые до сих пор были преимущественно белыми, получили указание: «Что бы вы ни делали, не злите этих детей».

Глава 15

Давай, Гитлер!

Когда я был в девятом классе, в «Сэндрингхэм» перешли три ученика-китайца: Боло, Брюс Ли и Джон. Они были единственными китайчатами в школе, в которой учились 1100 детей. Боло получил свое прозвище, потому что был похож на Боло Йена из фильма с Жан-Клодом Ван Даммом «Кровавый спорт». Брюса Ли действительно звали Брюс Ли, что неизменно нас веселило. Вот перед вами этот парень-китаец, спокойный, симпатичный, в хорошей физической форме, и его зовут Брюс Ли. Мы думали что-то вроде «*Это волшебство. Спасибо, Иисус, что ты дал нам Брюса Ли*». Джон был просто Джоном, что тоже было странно – по сравнению с теми двумя.

Я знал Боло, потому что он был одним из моих клиентов в школьном буфете. Родители Боло были профессиональными пиратами. Они делали пиратские копии видеоигр и продавали их на блошиных рынках. Как сын пиратов, Боло делал то же самое: он начал продавать пиратские игры для «PlayStation» в школе. Дети давали ему свои «PlayStation», а он приносил их через несколько дней со встроенным чипом, позволявшим им играть в пиратские игры, которые он потом им продавал. Боло дружил с белым парнем, своим собратом-пиратом Эндрю, который торговал пиратскими компакт-дисками. Эндрю был на два класса старше меня и настоящим компьютерным гением. У него дома даже был CD-рекордер, в то время, когда CD-рекордеров не было ни у кого.

Однажды во время своих буфетных пробежек я подслушал, как Эндрю и Боло жалуются на черных детей в школе. Те поняли, что могут взять товар Эндрю и Боло, сказав «Я заплачу позже», а потом не платили, потому что Эндрю и Боло слишком боялись черных, чтобы подходить к ним и спрашивать о деньгах. Я вмешался в их разговор.

«Послушайте, – сказал я, – вы не должны расстраиваться. У черных нет денег, поэтому они пытаются получить как можно больше за меньшие деньги – именно так мы делаем. Но давайте я вам помогу. Я буду вашим посредником. Вы даете мне товар, я продаю его, а потом улаживаю проблему с получением денег. В обмен на комиссионные». Им сразу понравилась эта идея, и мы стали партнерами.

Как у парня из школьного буфета, у меня была идеальная позиция. У меня была готовая сеть. Все, что мне надо было, –

использовать ее. Благодаря деньгам, которые я зарабатывал продажей компакт-дисков и видеоигр, я мог копить и покупать детали и дополнительную память для собственного компьютера.

Эндрю был компьютерным фанатом, показавшим мне, как это делать, где покупать самые дешевые детали, как их собирать, как чинить. Он также продемонстрировал мне, как работает его бизнес, как скачивать музыку, где достать большую партию перезаписываемых компакт-дисков. Мне не хватало только одного – собственного CD-рекордера, потому что он был самой дорогой деталью. В то время CD-рекордер стоил столько же, сколько весь компьютер, почти 2000 рэндов.

Я год работал посредником у Боло и Эндрю. Потом Боло ушел из школы. Ходили слухи, что его родителей арестовали. С того времени я работал на Эндрю, который, когда почти закончил школу, решил прикрыть лавочку. «Тревор, – сказал он мне, – ты был верным партнером». И в благодарность он отдал мне свой CD-рекордер.

Начнем с того, что в то время у черных почти не было доступа к компьютерам. А CD-рекордер? Это было нечто из области преданий. Это было мифическим. Тот день, когда Эндрю мне его отдал, изменил мою жизнь. Благодаря ему я теперь контролировал производство, продажи, распространение – у меня было все необходимое, чтобы начать надежный пиратский бизнес.

Я был прирожденным капиталистом. Мне нравилось продавать, и я продавал то, что хотели все и что больше никто не мог предложить. Я продавал свои диски за 30 рэндов, около \$3. Обычный компакт-диск в магазине стоил от 100 до 150 рэндов. Если человек начинал покупать их у меня, он больше никогда не покупал официальные компакт-диски – предложение было слишком выгодным.

У меня было деловое чутье. Но в то время я ничего не знал о музыке, что странно для того, кто занимается пиратским ее распространением. Единственной музыкой, которую я знал, была христианская церковная музыка – единственное, что было разрешено в мамином доме.

CD-рекордер, который отдал мне Эндрю, был на один диск, а это значило, что он копировал на той скорости, на которой проигрывал. Каждый день я уходил из школы, шел в свою комнату и сидел по пять-шесть часов, копируя компакт-диски. У меня была собственная система объемного звучания, собранная из старых автомобильных колонок, которые я забрал из драндулетов отчима во дворе и расставил по комнате. И хотя я должен был там сидеть, пока играл каждый компакт-диск, долгое время я на самом деле их не слушал. Я знал, что это

соответствует правилам распространителя: никогда не используй собственный товар.

Благодаря Интернету я мог дать каждому, что угодно. Я никогда не судил чужие музыкальные вкусы. Хотите новую «Нирвану» – вот вам новая «Нирвана». Хотите нового DMX – вот вам новый DMX. Местная южноафриканская музыка пользовалась большой популярностью, но люди жаждали американскую музыку. Мои клиенты предпочитали в основном американскую «черную» музыку, много хип-хопа и эр-энд-би. Огромной популярностью пользовалась «Jagged Edge». Огромной популярностью пользовалась «112». Я продавал много Монтелла Джордана. Очень много Монтелла Джордана.

Когда я начинал, к Сети у меня был доступ по телефонному кабелю и модем 24k. Чтобы записать альбом, уходил день. Но технологии продолжали развиваться, а я продолжал инвестировать в бизнес. У меня появился модем 56k. Я приобретал более быстрые CD-рекордеры. Появились у меня CD-рекордеры на несколько дисков. Я начал скачивать больше, копировать больше, продавать больше.

Вот тогда у меня и появились два помощника – мой друг Том, который перешел в «Нортвью», и мой друг Бонгани, который жил в Александре.

Однажды Бонгани подошел ко мне и сказал: «Знаешь, на чем можно сделать много денег? Вместо того чтобы копировать целые альбомы, почему бы не записать лучшие треки из разных альбомов на один компакт-диск? Ведь люди всегда хотят слушать песни, которые им нравятся».

Это казалось великолепной идеей, так что я начал делать микшированные компакт-диски. Они хорошо продавались. Потом, через несколько недель, Бонгани снова пришел и сказал: «Ты можешь сделать так, чтобы один трек сливался с другим, так, чтоб музыка звучала от трека-1 до трека-2 без перерыва и ритм продолжался? Это будет так, словно диджей играет свою музыку всю ночь».

Это тоже казалось великолепной идеей. Я скачал программу под названием BPM, «beats-per-minute – ударов в минуту». Она обладала графическим интерфейсом, который выглядел как два расположенных рядом виниловых диска, и я мог микшировать песни и сливать их. В общем-то, это было тем, что диджеи делают вживую. Я начал делать компакт-диски для вечеринок, и они продавались, как горячие пирожки.

Бизнес процветал. К старшему классу я веселился вовсю, зарабатывая 500 рэндов в неделю. Чтобы было понятней, в ЮАР

есть служанки, которые до сих пор зарабатывают меньше. Это фиговая зарплата, если ты содержишь семью, но для шестнадцатилетнего, жившего в родительском доме, парня, у которого, в сущности, не было реальных расходов, это было ожившей мечтой.

Первые в жизни у меня были деньги, а ничто в мире не дает такую свободу, как деньги. Первое, что я узнал об обладании деньгами, – они дают тебе возможность выбора. Люди не хотят быть богатыми. Они хотят иметь возможность выбирать. Чем ты богаче, тем больше имеешь вариантов. Это – свобода денег.

Благодаря деньгам я узнал, что такое свобода, на абсолютно новом уровне: я ходил в «Макдоналдс». Живущие в Америке этого не поймут, но когда американская сеть открывается в стране третьего мира, люди сходят с ума. Это так и сегодня. «Burger King» впервые открылся в ЮАР в прошлом году^[12], и очередь растянулась на целый квартал. Это было событием. Все ходили и говорили: «Я должен поесть в «Burger King». Ты слышал? *Это из Америки*».

«Макдоналдс» открылся всего в двух кварталах от нашего дома вскоре после того, как мы переехали в Хайлендс-Норт, но мама не собиралась платить за то, чтобы мы там поели. Со своими собственными деньгами я подумал: *«Надо это сделать»*. Я пошел ва-банк. Тогда у них не было «супербольших» обедов, самым большим был «большой». Так что я подошел к кассе, сам от себя в восторге, достал деньги и сказал: «Большой номер один».

Первое, что я узнал об обладании деньгами, – они дают тебе возможность выбора.

Люди не хотят быть богатыми.

Они хотят иметь возможность выбирать.

Чем ты богаче, тем больше имеешь вариантов. Это – свобода денег.

Я влюбился в «Макдоналдс». Я считал, что у «Макдоналдса» был вкус Америки. «Макдоналдс» и есть Америка. Ты видишь его рекламу, и она замечательна. Ты жаждешь его. Ты покупаешь его. Ты откусываешь первый кусок и теряешь голову. Это даже лучше, чем ты представлял. Потом, съев половину, ты понимаешь, что он не вполне оправдывает ожидания. Еще через несколько кусков ты думаешь: «Гм. Здесь явно что-то не так». Потом ты заканчиваешь есть, скучаешь по нему, как сумасшедший, и приходишь снова.

Как только я почувствовал вкус Америки, я перестал есть дома. Я ел только в «Макдоналдсе». «Макдоналдс», «Макдоналдс», «Макдоналдс», «Макдоналдс». Каждый вечер мама старалась

приготовить мне ужин.

- Сегодня вечером у нас куриная печенка.
- Нет, я собираюсь пойти в «Макдоналдс».
- Сегодня вечером у нас «собачьи кости».
- Думаю, я снова пойду в «Макдоналдс».
- Сегодня вечером у нас куриные ножки.
- Гм... Ладно, буду. Но завтра я буду есть в «Макдоналдсе».

Количество денег продолжало увеличиваться, и я бесконтрольно отрывался. Вот до чего дошла моя способность спускать деньги: я купил беспроводной телефон. Это было еще до того, как у всех появились мобильники. Зона приема этого беспроводного телефона была достаточно большой для того, чтобы я ставил базу за окно, доходил пару кварталов до «Макдоналдса», заказывал свой «большой номер один», возвращался домой, шел в свою комнату и включал компьютер, все это время разговаривая по телефону. Я был таким парнем, идущим по улице с огромным телефоном с полностью вытянутой антенной у уха, болтающим с другом: «Да, я сейчас иду в “Макдоналдс”».

Жизнь была хороша, и ничего из этого не было бы, если бы не Эндрю. Если бы не он, я бы никогда не вошел в мир музыкального пиратства и не жил бы жизнью бесконечных «Макдоналдсов». То, что он делал (в небольшом масштабе), показало мне, как важно расширять возможности обездоленных и бесправных, оставшихся после угнетения.

Эндрю был белым. У его семьи был доступ к образованию, информации, компьютерам. В течение поколений, в то время как его соплеменники готовились к поступлению в университет, мои соплеменники теснились в соломенных хижинах, распевая *«Дважды два четыре. Трижды два шесть. Ля-ля-ля-ля-ля»*. Моя семья была лишена того, что для его семьи было самым собой разумеющимся. У меня был врожденный талант продавца, но куда этот талант без знаний и информации мог меня привести? Люди всегда втолковывают бедным: «Умейте за себя отвечать! Станьте кем-то!» Но благодаря каким исходным данным бедные могут кем-то стать?

Люди любят говорить: «Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Научи человека ловить рыбу, и он будет сыт всю жизнь». Но они умалчивают вот о чем: «И было бы прекрасно, если бы ты дал ему удочку». Именно эта часть аналогии упускается.

Работая с Эндрю, я впервые в жизни осознал, что необходимо, чтобы кто-нибудь из привилегированного мира подошел к тебе и сказал: «Так. Вот то, что тебе нужно, и вот как оно работает». Да,

я был прирожденным продавцом, я хорошо разбирался в компьютерах, у меня была предпринимательская жилка, но один только талант не привел бы меня никуда, если бы Эндрю не отдал мне CD-рекордер.

Люди говорят: «О, это халява». Нет. Для того чтобы получить доход, мне приходилось работать. Но без него у меня не было бы ни шанса.

Как-то днем я был в своей комнате, записывая компакт-диск, когда Бонгани пришел, чтобы забрать свой товар, и увидел, как я микширую песни на своем компьютере.

– Это сумасшествие, – сказал он. – Ты делаешь это вживую?

– Ага.

– Тревор, думаю, ты не понимаешь, но ты сидишь на золотой жиле. Нам надо делать это для зрителей. Тебе надо прийти в тауншип и устроить диджейское выступление. Никто никогда раньше не видел диджея, играющего на компьютере.

Бонгани жил в Александре. Если Соуэто был большим, спланированным правительством гетто, то Александра была крошечным компактным поселком из бараков, оставшимся от предшествующих апартеиду времен. Это были хибары из шлакоблоков и волнистого железа, практически поставленные друг на друга. Тауншип прозвали Гоморрой из-за самых диких вечеринок и худшей преступности.

Лучшим в Александре были уличные вечеринки. Вы брали палатку, ставили ее посреди дороги, захватывали улицу – вот вам и вечеринка. Никаких официальных приглашений и списков гостей: вы просто говорите нескольким людям, что устраиваете вечеринку. Эта новость передается из уст в уста, и приходит толпа.

Нет никаких разрешений, ничего подобного. Если у вас есть палатка, вы имеете право устроить вечеринку на своей улице. Автомобили подползают к перекрестку, водитель видит, что дорогу ему преграждает праздник, пожимает плечами и разворачивается. Никто не расстраивается. Единственное правило: если вы устраиваете вечеринку перед чьим-то домом, его обитатели имеют право прийти и пить ваш алкоголь. Такие праздники не кончаются, пока кто-нибудь не получит пулю или бутылка не разобьется о чью-нибудь голову. Так все обычно заканчивается – или это не вечеринка.

В те времена большинство диджеев могли выступать только несколько часов; они были ограничены количеством виниловых дисков, которые могли купить. А так как вечеринки продолжались всю ночь, могло понадобиться пять или шесть

диджеев, чтобы танцы не прекращались. Но у меня был объемный накопитель на жестких дисках, забитый МР3-файлами, вот почему Бонгани пришел в такой восторг, когда увидел, как я микширую. Он увидел способ захватить рынок.

– Сколько у тебя музыки? – спросил он.

– «Winamp» говорит, что могу играть неделю.

– Мы заработаем состояние.

Наше первое выступление состоялось на новогодней вечеринке в то лето, когда мы выпустились из «Сэндрингхэма». Мы с Бонгани взяли мой системный блок, мой огромный монитор и все провода, клавиатуру и мышь. Загрузили все это в микроавтобус и привезли в Алекс. Мы расположились на улице перед его домом, подключились к его электричеству, настроили компьютер, динамики, взяли напрокат палатку, и люди начали приходить.

Это был взрыв. К полуночи вся улица была забита, от одного конца до другого. Наша вечеринка в тот год была крупнейшей новогодней вечеринкой Александры, а организовать крупнейшую вечеринку в Александре – это не шутка. Люди продолжали приходить отовсюду всю ночь. Распространилась весть: «Есть светлокожий парень, который играет музыку на компьютере. Вы никогда не видели ничего подобного».

Я выступал в роли диджея до рассвета. К тому времени мы с друзьями были настолько пьяны и измотаны, что упали прямо на лужайке у дома Бонгани. Вечеринка была настолько большой, что немедленно создала нам репутацию во всем районе. Очень скоро все наше время было полностью зарезервировано.

И это было хорошо.

Когда мы с Бонгани закончили старшую школу, то не могли найти работу. Вакансий для нас не было. В школе для меня единственными способами заработать деньги были изготовление пиратских компакт-дисков и работа диджеем на вечеринках, а теперь, когда я выпустился из «Сэндрингхэма», единственным крупнейшим рынком для моих компакт-дисков были водители микроавтобусов и дети улиц в Александре. Так что для того, чтобы продолжать зарабатывать, я естественным образом стремился туда.

Большинство знакомых белых детей сделали перерыв на год. «Я собираюсь сделать перерыв на год и уехать в Европу». Вот что говорили белые дети. А я говорил: «Я тоже собираюсь сделать перерыв на год. Я собираюсь сделать перерыв на год и отправиться в тауншип. Ошиваться на улицах». И именно так я и сделал.

Перед домом Бонгани дорогу разделяла низкая кирпичная

стена, и мы с Бонгани и нашей командой сидели на этой стене. Я приносил свои компакт-диски. Я играл музыку и упражнялся в танцевальных движениях. Мы целыми днями продавали компакт-диски, а вечером устраивали диджейские вечеринки. Нас начали приглашать выступать в другие тауншипы, в другие районы.

Благодаря компьютеру и модему я доставал редкие треки, мало кому доступные. Но для меня это создало и проблему. Иногда на вечеринках я играл новую музыку, а люди стояли вокруг и говорили: «Что это? Как под это танцевать?» Например, если диджей играет песню вроде «Watch Me (Whip/Nae Nae)» – да, это привязчивая песня, но что такое «whip»? Что такое «нае нае»? Чтобы эта песня была популярной, надо знать, как делать «whip» и «нае нае».

Новая музыка «работает» на вечеринках только тогда, когда люди знают, как под нее танцевать. Бонгани решил, что нам нужны танцоры, которые показывали бы людям движения к тем песням, которые мы играли. Так как мы проводили наши дни, не занимаясь ничем, кроме прослушивания компакт-дисков и разучивания танцевальных движений, наша уличная команда уже знала все песни. Они-то и стали нашими танцорами. И, несомненно, лучшим, красивейшим и элегантнейшим танцором нашей команды был сосед Бонгани, Гитлер.

Гитлер был моим хорошим другом, и боже, как этот парень танцевал! От него невозможно было оторвать взгляд. Он обладал гибкостью и подвижностью, отрицающими законы физики: представьте медузу, если бы она могла ходить по земле. Он также был невероятно красивым, высоким, стройным и мускулистым, с красивой гладкой кожей, большими зубами и отличной улыбкой, он всегда смеялся. И все, что он делал, – танцевал. Он приходил утром, врубал хаус или хип-хоп и целый день оттачивал движения.

В районе все знали, кто был лучшим танцором в команде. Он словно был символом нашего статуса. Когда ты беден, у тебя нет автомобилей или красивой одежды. Но лучший танцор привлекает девушек, так что это – тот парень, с которым хотелось бы общаться. Гитлер был нашим парнем. Устраивались вечеринки с танцевальными конкурсами. Приходили ребята со всего района и приводили своих лучших танцоров. Мы всегда брали Гитлера, и он почти всегда побеждал.

«Я собираюсь сделать перерыв на год и уехать в Европу». Вот что говорили белые дети.

А я говорил: «Я тоже собираюсь сделать перерыв на

год. Я собираюсь сделать перерыв на год и отправиться в таунишп.

Ошиваться на улицах».

И именно так я и сделал.

Когда мы с Бонгани планировали выступление наших танцоров, не возникало вопроса, кто будет главной звездой. Мы строили вокруг Гитлера все выступление. Я разогревал зрителей несколькими песнями, потом выходили танцоры и исполняли пару номеров. Как только они понимали, что праздник по-настоящему начался, то расходились и образовывали полукруг вокруг сцены с промежутком сзади, откуда выходил Гитлер. Я ставил «Let's Get Dirty» Редмана и подогревал толпу еще больше. «Вы готовы? Не слышу вас! Покричите, чтобы я вас услышал!» Зрители начинали кричать, а Гитлер выпрыгивал в центр полукруга, и толпа слетала с катушек.

Гитлер выделял свои штучки, а парни окружали и подбадривали его. «Давай, Гитлер! Давай, Гитлер! Давай, Гитлер! Давай, Гитлер!» А так как это был хип-хоп, ребята делали такую вещь, когда ты вытягиваешь перед собой руку с растопыренными пальцами и двигаешь ею вверх и вниз под ритм. «Давай, Гитлер! Давай, Гитлер! Давай, Гитлер! Давай, Гитлер!» Вся толпа безумствовала, тысяча людей на улице выкрикивала, вскидывая вверх руки: «Давай, Гитлер! Давай, Гитлер! Давай, Гитлер!»

...

Гитлер – имя, конечно, необычное. Но для ЮАР оно таким уж небывалым не является. Отчасти это объясняется тем, как многие черные выбирают имена. Черные выбирают свои традиционные имена с большой осторожностью. Для них имена имеют глубоко личное значение. Но с колониальных времен и все дни апартеида от черных в ЮАР требовалось, чтобы у них были не только традиционные, на своем языке, но и английские или европейские имена, то есть имена, которые могли произнести белые. Так что у тебя было английское имя, традиционное имя и фамилия. Моя мама – Патрисия Номбуйисело Ной.

В девяти из десяти случаев европейское имя выбиралось наобум, бралось из Библии, заимствовалось у голливудской знаменитости или известного политика, мелькавшего в новостях. Я знал ребят, названных в честь Муссолини и Наполеона. И конечно, Гитлера.

Жителей западных стран это шокирует или смущает, но на

самом деле это тот случай, когда Запад пожинает то, что посеял. Колониальные силы разделили Африку, заставили черных работать и не дали им нормального образования. Белые не говорят с черными. Так откуда черным знать, что происходит в мире белого человека? Из-за этого многие черные в ЮАР на самом деле не знают, кем был Гитлер.

Мой дедушка думал, что «гитлер» был армейским танком, который помогал немцам побеждать в войне. Потому что именно это он понял из того, что слушал в новостях. Для многих черных южноафриканцев история войны заключалась в том, что был кто-то по имени Гитлер, и он был причиной того, что союзники проигрывали войну. Этот Гитлер был таким сильным, что в какой-то момент черным пришлось отправиться помогать белым людям воевать с ним. А если белому человеку пришлось унизиться и попросить черного помочь с кем-то воевать, этот кто-то должен быть сильнейшим парнем всех времен.

Так что, если ты хочешь, чтобы твоя собака была сильной, назови ее Гитлером. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок был сильным, назови его Гитлером. Вот поэтому шансы на то, что у вас есть дядя по имени Гитлер, велики. Все очень просто.

Я знал ребят, названных в честь Муссолини и Наполеона. И, конечно, Гитлера.

Жителей западных стран это шокирует или смущает, но на самом деле это тот случай, когда Запад пожинает то, что посеял.

В «Сэндрингхэме» нам рассказывали о Второй мировой войне больше, чем обычным черным детям в тауншипах, но только в общих чертах. Нас не учили критически мыслить о Гитлере, антисемитизме и холокосте. Нам, например, не рассказывали о том, что создатели апартеида были большими поклонниками Гитлера, что реализованная ими расистская политика была частично заимствована у расистской политики Третьего рейха. Нас не учили думать о том, как Гитлер связан с тем миром, в котором мы жили. Нас вообще не учили думать, точка. Нам рассказывали только о том, что в 1933 году Гитлер вторгся в Польшу, в 1941 году он вторгся в Советский Союз, а в 1943-м сделал что-то еще. Это были просто факты. Запомните их, напишите на контрольной и забудьте.

Надо иметь в виду и следующее: имя Гитлер не оскорбляло черных южноафриканцев, потому что Гитлер не был худшим из того, что могли представить себе черные южноафриканцы. Каждая страна считает, что ее история – самая важная, и это особенно касается Запада. Но если бы черные южноафриканцы

могли вернуться назад во времени и убить одного человека, это был бы не Гитлер, а Сесиль Родс. Если бы жители Конго могли вернуться назад во времени и убить одного человека, это был бы не Гитлер, а бельгийский король Леопольд. Если бы индейцы могли вернуться назад во времени и убить одного человека, это, вероятно, был бы Христофор Колумб. Или Эндрю Джексон^[13].

На Западе я часто встречаюсь с людьми, которые настаивают, что холокост, без всяких сомнений, был самым большим зверством в истории человечества. Да, он был ужасен. Но я часто задумываюсь: если взять зверства в Африке, например в Конго, насколько ужасающими были они?

Единственное, что отличает африканцев от евреев, так это то, что у них нет документальных подтверждений. Нацисты тщательно вели записи, делали фотографии, снимали фильмы. И вопрос действительно сводится к этому. Жертвы холокоста поддаются счету, потому что Гитлер их считал. Было убито шесть миллионов человек. Мы все можем увидеть эти цифры и по-настоящему ужаснуться.

Но если знакомиться с историей зверств против африканцев, вы не увидите никаких цифр, только предположения. Предположению труднее ужаснуться. Когда португальцы и бельгийцы занимались разграблением Анголы и Конго, они не считали, скольких черных они убили. Сколько черных умерло, собирая каучук в Конго? Сколько на золотых и алмазных шахтах Трансвааля?

Так что в Европе и Америке Гитлер, да, является величайшим безумцем в истории. В Африке он всего лишь один из влиятельных людей из исторических книг. За все то время, что я провел, общаясь с Гитлером, я ни разу не задал себе вопрос: «Почему его зовут Гитлер?» Его звали Гитлер, потому что его мама назвала его Гитлером.

Как только мы с Бонгани ввели в наши диджейские выступления танцоров, мы приобрели мгновенную популярность. Мы назвали нашу группу «Черный и белый парень». наших танцоров мы назвали «Парни-антилопы». нас начали приглашать повсюду. Успешные черные родители переехали в предместья, но их дети все так же хотели вечеринок в кварталах и не теряли связи с культурой тауншипов, так что они приглашали нас на свои вечеринки. Молва расходилась. Вскоре мы все чаще и чаще выступали в предместьях, встречаясь с белыми, играя для белых.

Мы знали одного парня из тауншипа, его мать участвовала в создании культурных программ для школ. В Америке они бы назывались «программами равноправия». Они появлялись по всей

ЮАР, так как предполагалось, что мы должны узнать друг о друге и объединиться в эту эпоху после апартеида. Мама парня спросила нас, не хотим ли мы сыграть на дне культуры в одной из школ в Линксфилде – богатом предместье к югу от «Сэндрингхэма», где жил мой приятель Тедди. Там должны были быть самые разнообразные танцы и музыка, и все должны были сплотиться, отдыхать и быть культурными. Она предложила заплатить, и мы, конечно, согласились. Она прислала нам информацию о времени и месте и название школы: «Школа царя Давида». Еврейская школа.

Жителей западных стран это шокирует или смущает, но на самом деле это тот случай, когда Запад пожинает то, что посеял.

Белые не говорят с черными.

Так откуда черным знать, что происходит в мире белого человека? Из-за этого многие черные в ЮАР на самом деле не знают, кем был Гитлер.

В день мероприятия мы забронировали микроавтобус, загрузили свое снаряжение и отправились. Когда мы приехали, то ждали в дальнем конце школьного актового зала и смотрели на тех, кто выходил на сцену перед нами. Это были различные группы, выступавшие друг за другом: танцоры фламенко, греческие танцоры, традиционные зулусские музыканты.

Потом вышли мы. Нас представили как «Hip Hop Pantsula Dancers», южноафриканских би-боев. Я огляделся и увидел, что зал был забит еврейскими детьми в их ермолках, готовыми повеселиться.

Я взял микрофон.

– Вы готовы отрываться?!

– Да-а-а-а-а-а!

– Пошумите!

– Да-а-а-а-а-а!

Я начал играть. Басы бумкали, команда танцевала, и все прекрасно проводили время. Учителя, наставники, родители, сотни детей – все танцевали, как сумасшедшие. Наше выступление должно было продолжаться пятнадцать минут, и по достижении десятиминутной отметки наступал момент, когда я должен был поставить «Let's Get Dirty», вывести танцора-звезду и закруглиться.

Я начал песню, танцоры разошлись полукругом, и я взял микрофон.

– Парни, вы готовы?!

– Да-а-а-а-а-а!

– Парни, вы не готовы! Вы *готовы*?!
– Да-а-а-а-а-а-а-а-а!
– Отлично! Поаплодируем и покричим: «*Ги-и-т-т-т-л-л-л-е-е-е-р-р-р-р*»!!!

Гитлер выскочил в середину круга и начал выделяться. Все парни вокруг него выкрикивали: «*Давай, Гитлер! Давай, Гитлер! Давай, Гитлер! Давай, Гитлер!*» Они вытянули руки перед собой, подпрыгивая в ритм. «*Давай, Гитлер! Давай, Гитлер! Давай, Гитлер! Давай, Гитлер!*» А я держал микрофон, задавая им темп. «*Давай, Гитлер! Давай, Гитлер! Давай, Гитлер! Давай, Гитлер!*»

Весь зал замер. Никто не танцевал. Учителя, наставники, родители, сотни еврейских детей в их ермолках – все они замерли и в ужасе уставились на нас, стоявших на сцене. Я не обратил на это внимания. Не заметил этого и Гитлер. Мы продолжали. Добрых тридцать секунд единственными звуками в зале был музыкальный ритм и я, выкрикивающий в микрофон: «*Давай, Гитлер! Давай, Гитлер! Давай, Гитлер! Поднимите руки вверх за Гитлера, йоу!*»

Учительница подбежала ко мне сзади и выдернула вилку системы из розетки. В зале царила гробовая тишина, а она повернулась ко мне и была мертвенно-бледной. «Как ты осмелился?! Это отвратительно! Ты ужасное, отвратительное, мерзкое создание! Как ты осмелился?!»

Мои мысли скакали, я пытался понять, о чем она говорит. Потом до меня дошло. У Гитлера было особое танцевальное движение под названием *usspanavaal*. Оно означает «где ты работаешь» и было очень сексуальным: его бедра вращались и двигались так, словно он трахал воздух. Именно это движение он делал в тот момент, когда подбежала учительница, так что, очевидно, именно танец она сочла отвратительной вещью. Но это было движением, которое африканцы делают все время. Это часть нашей культуры. И здесь мы делились своей культурой в день культуры, а эта женщина назвала нас отвратительными. Она была оскорблена, а я был оскорблен тем, что она оскорбилась.

– Леди, – сказал я, – думаю, вам надо успокоиться.

– Я *не* успокоюсь! Как вы осмелились прийти сюда и оскорблять нас?!

– Это никого не оскорбляет. Это то, какие мы есть!

– Убирайтесь отсюда! Вы отвратительны.

Такие дела. *Вы*. Теперь я понял, в чем дело: леди была расисткой. Она не могла видеть, как черные танцуют с намеком, и не рассердиться. Я начал упаковывать свое оборудование и продолжал спорить.

– Послушайте, леди. Мы теперь свободные. Мы собираемся

делать то, что хотим делать. Вы не сможете остановить нас.

– Хочу вам сказать, что мой народ когда-то остановил таких людей, как вы, и мы сможем остановить вас снова.

Разумеется, она говорила о том, что нацистов остановили во время Второй мировой войны, но это было не то, что я слышал. Евреи в ЮАР были всего лишь белыми людьми. Все, что я слышал, так это то, что какая-то белая леди кричит о том, как белые люди победили нас когда-то и они победят нас снова. Я сказал: «Вы *никогда* не остановите нас снова, леди». А потом я вынул козырь: «Вы никогда не остановите нас, потому что теперь у нас есть *Нельсон Мандела*. Он на нашей стороне! И он *сказал* нам, что мы можем это делать».

– *Что?!*

Она была так ошарашена. Я сделал это. Я начал ругаться на нее: «К черту вас, леди. К черту вашу программу. К черту вашу школу. К черту вас всех. Пойдемте, ребята! Мы уходим».

Мы не вышли из этой школы, мы ушли, танцуя. Мы танцевали на улице, потрясая кулаками в воздухе. «*Давай, Гитлер! Давай, Гитлер! Давай, Гитлер! Давай, Гитлер!*» Потому что Гитлер отрывался. Гитлер исполнял самые бандитские танцевальные движения, а эти белые люди не понимали, что с ними произошло.

АЛЕКСАНДРА БЫЛА ФЕРМОЙ, ПЕРВОНАЧАЛЬНО НАЗВАННОЙ в честь жены белого человека, который ею владел. Как Софиятаун и другие черные поселки, расплотившиеся в белых районах до апартеида, Александра начала свою жизнь как самовольное поселение, где местные собирались и жили, когда приезжали в Йоханнесбург искать работу.

В Алексе уникальным было то, что тот фермер продал участки земли нескольким черным арендаторам до того, как владение земельной собственностью стало для черных незаконным. Так что в то время, когда Софиятаун и другие черные гетто сносились и перестраивались, чтобы стать белыми предместьями, Алекс боролась и держалась и – отстояла свое право на существование. Вокруг нее выросли такие богатые белые пригороды, как Сэндтон, но Алекс сохранилась. Поселенцы прибывали и прибывали, самовольно возводя лачуги и хибары. Они выглядели, как трущобы в Мумбаи или фавелы в Бразилии. Когда я впервые увидел фавелы в Рио, то сказал: «Да, это Александра, но на холме».

Соуэто был прекрасен, потому что после наступления демократии вы видели, как Соуэто растет.

Соуэто стал настоящим самостоятельным городом. Люди переезжали из трехкомнатных домов в пятикомнатные дома, а потом в дома с тремя спальнями и гаражами. Было, куда расти, потому что кусок земли, отведенный правительством, давал место для строительства. Александра не могла этого сделать. Алекс не могла стать больше, потому что была зажата со всех сторон, и она не могла застраиваться, потому что там не было ничего, кроме хибар.

Когда наступила демократия, в Алекс хлынули люди из хоумлендов. Они строили новые лачуги на задних дворах других лачуг, а к задним стенам этих лачуг пристраивались другие лачуги. Здесь становилось все теснее и сдавленное – почти 200 000 человек живут на нескольких квадратных километрах. И если вернуться туда сегодня, Алекс не изменилась. Она не может измениться. Изменение для нее физически невозможно. Она может быть только тем, чем является.

Глава 16

«Сырный парень»

Мой друг Бонгани был низким, лысым, очень накачанным парнем. Он не всегда был таким. Всю свою жизнь он был худым, а потом ему в руки попал посвященный бодибилдингу журнал, который изменил его жизнь. Бонгани всегда был популярен, но его репутация действительно пошла на взлет, когда он победил одного из самых печально знаменитых школьных задир. Это упрочило его статус своего рода лидера и защитника ребят из тауншипа.

Бонгани был одним из тех людей, которые пробуждают в каждом лучшее. Он был тем другом, который верил в тебя и видел в тебе потенциал, которого не видел никто другой. Вот почему он притягивал такое количество ребят из тауншипов, и вот почему он так притягивал меня.

Бонгани жил в Алексе, но я никогда не приходил к нему туда, пока мы учились в школе, он всегда приходил ко мне домой в Хайлендс-Норт. Я несколько раз был в Алексе, забегая к кому-то ненадолго, но не проводил там много времени. Я никогда не был там вечером, скажем так. Поехать в Алекс днем – это совсем не то, что поехать туда вечером. По этой причине это место прозвали Гоморрой.

Однажды после школы, незадолго до выпускного, Бонгани подошел ко мне в школьном дворе.

– Эй, пойдём-ка на «район», – сказал он.

– На «район»?

Сначала я не понял, о чем он говорит. Я знал слово «район» из рэперских песен и знал различные тауншипы и гетто, где жили черные, но, говоря о них, не использовал это слово.

Стены апартеида падали в то время, когда стремительную популярность набирал американский хип-хоп, и хип-хоп сделал крутым то, что ты «из района». До этого жизнь в тауншипе была тем, чего стыдились, это было самое днище. А потом мы увидели такие фильмы, как «*Ребята с улицы*» и «*Угроза обществу*», и они сделали «район» крутым. Персонажи из фильмов, из песен этим наслаждались.

Ребята в тауншипах начали поступать точно так же, они носили это, как почетный знак: ты больше не из тауншипа, ты – с района. Если ты был из Алекс, это повышало твой уличный авторитет больше, чем если ты жил в Хайлендс-Норте. Так что, когда Бонгани сказал: «Пойдем-ка на «район», – мне было

любопытно, что он имеет в виду. Мне захотелось пойти и узнать.

Когда Бонгани взял меня в Алекс, мы попали туда, как большинство, – со стороны Сэндтона. Ты проезжаешь через один из самых богатых районов Йоханнесбурга, мимо огромных роскошных особняков и огромных денег. Потом ты проезжаешь через промышленный район Уинберг, отделяющий богатых и белых от бедных и черных. У въезда в Алекс находится огромная стоянка микроавтобусов и автостанция под открытым небом. Это та самая шумная, хаотичная базарная площадь, которую можно увидеть в фильмах про Джеймса Бонда и Джейсона Борна. Это прямо-таки Центральный вокзал Нью-Йорка, но без здания. Все перемещается. Все находится в движении. Кажется, что вчера здесь ничего этого не было, кажется, что завтра ничего этого здесь не будет. Но каждый день все выглядит в точности так же.

Разумеется, прямо у стоянки микроавтобусов находится «KFC»^[14]. В ЮАР неизменно одно: там всегда есть «KFC». «KFC» кормит черных. «KFC» никогда не обманывал. Они появились в районах раньше «Макдоналдса», раньше «Burger King», раньше всех остальных. «KFC» был чем-то вроде «Йоу, мы здесь для вас».

Как только ты проходишь мимо стоянки микроавтобусов, ты оказываешься в самой Алекс. Я знал мало мест, настолько наэлектризованных, как Алекс. Это муравейник с постоянной человеческой активностью, весь день, люди приходят и уходят, гангстеры спешат, уличные парни бездельничают, дети бегают вокруг. Всей этой энергии некуда деваться, нет и механизма ее рассеивания, так что временами она прорывается невероятными актами насилия и сумасшедшими вечеринками. Только что это был спокойный день, люди отдыхали, занимались своими делами, а в следующий момент появляется полицейский автомобиль, преследующий гангстеров и несущийся по улицам, начинается перестрелка, над головой кругами летают вертолеты. А через десять минут – словно ничего и не было, все продолжают отдыхать, суетиться, приходить и уходить, бегать вокруг.

Стены апартеида падали в то время, когда стремительную популярность набирал американский хип-хоп, и хип-хоп сделал крутым то, что ты «из района».

До этого жизнь в тауншипе была тем, чего стыдились, это было самое днище.

В Александре – сетчатая планировка улиц. На улицах асфальт лежал на мостовых, на тротуарах в основном нет. Цветовая гамма – шлакобетонные блоки и волнистое железо, серый и темно-серый, перемежаемые яркими цветовыми пятнами. Эти

пятна – вот что. Кто-то покрасил стену в желто-зеленый цвет, или висит ярко-красная вывеска торгующего на вынос кафе, или, может быть, кому-то удалось раздобыть ярко-синий кусок листовой стали. Если говорить об элементарной санитарии, то ее почти не было. Мусор громоздился повсюду, подожженный мусор обычно несло ветром по какому-нибудь переулку. В районе все время что-то горело.

Когда ты идешь, ты чувствуешь все запахи, какие только можно себе представить. Люди готовят, едят на улицах купленное на вынос. Некоторые семьи жили в лачугах-временках, пристроенных позади других хижин, и у них не было водопровода, так что они мылись в лохани, водой, которую набирали из уличной колонки, а потом грязную выливали прямо на улицу. И эти ручейки бежали, сливаясь в реку сточной воды, которая и без того была полноводной, так как канализационная система опять забилась. Допустим, парень чинит автомобили, считая, что знает, что делает (хотя на самом деле это не так). Он сливает отработанное моторное масло на дорогу, и теперь масло соединяется с грязной сточной водой, и грязная река течет дальше по улице.

Вероятно, поблизости ошивается коза – там всегда есть коза. Когда вы идете, вас затопляют звуки, постоянный шум человеческой деятельности, люди, разговаривающие на десятке разных языков, болтают, торгуются, спорят. Постоянно играет музыка. Вы слышите традиционную южноафриканскую музыку, гремющую на одном угле, на другом – орущую Долли Партон, а кто-то проезжает мимо, включив во всю мощь Notorious B.I.G.

Район был для меня абсолютной сенсорной перегрузкой, но в этом хаосе был свой порядок – система, социальная иерархия, базировавшаяся на том, где ты живешь. Первая авеню была совсем не крутой, потому что находилась прямо у суматохи стоянки микроавтобусов. Вторая авеню была красивой, потому что там были почти настоящие дома, построенные в то время, когда здесь все еще был своего рода официальный поселок. Третья, Четвертая и Пятая авеню были еще привлекательней, с точки зрения тауншипа. Там жили состоятельные семьи, унаследовавшие деньги. Потом, начиная с Шестой авеню и дальше, становилось дерьмовей, появлялось больше хибар и лачуг. Было несколько школ, несколько футбольных полей.

Была и пара хостелов – гигантские сооружения, построенные правительством для проживания рабочих. Вам бы не хотелось туда попасть. Именно там обитали настоящие бандиты. Единственной причиной прийти туда могло быть желание приобрести автомат Калашникова.

После Двадцатой авеню вы доходили до реки Джаксей, и на другой стороне, если пройти по мосту Рузвельт-стрит, был Ист-Бэнк, самая новая и привлекательная часть района. Ист-Бэнк был тем местом, где вмешалось правительство, убрав самовольных поселенцев и их лачуги и начав строить приличные дома.

Конечно, это было жильем эконо-класса, но все же – нормальными домами с двумя спальнями и крошечными дворами. У живших здесь семей было немного денег, и они обычно отправляли детей из «района» в школы получше, например «Сэндрингхэм».

Родители Бонгани жили в Ист-Бэнке, на углу Рузвельт-стрит и Спрингбок-Кресент, и, пройдя от стоянки микроавтобусов через «район», мы оказались там и расположились у его дома на низкой кирпичной стене, перегораживающей посередине Спрингбок-Кресент, ничего не делая, просто болтая. Тогда я этого еще не знал, но следующие три года своей жизни я проведу, ошиваясь на этом самом месте.

Когда мне было семнадцать лет, я закончил старшую школу, и к этому времени моя жизнь дома стала отвратительной из-за отчима. Я больше не хотел там находиться, и мама согласилась, что мне стоит переехать. Она помогла мне перебраться в дешевую квартиру с тараканами в здании вниз по улице. Моим планом (в той мере, в какой он у меня был) было поступить в университет и стать программистом, но мы не могли позволить себе платить за обучение. Мне надо было зарабатывать. Единственным способом заработка, который я знал, была продажа пиратских компакт-дисков, а одним из лучших мест для их продажи был «район», потому что там была стоянка микроавтобусов. Водители микроавтобусов всегда искали новые песни, потому что хорошая музыка была одним из способов привлечения клиентов.

Еще одной привлекательной стороной «района» была его невероятная дешевизна. Там можно было приобрести все, что угодно, почти даром. Можно было купить еду под названием *kota*. Это – четверть буханки хлеба. Мякиш выскребывался, вместо него клали жареные помидоры, кусок болонской колбасы и немного приправы из маринованного манго, которая называлась *achar*. Это стоило пару рэндов. Чем больше у вас было денег, тем лучшую порцию вы могли покупать. Если денег было немного больше, туда можно было положить горячую сосиску. Если денег было еще больше, туда можно было положить хорошую сосиску, типа сардельки, или даже жареное яйцо. Самый большой вариант, со всеми ингредиентами, мог бы насытить троих человек.

*В ЮАР неизменно одно: там всегда есть «KFC».
«KFC» кормит черных. «KFC» никогда не обманывал.
Они появились в районах, раньше всех остальных.
«KFC» был чем-то вроде «Йоу, мы здесь для вас».*

Для нас максимальным усовершенствованием было добавить кусок сыра. Сыр всегда считался лучшим, потому что был очень дорогим. Забудьте о золотом стандарте – «район» всегда оперировал сырным стандартом. Сыр на чем-нибудь говорил о деньгах. Если ты покупал бургер, это было круто, но если ты покупал чизбургер, это означало, что у тебя больше денег, чем у парня, купившего всего лишь гамбургер. Бутерброд с сыром, сыр в твоём холодильнике – это означало, что ты живёшь хорошей жизнью. В любом тауншипе в ЮАР, если у тебя было немного денег, люди говорили: «О, да ты сырный парень!» Проще говоря – ты действительно не «с района», потому что у твоей семьи достаточно денег, чтобы покупать сыр.

В Александре Бонгани и его компания считались сырными парнями, потому что жили в Ист-Бэнке. По иронии судьбы, так как они жили на первой улице сразу за рекой, на них смотрели свысока – как на отребье Ист-Бэнка. И ребята, жившие в лучших домах дальше в Ист-Бэнке, были более сырными парнями.

Впрочем, Бонгани и его компания никогда не признавали, что являются сырными парнями. Они твердили: «Мы не сырные. Мы с «района»». Но тогда настоящие ребята с района говорили: «Эй, да вы не с «района». Вы сырные». «Мы не сырные, – говорили ребята Бонгани, указывая на дальние улицы Ист-Бэнка. – Это они сырные». Шли постоянные смехотворные разборки о том, кто – с «района», а кто – сырный.

Бонгани был лидером своей компании, парнем, который может всех собрать и устроить движуху. Ещё был Мзи, подпевала Бонгани. Мелкий парнишка, хотевший упасть на хвост, быть в тусовке.

Другой паренек, Бхеки, отвечал за напитки, он всегда находил для нас алкоголь и придумывал повод выпить. Потом был Какоатсе. Мы называли его «Джи – мистер Красивый парень». Все, что интересовало Джи, – это женщины. Если в тусовке участвовали женщины, он был в деле. И наконец, был Гитлер – жизнь вечеринок. Гитлер просто хотел танцевать.

Когда апартеид закончился, сырные парни оказались в невероятно трудной ситуации. Одно дело родиться в «районе» и знать, что ты никогда отсюда не уедешь. Но сырному парню показали внешний мир. У его семьи дела идут хорошо. У них есть дом. Они отправили его в хорошую школу. Возможно, он даже

поступил в высшее учебное заведение. У него был большой потенциал, но ему не дали больше возможностей. Ему дали познакомиться с миром, который где-то там, но не дали пути добраться до него.

Во время апартеида в ЮАР был очень низкий уровень безработицы. На самом деле это было рабство – вот что можно сказать о работе большинства. Когда наступила демократия, все должны были получить минимальную заработную плату. Стоимость труда возросла, и – миллионы людей неожиданно лишились работы. Уровень безработицы среди молодых черных мужчин после апартеида взлетел на неимоверную высоту, иногда достигая 50 процентов.

Вот что случилось со многими парнями: они закончили старшую школу, не могли позволить себе учиться в университете, а работу даже в мелких компаниях найти было трудно, если ты из «района» и выглядишь и разговариваешь определенным образом. Так что для многих молодых мужчин в тауншипах ЮАР свобода выглядела примерно так. Каждое утро они вставали, их родители, возможно, шли на работу, а может быть, и нет. Потом они шли на улицу и целый день там ошивались, болтая ни о чем. Они были свободны, их научили, как ловить рыбу. Но никто не собирался давать им удочку.

Одной из первых вещей, которые я понял в «районе», было то, что между мирами законным и криминальным была очень тонкая грань. Нам нравится верить, что мы живем в мире хороших парней и плохих парней, и в предместьях в это легко поверить, потому что в предместьях трудно быть знакомым с закоренелым преступником. Но потом ты идешь в «район» и видишь между этими крайностями множество оттенков.

В «районе» гангстеры были вашими друзьями и соседями. Вы их знали. Вы болтали с ними на углу, видели их на вечеринках. Они были частью вашего мира. Вы знали их еще до того, как они стали преступниками. Это было не так: «Эй, это наркоторговец». Это было: «О, малыш Джимми теперь торгует наркотиками».

Станным было то, что все они, на первый взгляд, были одинаковыми. Они ездили на одинаковых красных спортивных машинах. Они встречались с одинаковыми красивыми восемнадцатилетними девушками. Это было странно. Казалось, что у них нет личностей, они разделяли одну личность. Один мог быть другим, а другой мог быть первым. Каждый из них научился, как быть *таким* преступником.

В «районе», даже если ты не закоренелый преступник, преступность так или иначе присутствует в твоей жизни. Есть

разные степени криминала. Это кто угодно – от матери, подбирающей еду, которая выпала из кузова грузовика, чтобы накормить свою семью, до банд, продающих боевое оружие и военную технику. «Район» заставил меня понять, что преступность процветает, потому что преступность делает то, что не делает правительство: преступность заботится. Преступность возникает в народе. Преступность присматривает за молодыми ребятами, нуждающимися в поддержке и руке помощи. Преступность предлагает практические программы и работу в летние каникулы. И возможности продвижения. Преступность принимает участие в жизни общины. Преступность не дискриминирует.

Моя преступная жизнь началась с малого, с продажи пиратских компакт-дисков на углу. Это само по себе было преступлением, и сегодня я чувствую себя так, словно задолжал всем этим авторам и исполнителям деньги за украденную у них музыку. Но по стандартам «района» это даже не считалось незаконным. В то время никому из нас не приходило в голову, что мы делаем что-то плохое: если копировать компакт-диски нельзя, зачем же тогда делают CD-рекorderы?

Гараж дома Бонгани выходил на Спрингбок-стрит. Каждое утро мы открывали двери, протягивали оттуда на улицу удлинитель, ставили стол, а потом играли музыку. Люди подходили и спрашивали: «Что это? Можно мне один?» Наш угол также был тем местом, где водители микроавтобусов заканчивали маршруты и разворачивались, чтобы вернуться на стоянку. Они подходили, делали заказ, возвращались, забирали. Мы целый день проводили, выбегая к ним, возвращаясь в гараж, чтобы сделать больше записей, а потом обратно, чтобы их продать.

За углом был переделанный грузовой контейнер, там мы и ошивались, когда нам надоедала стена. Внутри был установлен таксофон, и мы звонили людям. Если дела шли не очень, мы бродили туда-сюда между контейнером и стеной, болтая и общаясь с другими людьми, которым тоже нечем было заняться посреди дня. Мы болтали с распространителями наркотиков, мы болтали с гангстерами. То и дело с шумом проносились полицейские. Это – день жизни в «районе». На следующий день – то же самое.

Продажи постепенно росли, потому что Бонгани умел видеть все возможности и знал, как их использовать. Как и Том, Бонгани был ловкачом. Но там, где Том мог провернуть только быстрое дельце, у Бонгани были схемы: если мы сделаем это, то получим то. Потом полученное то мы сможем обменять на другую вещь, которая даст нам возможность получить больше прибыли. А

прибыль нам нужна для приобретения чего-то большего.

Например, некоторые водители микроавтобусов не могли заплатить сразу. «У меня нет денег, я только что начал смену, – говорили они. – Но мне нужна музыка. Ребята, я могу взять в кредит и быть вам должным? Например, я буду должен вам поездку. Я заплачу вам в конце смены, в конце недели». Так что мы стали разрешать водителям покупать в кредит, получая добавок небольшие дополнительные услуги.

Мы начали зарабатывать больше денег. Никогда не больше нескольких сотен, возможно, тысячу рэндов за раз, но все это было живыми деньгами. Бонгани быстро понял, какое положение мы занимали. Наличные были единственным, в чем нуждались все в «районе». Все искали краткосрочную ссуду для чего-либо – чтобы оплатить счет, или заплатить штраф, или просто какое-то время продержаться. Люди начали подходить к нам и просить денег. Бонгани договаривался, а потом подходил ко мне. «Йоу, мы собираемся заключить сделку с этим парнем. Мы одолжим ему сотню, а в конце недели он отдаст нам сто двадцать». Я соглашался. Потом парень возвращался и отдавал нам 120 рэндов. Потом мы делали это снова. Потом мы стали делать это чаще. Мы стали удваивать наши деньги, потом утраивать.

Наличные также давали нам возможность получить прибыль в бартерной экономике «района». Всем известно, что, если ты стоишь на углу главной улицы в «районе», кто-нибудь попытается тебе что-нибудь продать. «Йоу, йоу, йоу, парень. Хочешь немного травки?» «Хочешь купить видеомаягнитофон?» «Хочешь купить DVD-плеер?» «Йоу, я продаю телевизор». Вот как это работает.

Скажем, мы видели двух парней, торговавшихся на углу, наркомана, пытавшегося продать DVD-плеер, и какого-то работягу, который хотел его купить, но у него не было денег, так как зарплату он еще не получил. Они препирались, но наркоман хотел деньги вперед. Наркоманы не могут ждать. У наркомана не может быть никаких отложенных выплат. Так что Бонгани вмешивался и отводил в сторону работягу.

– Слушай, я понимаю, что ты сейчас не можешь заплатить за DVD-плеер, – говорил Бонгани. – Но сколько ты хочешь заплатить за него?

– Я заплачу сто двадцать, – отвечал тот.

– Ладно, классно.

Потом Бонгани отводил в сторону наркомана.

– Сколько ты хочешь за DVD-плеер?

– Я хочу сто сорок.

– Ладно, послушай. Ты наркоман. Этот DVD-плеер ворованный. Я дам тебе пятьдесят.

Наркоман немного спорил, но потом брал деньги, потому что он наркоман, а это – наличные, и его сейчас интересовал только наркотик. Потом Бонгани возвращался к работе.

– Ладно. Договариваемся на ста двадцати. Вот DVD-плеер. Он твой.

– Но у меня нет ста двадцати.

– Ну и классно. Ты можешь взять его сейчас, только вместо ста двадцати ты отдашь нам сто сорок, когда получишь зарплату.

– Хорошо.

Таким образом мы отдали наркоману 50 рэндов, и это принесло нам 140 рэндов от работы. Но Бонгани видел способ изменить это и сделать еще выгоднее. Скажем, тот парень, который купил DVD-плеер, работал в обувном магазине.

– Сколько ты платишь за пару «Найков» со своей скидкой сотрудника? – спрашивал Бонгани.

– Я могу купить пару «Найков» за сто пятьдесят.

– Отлично, тогда ты не отдавай нам сто сорок, а мы дадим тебе десятку, и ты купишь нам пару «Найков» со своей скидкой.

Так что парень уходил с DVD-плеером и 10 рэндами в кармане. Он считал, что совершил хорошую сделку. Он приносил нам «Найки», а потом мы подходили к одному из более сырных парней в Ист-Бэнке и говорили: «Йоу, парень, мы знаем, что ты хочешь новые «Джорданы». В магазине они стоят три сотни. Мы продадим их тебе за двести». Мы продавали ему обувь и таким образом превращали 60 рэндов в 200.

Это – «район». Кто-то всегда продает, кто-то всегда покупает, и ловкач ухитряется быть в самой гуще всего. И все это было незаконным. Никто не знал, откуда что достали. У того парня, который продал нам «Найки», у него действительно была «скидка сотрудника»? Неизвестно. И никто не спрашивал. Это было просто: «Эй, посмотри, что я нашел» и «Круто, сколько ты хочешь?» Это – международный код.

Сначала я не знал, что не надо спрашивать. Помню, как один раз мы покупали автомобильную магнитолу или что-то вроде этого.

– Но кому это принадлежало? – спросил я.

– А, не беспокойся об этом, – сказал мне один из парней. – У белых есть страховка.

– Страховка?

– Да, когда белый что-нибудь теряет, у него есть страховой полис, и ему выплачивают наличные за все потерянное, так что он как бы ничего и не теряет.

– Ладно, – сказал я. – Звучит прекрасно.

Так что если мы когда-нибудь и думали об этом, то только в

духе «когда белые люди что-то теряют, они получают деньги, это еще одно прекрасное преимущество быть белым».

Легко осуждать преступность, когда ты живешь в мире, достаточно богатом для того, чтобы с ней не сталкиваться. Но «район» научил меня, что у каждого свое понятие о том, что такое хорошо и что такое плохо, различные определения того, что считается преступностью и на каком уровне преступности они готовы принимать участие. Если наркоман идет по улице и несет ящик с коробками кукурузных хлопьев, бедная мать не думает *«Я поддерживаю преступников и пособничаю им, покупая эти кукурузные хлопья»*. Нет. Она думает *«Моей семье нужна еда, а у этого парня есть кукурузные хлопья»* и покупает эти хлопья.

Это – «район». Кто-то всегда продает, кто-то всегда покупает, и ловкач ухитряется быть в самой гуще всего. И все это было незаконным.

Это было просто: «Эй, посмотри, что я нашел» и «Круто, сколько ты хочешь?»

Это – международный код.

Моя собственная мать, моя очень религиозная, законопослушная мать всегда ругала меня за нарушение правил и учила правильному поведению. Я никогда не забуду тот день, когда пришел домой, а на кухне стояла огромная коробка замороженных котлет для бургеров, их было штук двести. Они были принесены из торгующего на вынос кафе под названием «Black Steer». Бургер в «Black Steer» стоил не меньше 20 рэндов.

– Что это за чертовщина? – спросил я.

– О, это было у одного парня на работе, и он их продавал, – ответила она. – Я получила великолепную скидку.

– Но где он их достал?

– Не знаю. Он сказал, что знает кого-то, кто...

– Мам, он их украл.

– Мы этого не знаем.

– Мы это знаем. Откуда у какого-то парня ни с того ни с сего появились бы все эти бургеры?

Конечно, мы съели эти бургеры. Потом поблагодарили бога за пищу.

Когда Бонгани впервые сказал мне «Пойдем на «район», я думал, что мы собираемся продавать компакт-диски и устраивать диджейские вечеринки в «районе». Оказалось, что мы продавали компакт-диски и устраивали диджейские вечеринки с целью нажить себе капитал на мини-кредитовании и ссудных операциях в «районе». Очень скоро это стало нашим основным бизнесом.

Каждый день в «районе» был одинаков. Я рано вставал.

Бонгани встречал меня у моей квартиры, и мы садились на идущий в Алекс микроавтобус с моим компьютером, таща огромный системный блок и огромный, тяжелый монитор. Мы устанавливали это в гараже Бонгани и начинали делать первую партию компакт-дисков. Потом мы гуляли.

Мы доходили до угла Девятнадцатой авеню и Рузвельт-стрит, чтобы позавтракать. Когда ты пытаешься растянуть свои деньги, с особой аккуратностью надо относиться к еде. Надо планировать, или ты проешь всю прибыль. Так что каждое утро мы завтракали жареными пончиками. Они были дешевыми, примерно по 50 центов за штуку. Мы могли купить груды и получить достаточно энергии, которая поддерживала нас до вечера.

Потом мы сидели на углу и ели. Пока ели, принимали заказы у водителей микроавтобусов, проходивших мимо. Затем возвращались в гараж Бонгани, слушали музыку, поднимали гири, делали компакт-диски. Часов в десять или одиннадцать водители начинали возвращаться с утренних маршрутов, так что мы брали компакт-диски и отправлялись на угол, где водители могли забрать свой товар.

Потом мы просто были на углу, болтали, встречались с людьми, смотрели, кто проходит мимо, думали, куда приведет нас этот день. Парню надо это. Парень продает то. Ты никогда не знаешь, что и как будет.

Большой всплеск бизнеса всегда был во время обеда. Мы бродили по всей Александре, заходя в разные магазины и останавливаясь на углах, заключая сделки со всеми. Водители микроавтобусов возили нас бесплатно, потому что мы прыгали в их машины под предлогом поговорить о том, какая музыка им нужна, а втайне ехали с парнем бесплатно. «Эй, мы хотим собрать заказы. Мы с тобой поговорим, пока ты едешь. Что тебе нужно? Какую музыку ты ищешь? Тебе нужен новый Максвелл? Ладно, мы достанем нового Максвелла. Ладно, поговорим с тобой позже. Здесь мы сойдем». Потом мы совершали другую поездку, отправляясь туда, где хотели оказаться.

После обеда бизнес затихал, и именно тогда мы обедали, обычно самым дешевым из того, что могли себе позволить, например, «смайликом» с каким-нибудь гарниром из кукурузы. «Смайликом» мы называли козью голову. Ее варили и посыпали перцем чили. Мы называли эти головы «смайликами», потому что, когда ты съедаешь все мясо, кажется, что коза улыбается тебе с тарелки. Щеки и язык были довольно вкусными, а глаза отвратительными. Они лопались у тебя во рту. Ты клал глазное яблоко в рот и раскусывал его, и словно бы лопался мешок с гноем. Он не хрустел. Он не жевался. Он не обладал никаким

аппетитным запахом.

После обеда мы возвращались в гараж, отдыхали, дремали после еды, а потом записывали компакт-диски. Во второй половине дня мы видели много мамаш. Мамаши нас любили. Они были одними из наших лучших клиентов. Так как мамыши вели хозяйство, именно они искали возможность купить ту коробку мыла, что выпала из кузова грузовика, и они чаще покупали ее у нас, чем у какого-нибудь наркомана.

Иметь дело с наркоманами неприятно. Мы были нормальными парнями из Ист-Бэнка с хорошо подвешенными языками. Мы даже могли запросить побольше, потому что придавали сделке налет некой респектабельности.

Мамаши чаще всего нуждались и в краткосрочных займах, чтобы оплатить те или иные семейные расходы. И опять же они предпочитали иметь дело с нами, чем с каким-нибудь гангстером-ростовщиком. Мамаши знали, что мы не собирались никому ломать ноги, если они не смогут заплатить. От нас этого не ожидали.

Мы этим и не занимались, не стоит забывать, что это было не в нашем духе. Но и здесь проявлялась гениальность Бонгани. Он всегда знал, что человек может предложить в тот период, когда он неплатежеспособен.

Мы заключали самые безумные сделки. Мамаши в районе беспокоятся о своих дочерях, особенно если их дочери хорошенькие. В Алексе были девушки, которых запирали дома. Они шли в школу, оттуда сразу домой, никуда не заходя. Им не разрешали выходить из дома. Парням не позволяли с ними разговаривать, не позволяли ошиваться у их дома – ничего из этого.

Один парень все время говорил об одной из таких девушек-затворниц: «Я сделаю все, что угодно, чтобы сблизиться с ней. Она такая красивая». Но он не мог. Никто не мог.

А у нее была мама, которой нужна была ссуда. Как только мы одолжили ей денег, она не могла прогнать нас из своего дома до тех пор, пока не вернет долг. Мы приходили и зависали там, болтали, беседовали. Девушка тоже была там, но мама не могла ей сказать: «Не разговаривай с этими парнями». Ссуда дала нам возможность установить взаимоотношения с матерью. Мы приходили, вели себя мило и вежливо. Нас приглашали остаться на ужин. Как только мамаша поняла, что мы воспитанные, честные ребята, она согласилась, чтобы мы взяли ее дочь с собой на вечеринку, при одном условии – что мы приведем ее домой в целости и сохранности.

И тогда мы подошли к тому парню, который так отчаянно

желал познакомиться с этой девушкой.

– Эй, давай заключим сделку. Мы приведем эту девушку на вечеринку, и ты сможешь пообщаться с ней. Сколько ты нам можешь дать?

– У меня нет денег, – ответил он, – но у меня есть несколько ящиков пива.

– Ладно, тогда сегодня вечером мы идем на эту вечеринку. Ты дашь нам два ящика пива для вечеринки.

– Отлично.

Потом мы пошли на вечеринку. Мы пригласили девушку, которая обычно с восторгом относилась к возможности вырваться из маминой тюрьмы. Парень принес пиво, он пообщался с девушкой, мы списали мамашин долг, чтобы показать ей нашу признательность, а деньги вернули, продав пиво.

Всегда есть способ сделать так, чтобы это работало. И часто это было самым забавным элементом: строить из себя ангелов, решать головоломку, видеть, что к чему ведет, кому что нужно, кого и с кем мы можем связать и – как на этом можно заработать.

В разгар нашей деятельности у нас в обороте, вероятно, было около 10 000 рэндов. Мы давали ссуды и получали проценты. У нас был запас «Джорданов» и DVD-плееров, купленных для перепродажи. Нам также приходилось покупать чистые компакт-диски, арендовать микроавтобусы, чтобы ездить на диджейские вечеринки, кормить пятерых парней три раза в день. Все движения средств хранились в компьютере. Так как я жил в мире моей мамы, я знал, как вести учет. У нас была специальная таблица в «Microsoft Excel»: имя каждого, сколько каждый задолжал, когда они заплатили, когда они не заплатили.

*Всегда есть способ сделать так, чтобы это работало.
Самым забавным элементом: строить из себя ангелов,
решать головоломку, видеть, что к чему ведет, кому что
нужно, кого и с кем мы можем связать и – как на этом
можно заработать.*

После окончания рабочего дня бизнес становился более оживленным. Водители микроавтобусов забирали последний заказ, мужчины возвращались домой с работы. Им не нужно было мыло или кукурузные хлопья. Им нужна была техника: DVD-плееры, CD-плееры, игры для «PlayStation». Еще больше проходящих ребят продавали товар, так как они целый день мошенничали и воровали. Был парень, продающий мобильный телефон, парень, продающий несколько кожаных курток, парень, продающий обувь. Был один чудной парень, выглядевший как черная версия мистера Бёрна из «Симпсонов». Он проходил мимо

после окончания своего рабочего дня с самым странным товаром. Однажды он принес нам электробритву.

– Что это за чертовщина?

– Это электробритва.

– Электробритва? Мы – черные. Знаешь, что такие шутовины сделают с нашей кожей? Ты видишь в окрестностях кого-нибудь, кто может пользоваться электробритвой?

Он пытался сбавить самое бесполезное дерьмо, типа электрической зубной щетки без зарядки, и мы никогда не знали, где он это раздобыл. Потому что не спрашивали. Но со временем мы догадались: он работал в аэропорту. И весь этот хлам он воровал из багажа пассажиров.

Постепенно суматоха затихала, и мы сворачивались. Мы делали последние записи, просматривали наш запас компакт-дисков, подводили баланс. Если вечером была вечеринка, в которой мы должны были участвовать как диджеи, то мы начинали к этому готовиться.

Или мы покупали несколько банок пива, сидели и пили, болтая о прошедшем дне, слушая раздававшиеся вдали звуки выстрелов. Выстрелы были слышны каждый вечер, и мы всегда пытались догадаться, что это было за оружие. «Это девятимиллиметровый». Обычной была и полицейская погоня, полицейский автомобиль проносился за каким-нибудь парнем на угнанном автомобиле.

Потом все расходились по домам, чтобы поужинать со своими семьями. Я забирал компьютер, садился в микроавтобус, ехал домой, спал, а на следующий день делал все то же самое.

Прошел год. Потом два. Я перестал планировать обучение и так и не приблизился к тому, чтобы накопить денег на поступление в университет.

В «районе» есть одна хитрость: ты все время работаешь, работаешь, работаешь, тебе кажется, что что-то происходит, но на самом деле совсем ничего не происходит. Я был там каждый день с семи утра до семи вечера, и каждый день проходил так:

Как мы можем превратить десять рэндов в двадцать?

Как мы можем превратить двадцать рэндов в пятьдесят?

Как я могу превратить пятьдесят в сотню?

К концу дня мы тратили это на еду и, может быть, на пиво, а потом шли домой, затем возвращались, и:

Как мы можем превратить десять рэндов в двадцать?

Как мы можем превратить двадцать рэндов в пятьдесят?

Приходилось целый день работать, чтобы просадить эти

деньги. Тебе приходилось ходить, перемещаться, думать. Тебе надо было заполучить парня, найти парня, встретиться с парнем. Многие дни мы выходили в ноль, но я всегда чувствовал, что поработал очень продуктивно.

Ловкачество имеет такое же отношение к работе, как блуждание по Интернету – к чтению. Если ты суммируешь, сколько ты прочитал в Интернете за год (твиты, посты в «Фейсбуке», списки), это будет эквивалентно чертовски большой груде книг, но на самом деле ты не прочитал за год ни одной книги. Когда я оглядываюсь назад, то понимаю, что именно этим являлось ловкачество. Максимальные усилия, приложенные для получения минимального заработка. Как белка в колесе. Если бы я направил эту энергию на обучение, то получил бы степень MBA – магистра делового администрирования. Но вместо этого я достигал высот в ловкачестве, за что ни одно учебное заведение не присвоило бы мне степень.

Когда я впервые приехал в Александру, меня привлекли ее энергетика и воодушевленность. Но, что более важно, я был там принят – больше, чем это было в старшей школе или где-либо еще. Когда я впервые там появился, пара-тройка человек удивились. «Кто этот цветной парень?» Но «район» не выносит суждений. Если ты хочешь быть там, ты можешь быть там. Так как я не жил в «районе», то, строго говоря, был в нем аутсайдером. Но впервые в жизни я не чувствовал себя таковым.

А еще в «районе» была ненапряженная, спокойная жизнь. Вся твоя умственная энергия уходила на то, чтобы свести концы с концами, так что ты не задавал себе серьезных вопросов. Кто я? Кем я должен быть? Делаю ли я достаточно? В «районе» ты можешь быть сорокалетним мужчиной, живущим в мамином доме и просящим у людей денег, и никто не посмотрит на тебя свысока. В «районе» ты никогда не будешь чувствовать себя неудачником, потому что всегда есть тот, кто еще хуже, чем ты. И тебе не кажется, что надо делать больше, потому что наибольший здесь успех не намного больший, чем твой. Это позволяет тебе жить в состоянии анабиоза.

В «районе» также было чудесное чувство общности. Все знали друг друга, от самого последнего наркомана до полицейского. Лю-ди заботились друг о друге. Вот как это работает в «районе»: если какая-нибудь мамаша просит тебя что-то сделать, ты должен согласиться. Фразой было «Я могу тебя отправить?» Это было так, словно каждая – твоя мама, а ты – ребенок каждой.

– Я могу тебя отправить?

– Да, что вам надо?

– Мне надо, чтобы ты купил молоко и хлеб.

– Ладно.

Она давала тебе деньги, и ты шел за молоком и хлебом. Так как ты не был занят и это тебе ничего не стоило, ты не мог, не имел права сказать «нет».

Главное в «районе» – ты должен делиться. Ты не можешь разбогатеть один. У тебя есть деньги? Почему бы тебе не помочь людям? Старой леди в квартале нужна помощь, все вносят свою лепту. Ты покупаешь пиво – покупай пиво на всех. Ты раздаешь деньги. Все должны знать, что твой успех так или иначе приносит пользу общине, иначе ты станешь мишенью.

Кроме того, тауншип – сам себе полиция. Если кого-нибудь поймали на краже, тауншип разбирается с ними. Если кого-нибудь поймали на проникновении в чужой дом, тауншип разбирается с ними. Если тебя поймали на изнасиловании, молись богу, чтобы полиция нашла тебя раньше, чем тауншип разберется с тобой. Если женщину избили, люди не вмешиваются. С избиением всегда так много вопросов. Из-за чего была драка? Кто виноват? Кто ее начал? Но изнасилование – это изнасилование. Кража – это кража. Ты дискредитировал общину.

В нашей компании один наш друг, Джи, был, как и все остальные, безработным и болтавшимся без дела. Потом он получил работу в хорошем магазине одежды. Каждое утро он шел на работу, а ребята дразнили его из-за этого. Мы видели, как он вышагивает, принаряженный, и все над ним смеялись. «О, Джи, что за радость видеть тебя в офигенной одежде!» «О, Джи, сегодня топаешь навестить белого человека, ага?» «Джи, не забудь принести из библиотеки несколько книг!»

Однажды утром, когда Джи проработал в этом месте месяц, мы прохлаждались на стене, а Джи вышел в своих шлепках и своих носках. Он не был одет для работы.

– Йоу, Джи, что происходит? Что с работой?

– Ох, я там больше не работаю.

– Почему?

– Они обвинили меня в краже чего-то и уволили.

И я никогда не забуду своих мыслей о том, что казалось, будто он сделал это специально. Он саботировал, чтобы быть снова принятым в компанию.

Тауншип – сам себе полиция.

Если кого-нибудь поймали на краже, тауншип разбирается с ними. Если кого-нибудь поймали на проникновении в чужой дом, тауншип разбирается с ними. Если тебя поймали на изнасиловании, молись богу, чтобы полиция нашла тебя раньше, чем тауншип разберется с

тобой.

«Район» обладает силой притяжения. Он никогда не бросит тебя. Но и тебе никогда не даст себя бросить. Потому что, решив уйти, ты наносишь оскорбление месту, вырастившему тебя, сделавшему тебя и никогда не отворачивавшемуся от тебя. И это место даст тебе сдачи.

Как только твои дела начинают идти на лад в «районе», наступает время уйти. Потому что «район» будет тянуть тебя назад. Он найдет способ. Какой-нибудь парень что-то украдет и подбросит это в твою машину, а полицейские это найдут, или что-то вроде этого. Ты не сможешь остаться. Ты думаешь, что сможешь. Ты будешь делать все возможное, поведешь своих друзей «с района» в отличный клуб, а следующее, что ты поймешь, вот что – кто-то начинает драку, один из твоих друзей достает пистолет, кто-то получает пулю, а ты остаешься ни с чем, думая: «Что сейчас произошло?»

Произошел «район».

Как-то вечером я работал диджеем на вечеринке, не в Алексее, но совсем рядом, в Ломбарди-Ист – более привлекательном черном районе среднего класса. Из-за шума вызвали полицию. Полицейские прибыли, чтобы нас разогнать, одетые в защитное снаряжение и выставившие автоматы. Именно так действует наша полиция. У нас нет простых и специальных подразделений. То, что американцы называют полицейским спецназом, у нас – просто регулярная полиция. Они пошли искать источник музыки, а источником музыки был я. Один полицейский подошел к тому месту, где был я со своим компьютером, и наставил на меня свой здоровенный автомат.

– Ты выключишь это немедленно.

– Хорошо, хорошо, – ответил я, – выключаю.

Но я работал на Windows 95. Эта система, Windows 95, закрывается *вечность*. Я закрывал окна, закрывал программы. У меня был один из тех модифицированных драйверов Seagate, которые легко повредить, и я не хотел отключаться от электричества и, возможно, повредить драйвер.

Коп, понятное дело, не имел об этом ни малейшего представления.

«Район» обладает силой притяжения.

Он никогда не бросит тебя. Но и тебе никогда не даст себя бросить. Ты наносишь оскорбление месту, вырастившему тебя.

И это место даст тебе сдачи.

– Выключай! Выключи!

– Я делаю! Я выключаю! Мне надо закрыть программы!

Толпа начала злиться, коп начал нервничать. Он отвернул автомат от меня и выстрелил в компьютер. Только он ничего не знал о компьютерах, потому что выстрелил в монитор. Монитор взорвался, но музыка продолжала играть. Теперь начался хаос: музыка орет, все бегает и паникуют из-за выстрела. Я выдернул шнур из системного блока, чтобы выключить компьютер. Затем полицейские стали стрелять слезоточивым газом в толпу.

Слезоточивый газ не имел никакого отношения ко мне или музыке. Слезоточивый газ – это всего лишь то, что полицейские используют, чтобы прикрыть вечеринки в черных районах. Ну, как клуб выключает свет, говоря, что всем пора по домам.

Я потерял жесткий диск. Хотя полицейский выстрелил в монитор, из-за взрыва компьютер загорелся. После этого компьютер все еще запускался, но я не мог читать диск. Моя музыкальная коллекция пропала. Даже если бы у меня были деньги на новый жесткий диск, у меня ушли бы годы на сбор музыкальной коллекции. Не было никакого способа ее восстановить. С диджейским бизнесом было покончено. С бизнесом по продаже компакт-дисков было покончено. В один момент наша команда лишилась своего главного источника доходов. Все, что нам осталось, – ловкачество, и мы ловчили еще усердней, беря те жалкие наличные, что были у нас на руках, пытаясь удвоить их, покупая одно и сбавляя другое. Мы начали проедать наши сбережения, и менее чем через месяц мы оказались на дне.

Потом, как-то вечером после работы, пришел наш друг из аэропорта, черный мистер Бёрнс.

– Эй, смотрите, что я нашел, – сказал он.

– Что у тебя?

– Я нашел фотоаппарат.

Никогда не забуду этот фотоаппарат. Это был цифровой фотоаппарат. Мы купили его, я взял его и включил. Там было полно фотографий прекрасной белой семьи на отдыхе, и я почувствовал себя дерьмом. Другие купленные нами вещи никогда не имели для меня значения. Всякие там «Найки», электрические зубные щетки, электробритвы. Кого это волнует? Да, какого-нибудь парня могли уволить за коробку кукурузных хлопьев, исчезнувшую из продуктового магазина, но это совсем не тот уровень. Ты не думаешь об этом. Но этот фотоаппарат – он имел лицо. Я просмотрел фотографии, осознавая, как много значили для меня мои семейные фото, и подумал: *«Я украл не камеру. Я украл что-то воспоминания. Я украл часть чьей-то*

жизни».

Это очень странно, но за два года ловкачества я никогда не думал об этом как о преступлении. Я честно не думал, что это плохо. *Это просто вещи, которые находят люди. У белых есть страховка.* Как бы там ни было, такое толкование было удобным. В обществе мы делаем по отношению друг к другу ужасные вещи, потому что не видим человека, которого это коснулось. Мы не видим его лица. Мы не видим его как человека.

Именно на этом толковании строился прежде всего «район»: убрать жертв апартеида с глаз долой и не думать о них. Потому что, если бы белые люди видели черных людей как людей, рабство было бы немыслимым.

Мы жили в мире, в котором не видели последствий того, что мы сделали другим, потому что мы с ними не жили. Инвестиционному банкиру было бы намного труднее грабить людей при помощи ипотечных ставок, если бы ему в реальности пришлось жить с людьми, которых он грабит. В свою очередь, если бы мы могли видеть боль другого и сочувствовать друг другу, то преступления никогда бы того не стоили.

Как бы нам ни нужны были деньги, я так и не продал этот фотоаппарат. Я чувствовал себя слишком виноватым, словно испортил себе карму. Я знаю, что это звучит глупо, и это не вернуло бы семье их фотоаппарат, но я просто не мог этого сделать.

Это заставило меня признать тот факт, что на другой стороне моих действий были люди, и то, что я делал, было неправильным.

Как-то вечером нашу компанию пригласили потанцевать в Соуэто против другой команды. Гитлер должен был соревноваться с их лучшим танцором, Гектором, который в то время был одним из лучших танцоров в ЮАР. Это приглашение было важным событием. Мы отправлялись туда, чтобы выступить от имени нашего «района». Алекс и Соуэто всегда соперничали. Соуэто считался снобистским тауншипом, а Александра – суровым и грязным тауншипом.

Гектор был из Дипклофа, красивого, зажиточного района Соуэто. Дипклоф был тем местом, где после наступления демократии были построены первые дома стоимостью миллион рэндов. «Эй, мы больше не тауншип. Мы теперь строим красивые вещи». Таков был взгляд. И вот против кого мы были. Гитлер тренировался целую неделю.

Мы сели на микроавтобус в Дипклоф в вечер выступления, я и Бонгани, Мзи и Бхеки, и Джи, и Гитлер. В соревновании победил Гектор. Потом Джи поцеловал одну из их девушек, и все

закончилось дракой, все закончилось неудачей. Когда мы возвращались в Алекс, примерно в час ночи, на выезде из Дипклофа на шоссе наш микроавтобус остановили полицейские. Они заставили всех выйти и обыскали его. Мы стояли на улице, выстроившись рядом с автомобилем, когда один из полицейских вернулся к нам.

– Мы нашли оружие, – сказал он. – Чей это пистолет?

Мы пожали плечами.

– Не знаем, – ответили мы.

– Нет, кто-то знает. Это чей-то пистолет.

– Офицер, мы правда не знаем, – сказал Бонгани.

Тот сильно ударил Бонгани по лицу.

– Ты мне врешь!

Потом он прошел вдоль строя, отвешивая каждому из нас пощечины, обвиняя нас в хранении оружия. Мы ничего не могли сделать, только стоять и терпеть.

– Вы, парни, – отребье, – сказал полицейский. – Вы откуда?

– Алекс.

– А-а-а, понятно. Щенки из Алекс. Вы приехали сюда, и вы грабите людей. Вы насилуете женщин, вы угоняете автомобили. Компания чертовых отмороzków.

– Нет, мы танцоры. Это даже не наш микроавтобус. Мы не знаем...

– Мне плевать. Вы все отправляетесь в тюрьму до тех пор, пока мы не выясним, чей это пистолет.

В какой-то момент мы поняли, что происходит. Этот полицейский тряс нас, чтобы получить взятку. «Штраф на месте», как это все называют. Вы проходите через эти замысловатые пляски с полицейским, когда говорите что-то, не говоря ничего.

– Мы можем что-то сделать? – спрашиваете вы офицера.

– Что ты хочешь, чтобы я сделал?

– Мы правда сожалеем, офицер. Что мы можем сделать?

– Вы мне скажите.

Затем предполагается, что ты сочинишь историю и тем самым дашь знать полицейскому, сколько денег у тебя с собой. Чего мы сделать не могли, потому что у нас совсем не было денег. Так что он отправил нас в тюрьму.

Это был общественный автобус. Это мог быть чей угодно пистолет, но парни из Алекс были единственными арестованными. Все остальные, сидевшие в автомобиле, могли быть свободны. Полицейские отвезли нас в полицейский участок и бросили в камеру, а потом выдергивали по одному для допроса. Когда они вызвали меня, мне пришлось дать свой домашний адрес: Хайлендс-Норт. Полицейский посмотрел на меня в

большом замешательстве.

– Ты не из Алекс, – сказал он. – Что ты делаешь с этим сбродом?

Я не знал, что сказать. Он сурово уставился на меня.

– Слушай сюда, богатый мальчик. Ты думаешь, это весело, шлаться с этими парнями? Но это больше не игрушки. Просто скажи мне правду о своих приятелях и пистолете, и я тебя отпущу.

Я отказался, и он отправил меня обратно в камеру. Мы провели там ночь, а на следующий день я позвонил другу, который сказал, что сможет занять денег у отца и вытащить нас. Позже в тот день его отец приехал и заплатил. Полицейские называли это «освобождением под залог», но на самом деле это была обыкновенная взятка. Нас не задерживали и не судили официально. Никакие документы не составлялись.

Мы вышли, и все было прекрасно, но это ошеломило нас. Мы каждый день были на улицах, ловчили, пытались вести себя так, словно были как-то связаны с бандами. Но правда заключалась в том, что мы были более сырными, чем «район». Мы создали представление о себе как защитный механизм для выживания в мире, в котором мы жили. У Бонгани и других ребят из Ист-Бэнка по причине того, откуда они родом и как они выглядят, просто было очень мало надежды. В такой ситуации у тебя было два варианта. Ты находишь работу в торговле, продаешь бургеры в «Макдоналдсе», если ты один из тех немногих счастливицков, который может достичь таких высот. Второй вариант – закалиться, «сделать лицо». Ты не можешь уехать из «района», так что выживай по правилам «района».

Я выбрал жизнь в том мире, но я не был из того мира. Пожалуй, я был самозванцем. День за днем я был там столько же, сколько все остальные, но разница заключалась в том, что в глубине души я знал, что у меня были другие варианты. Я мог уйти. Они не могли.

ОДНАЖДЫ, КОГДА МНЕ БЫЛО ДЕСЯТЬ ЛЕТ, Я НАВЕЩАЛ ПАПУ В ЙОВИЛЛЕ, и мне нужны были батарейки для одной из моих игрушек. Мама отказалась покупать мне новые батарейки, потому что, разумеется, считала это напрасной тратой денег, так что я улизнул в магазин и стащил упаковку. Охранники магазина поймали меня на выходе, отвели в свой кабинет и позвонили маме.

– Мы поймали вашего сына на краже батареек, – сказали они. – Вам надо прийти и забрать его.

– Нет, – ответила она, – отведите его в тюрьму. Если он собирается нарушать закон, пусть знает о последствиях.

И она повесила трубку. В конце концов, они отпустили меня, предположив, что я был своего рода беспутным сиротой. Ведь что за мать скажет полиции, чтобы десятилетнего ребенка отправили в тюрьму?

Глава 17

Мир не любит тебя

Мама никогда не давала мне спуска. Каждый раз, как я попадал в переplet, меня ждала жестокость из лучших побуждений: нотации, наказание и порка. Каждый раз. За каждый проступок. Это касается многих черных родителей. Они стараются призвать тебя к порядку до того, как это сделает система. «Мне придется сделать это с тобой, прежде чем это сделает с тобой полиция». Потому что только об этом думают черные родители с того самого дня, как ты становишься достаточно большим, чтобы гулять по улицам, где тебя ждет закон.

Попасть под арест в Александре было суровой правдой жизни. Настолько повседневной, что, когда мы ошивались на углу, у нас был для этого знак, условное обозначение: сложить запястья так, словно на тебя надели наручники. Каждый знал, что это означает.

– Где Бонгани?

Сложенные запястья.

– О, черт. Когда?

– В пятницу вечером.

– Проклятье.

Мама ненавидела «район». Ей не нравились мои тамошние друзья. Если я приводил их в дом, она не хотела, чтобы они даже заходили внутрь. «Мне не нравятся эти парни», – говорила она. Она не ненавидела лично их, она ненавидела то, что они воплощали. «Вы с этими ребятами вляпываетесь в такое дерьмо, – говорила она. – Ты должен внимательно относиться к тому, кем ты себя окружаешь, потому что они могут определять, кем являешься ты».

Больше всего она ненавидела в «районе» то, что, как она говорила, он не заставлял меня стать лучше. Она хотела, чтобы я проводил время с двоюродным братом в его университете.

– Какая разница, где я провожу время, в университете или «на районе»? – спрашивал я. – Я же вроде не собираюсь поступать в университет.

– Да, но университет окажет на тебя влияние. Я же тебя знаю. Ты не сможешь сидеть и смотреть, как эти ребята становятся лучше, чем ты. Если ты будешь в положительном и прогрессирующем окружении, ты тоже станешь таким. Я постоянно твержу тебе, чтобы ты изменил свою жизнь, а ты этого

не делаешь. Когда-нибудь тебя арестуют, и когда это произойдет, не звони мне. Я скажу полицейским, чтобы они посадили тебя – просто для того, чтобы ты получил урок.

И на самом деле были черные родители, которые так поступали, не нанимали своим детям адвоката – крайняя степень жестокости из лучших побуждений. Но это не работало, потому что ты даешь ребенку жесткую любовь, когда ему, возможно, нужна просто любовь. Ты пытаешься преподать ему урок, но этим уроком теперь станет вся его оставшаяся жизнь.

Однажды утром я увидел в газете объявление. Какой-то магазин устраивал тотальную распродажу мобильных телефонов, и они продавались по такой смехотворной цене, что я понимал: мы с Бонгани можем с прибылью для себя сбыть их в «районе». Этот магазин находился в пригороде, слишком далеко, чтобы идти туда пешком, и слишком в стороне, чтобы доехать на микроавтобусе. К счастью, на заднем дворе была мастерская моего отчима и несколько старых автомобилей.

Я лет с четырнадцати тайком брал драндулеты Абеля, чтобы кататься по окрестностям. Говорил, что тестирую их, чтобы убедиться, что они отремонтированы правильно. Абель не считал это смешным. Меня много раз ловили. Ловили и отдавали на расправу разъяренной матери. Но это никогда не останавливало меня, что бы я ни делал.

Большинство из этих драндулетов не подлежало эксплуатации на дорогах. У них не было надлежащих регистрационных документов или правильных номерных знаков. К счастью, у Абеля в гараже также был запас старых номерных знаков. И я быстро понял, что могу просто прикрепить один из них к старому автомобилю и выехать на дорогу. Мне было девятнадцать, может быть, двадцать, и я не думал ни о каких последствиях своих действий.

Так вот, я подошел к гаражу Абеля, когда вокруг никого не было, взял один из его автомобилей (красную «Мазду», которую брал на выпускной), прикрепил к ней какие-то старые номерные знаки и отправился на добычу дешевых мобильных телефонов.

В Хиллброу меня остановила полиция. Полицейские в ЮАР не объясняют причины того, почему вас остановили. Они останавливают вас просто потому, что они полицейские и обладают властью вас остановить – все очень просто. Я смотрел американские фильмы, где полицейские останавливают людей и говорят: «Вы не включили поворотник» или «У вас не горит задняя фара». Я всегда удивлялся: *«Почему американские копы беспокоятся и придумывают предлог?»* В ЮАР я ценю одно: мы еще

не усовершенствовали систему до того, чтобы мы были вынуждены лгать. У нас нет времени на такие игры.

– Ты знаешь, почему я тебя остановил?

– Потому что вы полицейский, а я черный?

– Верно. Права и регистрационные документы, пожалуйста.

Когда полицейский остановил меня, это была одна из тех ситуаций, в которых мне хотелось сказать: «Ребята, я знаю, что вы предвзято относитесь ко мне из-за расы». Но в этом случае я не мог спорить, потому что в тот момент действительно нарушал закон. Полицейский подошел к моему окну, задал стандартные полицейские вопросы. Куда я еду? Мой ли это автомобиль? Чей это автомобиль? Я не мог ответить. Я остолбенел.

Меня больше волновало то, что у меня будут неприятности с родителями, чем неприятности с законом. Я уже сталкивался с полицейскими в Александре, в Соуэто, но это было больше вызвано самой ситуацией: вечеринка, которую надо прекратить, налет на микроавтобус. Закон был вокруг меня, но он никогда не был направлен конкретно против меня, Тревога. А когда ты не очень часто сталкиваешься с законом, закон кажется рациональным: конечно, полицейские по большей части сволочи, но ты понимаешь, что они выполняют свою работу.

С другой стороны, твои родители совсем не рациональны. Они все твоё детство выступали в роли судьи, присяжных и палача, и кажется, что они готовы приговорить тебя к пожизненному заключению за каждую малейшую провинность. В тот момент, когда я должен был бояться полицейского, все, о чем я думал, было: *«Черт, черт, черт. Дома меня ждут крупные неприятности»*.

Полицейский осмотрел номерные знаки и обнаружил, что они не соответствуют автомобилю. Теперь он взялся за меня всерьёз. «Этот автомобиль не на твоё имя! Что с этими номерными знаками?! Выходи из автомобиля!» И только тогда я понял: *«О-о-о-о, черт. Теперь я действительно в беде»*. Я вышел из машины, он надел на меня наручники и сказал, что я задержан по подозрению в езде на угнанном автомобиле. Он забрал меня в участок, автомобиль был отправлен на стоянку.

Полицейский отвез меня в полицейский участок Хиллброу, который выглядел в точности так же, как любой другой полицейский участок в ЮАР. Все они были построены одним и тем же подрядчиком в разгар апартеида: отдельные клетки центральной нервной системы полицейского государства. Если вам завязать глаза и перевозить из одного в другой, вы, вероятно, даже не поймете, что оказываетесь в разных местах. Они однообразные, казенные, с флуоресцентными лампами и дешевой

напольной плиткой, как в больнице. Мой полицейский завел меня внутрь и посадил у стойки регистрации. Меня записали и сняли отпечатки пальцев.

А когда ты не очень часто сталкиваешься с законом, закон кажется рациональным: конечно, полицейские по большей части сволочи, но ты понимаешь, что они выполняют свою работу.

Тем временем они проверяли автомобиль, что тоже было не в мою пользу. Когда я брал автомобили из мастерской Абеля, я старался брать его драндулеты, а не автомобили клиентов, потому что считал, что так смогу избежать больших проблем. Но это было ошибкой. «Мазда», которая была одним из драндулетов Абеля, не обладала документами, несомненно свидетельствующими о том, кому она принадлежит. Если бы у нее был владелец, полицейские вызвали бы его, владелец объяснил бы, что он отдал этот автомобиль в ремонт, и все было бы улажено. А так как у автомобиля не было владельца, я не мог доказать, что не угнал его.

В то время угоны автомобилей были распространены в ЮАР. Настолько распространены, что вы даже не удивлялись, когда они случались. Вы ждали друга на праздничный обед, и он звонил вам.

– Извини. Автомобиль угнали. Я задержусь.

– Ох, вот отстой. Эй, ребята! У Дейва угнали автомобиль.

– Сочувствуем, Дейв!

И вечеринка продолжалась. И это – если человек выжил после угона автомобиля. Что было далеко не всегда. Людей могли застрелить из-за их машин – это случалось постоянно. А я не только не мог доказать, что не угонял автомобиля, я не мог доказать, что никого из-за него не убил. Полицейские напустились на меня. «Ты кого-нибудь убил, чтобы заполучить этот автомобиль, парень? А? Ты убийца?»

Я был в большой, большой беде. У меня оставалась только одна рука помощи – родители. Мои родители могли сказать полиции правду. Один звонок все бы уладил. «Это мой отчим. Он механик. Я взял его автомобиль, чего не должен был делать». Готово. В худшем случае я получил бы нагоняй за то, что ездил на машине без регистрации. Но что я получил бы дома?

Я сидел там, в полицейском участке (задержанный по подозрению в автоугоне, вероятный подозреваемый в грабеже или убийстве), и размышлял, позвонить ли мне родителям или отправиться в тюрьму. Я думал насчет отчима: «Он на самом деле может убить меня». В моих мыслях это было абсолютно

реалистичным сценарием. Я думал насчет мамы: *«Она сделает ситуацию еще хуже. Она – не тот свидетель защиты, которого я хотел бы сейчас. Она не поможет мне»*. Потому что она сказала мне, что не будет этого делать. «Если тебя когда-нибудь арестуют, не звони мне». Мне нужен был кто-то, сочувствующий моему бедственному положению, и мне не верилось, что она была бы таким человеком.

Так что я не позвонил родителям. Я решил, что не нуждаюсь в них. Я был мужчиной. Я мог справиться один. Я использовал право на звонок, чтобы позвонить двоюродному брату и сказать ему, чтобы он рассказал всем, что случилось, пока я буду думать, что делать. Теперь мне оставалось только придумать, что делать.

Меня задержали далеко за полдень, так что к тому времени, когда меня допросили, было уже поздно. Я должен был провести ночь в камере, нравилось мне это или нет. И именно в этот момент полицейский отвел меня в сторону и сказал, что от меня ожидается.

Вот как система работает в ЮАР: тебя задерживают и держат в камере в полицейском участке до предъявления обвинения в суде. Когда тебе предъявляют обвинение, судья смотрит твое дело, выслушивает доводы сторон обвинения и защиты, а потом либо снимает обвинение, либо освобождает под залог и назначает дату заседания суда. Если ты можешь оставить залог, ты платишь и идешь домой.

Но есть самые различные возможности того, что дело во время предъявления обвинения пойдет не так, как ты ожидал. У тебя назначенный защитник, который не читал твое дело и не знает, что происходит. Твоя семья не может заплатить залог. Даже может быть так, что разбирательство отложат. «Извините, мы слишком заняты. Сегодня дела больше не рассматриваются». Причина не важна.

Если ты покинул следственный изолятор, вернуться сюда ты уже не можешь. Если твоя ситуация не разрешилась в тот день, ты отправляешься в тюрьму, чтобы ждать суда. В тюрьме тебя помещают к людям, ждущим суда, не к обычным заключенным. Так что уже камера ожидающих суда является очень опасной, потому что там есть люди, арестованные за самые разнообразные преступления, вплоть до настоящих рецидивистов. Все вы сидите в набитой камере, и ты можешь провести там дни, недели, возможно, месяцы.

То же самое, кстати, и в Америке. Если ты беден, если ты не знаешь, как работает система, тебя могут проигнорировать, и следующее, что ты поймешь, – ты находишься в жутком чистилище, где ты вроде бы не в тюрьме, но уж точно не вне

тюрьмы. Тебя не обвинили ни в каком преступлении, но ты заперт и не можешь выйти.

Этот полицейский отвел меня в сторону и сказал: «Слушай-ка, ты же не хочешь, чтобы тебя привлекли к суду? Они дадут тебе государственного защитника, который не будет знать, что происходит. У него не будет на тебя времени. Он попросит судью, чтобы тот отложил слушание, а потом ты, может быть, останешься свободным, а может быть, и нет. Поверь мне, ты этого не хочешь. У тебя есть право оставаться здесь как угодно долго. Ты захочешь встретиться с адвокатом и настроиться, прежде чем отправляться в суд или к судье». Он дал мне этот совет не по доброте душевной. У него было соглашение с защитником, к которому он отправлял клиентов в обмен на мзду. Он дал мне визитную карточку защитника, я позвонил тому, и он согласился заняться моим делом. Он велел мне не рыпаться, пока он будет все улаживать.

Теперь мне нужны были деньги, потому что адвокаты, как бы милы они ни были, ничего не делают бесплатно. Я позвонил другу и спросил, не может ли он занять у своего отца немного денег. Тот сказал, что уладит этот вопрос. Он поговорил с отцом, и на следующий день адвокат получил свой гонорар.

Так как адвокат должен был все уладить, я вообразил, что держу все под контролем. Чувствовал себя очень ловким. Я уладил ситуацию, и, что важнее всего, мама и Абель были не в курсе.

Когда пришло время отбоя, вошел полицейский и забрал мое барахло. Мой ремень, мой бумажник, мои шнурки.

– Зачем вам мои шнурки?

– Чтобы ты не удавился.

– Понятно.

Даже когда он это сказал, я еще не осознавал всю тяжесть своей ситуации. Шагая по камере, посматривая на других шестерых парней, которые были там, я размышлял: *«Не беда! Все будет классно. Я выберусь из этого»*. Я думал так до того самого момента, как дверь камеры лязгнула за моей спиной и охранник закричал: «Отбой!» Тогда я и подумал: *«О, черт. Это на самом деле»*.

Охранники дали мне коврик и колючее одеяло. Я расстелил их на бетонном полу и попытался удобно устроиться. Твоя первая ночь в камере, ты лежишь здесь, и в твоей голове проносятся все фильмы о плохой тюрьме, которые ты видел. Ты думаешь: *«Меня изнасилуют. Меня изнасилуют. Меня изнасилуют»*. Но тебя не насилюют, потому что ты пока еще не в тюрьме, ты – в камере

предварительного заключения, а это большая разница, как ты вскоре поймешь.

На следующее утро я проснулся с тем мимолетным ощущением, когда ты думаешь, что это все было сном. Потом огляделся и понял, что это не сон. Принесли завтрак, и я устроился и стал ждать.

День в камере проходит почти в полной тишине, прерываемой делающими перекличку проходящими охранниками, выкрикивающими ругательства в твой адрес. В камере никто не произносит ни слова. Никто не входит в камеру и не говорит: «Привет, ребята! Я Брайан!» Потому что все боятся, и никто не хочет показаться уязвимым. Никто не хочет быть «петухом». Никто не хочет быть парнем, которого убьют. Я не хотел, чтобы кто-нибудь знал, что я – всего лишь парень, задержанный за проблемы с автомобилем. Так что я покопался в памяти, чтобы извлечь все стереотипы относительно того, как люди ведут себя в тюрьме, и пробовал вести себя так же.

В ЮАР все знают, что цветные гангстеры – самые безжалостные, самые жестокие. Это стереотип, который сопровождает тебя всю твою жизнь. Самыми печально знаменитыми цветными бандами были «Цифровые банды»: 26-я, 27-я и 28-я. Они контролировали тюрьмы. Они известны своей зверской жестокостью – изувечиванием, пытками, изнасилованиями, отрезанием голов, причем делают это не ради денег, а просто для того, чтобы доказать, насколько они безжалостны и жестоки – как мексиканские наркокартели в Америке.

На самом деле многие цветные банды взяли за образец эти самые мексиканские банды. Они выглядят так же: «Конверсы» со штанами «Дикис», рубашка нараспашку, застегнутая только сверху.

Когда я был подростком, каждый раз, когда ко мне привязывались полицейские или охранники, это было не потому, что я был черным, а потому, что я был цветным. Однажды я пошел в клуб с двоюродным братом и его другом. Вышибала обыскал Млунгиси, махнул, чтобы тот проходил. Он обыскал его друга и махнул, чтобы тот проходил. Потом он стал обыскивать меня и посмотрел на мое лицо.

– Где твой нож?

– У меня нет ножа.

– Я знаю, что у тебя где-то нож. Где он?

Он обыскивал и обыскивал, наконец, сдался и разрешил мне войти, оглядывая меня так, словно я был ходячей проблемой.

– Чтоб никаких *неприятностей* от тебя! Понял?

Я предположил, что, если уж я оказался в камере, люди подумают, что я цветной того типа, что заканчивают свои дни в тюрьме. Жестокий преступник. Так что я играл эту роль. Надел на себя личину. Каждый раз, когда полицейские задавали мне вопросы, я начинал говорить на ломаном африкаанс с сильным цветным акцентом. Представьте белого парня в Америке, белого, но достаточно темного для того, чтобы сойти за латиноамериканца, разгуливающего по камере и разыгрывающего диалог гангстера-мексиканца из фильмов. *«Хреново сидеть взаперти, чувак»*. Вот примерно это я и делал в южноафриканском варианте. Но это работало. Со мной в камере сидели парни, посаженные туда за вождение в пьяном виде, домашнее насилие, мелкую кражу. У них не было ни малейшего представления о том, как выглядят настоящие цветные гангстеры. Все оставили меня в покое.

Мы все играли в игру, только никто не знал, что и все другие в нее играют. Когда я вошел в камеру в тот первый вечер, все посмотрели на меня взглядами, говорящими: «Я опасен. Не лезь ко мне». Так что я подумал: «Черт, эти люди – закоренелые преступники. Мне здесь не место, потому что я не преступник». Но на следующий день все быстро изменилось. Один за другим парни отправлялись на официальное предъявление обвинений, я остался ждать своего адвоката, а в камеру начали приходить новые люди.

Теперь я был старожилом, разыгрывая из себя цветного гангстера, давая новичкам понять все то же: «Я опасен. Не лезь ко мне». А они смотрели на меня и думали: «Черт, он закоренелый преступник. Мне здесь не место, потому что я не такой, как он». И так круг за кругом.

Если ты беден, если ты не знаешь, как работает система, тебя могут проигнорировать, и следующее, что ты поймешь, – ты находишься в жутком чистилище, где ты вроде бы не в тюрьме, но уж точно не вне тюрьмы.

Тебя не обвинили ни в каком преступлении, но ты заперт и не можешь выйти.

В определенный момент до меня дошло, что каждый, кто находится в этой камере, тоже может притворяться. Мы все были приличными парнями из хороших районов и хороших семей, задержанными за неоплаченную парковочную квитанцию и другие административные правонарушения. Мы могли бы отлично проводить время, вместе обедая, играя в карты, болтая о женщинах и футболе. Но этого не произошло, потому что каждый принял эту угрожающую позу. И никто не разговаривал, потому

что каждый боялся тех, кем притворялись другие парни.

Потом этих парней отпускали, они шли по домам к своим прекрасным семьям и говорили: «О, дорогая, это было ужасно. Там были настоящие преступники. Там был этот цветной парень. Боже, это был киллер».

Как только я разобрался в этой игре, я снова был в порядке. Я расслабился. Снова начал думать: *«У меня получилось. Делов-то»*. Еда на самом деле была приличной. На завтрак принесли сэндвичи с арахисовым маслом на толстых кусках хлеба. На обед была курица с рисом. Чай был слишком горячим, и это была, скорее, вода, а не чай, но пить было можно. Были пожилые, давно сидящие заключенные, которых скоро должны были условно-досрочно освободить, и в их обязанности входило мыть камеры и разносить книги и журналы. Это успокаивало.

Помню один момент, как я ел и говорил сам себе: *«Все не так плохо. Я в компании неплохих ребят. Никаких домашних дел. Никаких счетов, которые надо оплатить. Никто постоянно не придирается ко мне, говоря, что я должен делать. Сэндвичи с арахисовым маслом? Черт, я все время ем сэндвичи с арахисовым маслом. Они довольно вкусные. Я могу это выдержать»*. Я так боялся нагоняя, который ждал меня дома, что на самом деле решил отправиться в тюрьму. Очень быстро придумал план. «Отправлюсь в тюрьму на пару лет, вернусь и скажу, что меня похитили, и мама никогда не узнает правды и просто будет счастлива увидеть меня вновь».

На третий день полицейские привели самого здорового мужчину, что я когда-либо видел. Этот парень был *огромным*. Гигантские мускулы. Темная кожа. Непроницаемое лицо. Он выглядел так, словно мог убить нас всех. Мы с другими арестованными, разыгрывавшие друг перед другом опасных парней, сбросили с себя эти маски в ту же секунду, как он вошел. Все были испуганы. Мы все уставились на него. «О, черт!..»

По какой-то причине этот парень был полуобнаженным, когда полицейские его арестовали. На нем была одежда, которую ему собрали в полицейском участке: изодранная майка-алкоголичка, которая была ему мала, слишком короткие штаны, выглядевшие, как капри. Он был похож на черную версию Невероятного Халка^[15].

Этот парень вошел и сел в углу. Никто не сказал ни слова. Все, нервничая, смотрели и выжидали, что он будет делать. Потом вернулся один из полицейских и вызвал Халка. Им нужна была от него какая-то информация. Полицейский начал задавать ему вопросы, но парень только мотал головой и говорил, что не

понимает. Полицейский говорил на зулу, Халк говорил на тсонга. Черный говорил с черным, и оба не могли понять друг друга – столпотворение Вавилонское. В ЮАР мало кто говорит на тсонга, но так как мой отчим был тсонга, я между делом выучил его. Я краем уха слышал, как полицейский с парнем топчутся на месте с нулевым результатом, так что вмешался, начал переводить и помог разобраться.

Когда пришло время отбоя, вошел полицейский и забрал мое барахло.

– Зачем вам мои шнурки?

– Чтобы ты не удавился.

Нельсон Мандела как-то заметил: «Если ты говоришь с человеком на языке, который тот понимает, это проникает в его разум. Если ты говоришь с человеком на его языке, это проникает ему в душу». Он был так прав! Когда ты пытаешься говорить на чем-то языке, даже если это будут используемые время от времени простейшие фразы, ты сообщаясь собеседнику: «Я понимаю, что ты обладаешь культурой и самосознанием, отличными от моих. Я вижу в тебе человека».

Именно это произошло с Халком. В ту же секунду, как я заговорил с ним, его лицо, казавшееся таким грозным и суровым, осветилось признательностью. *«Ah, na khensa, na khensa, na khensa. Hi wena mani? Mufana loyi wa mukhaladi u xitibela kwini xiTsonga? U huma kwini?»* («О, спасибо, спасибо, спасибо. Кто ты? Как цветной парень может знать тсонга? Откуда ты?»)

Когда мы стали разговаривать, я понял, что он вовсе не был Халком. Он был приятнейшим парнем, добрым великаном, самым большим плюшевым медведем в мире. Он был простым, необразованным. Я думал, что его арестовали за убийство, за то, что он голыми руками перебил целую семью, но это было совсем не так. Его арестовали за кражу игр для «PlayStation». Он был без работы, ему нужны были деньги, чтобы отсылать домой семье, и когда он увидел, сколько стоят эти игры, он подумал, что может украсть несколько, продать белым детям и выручить много денег. Как только он рассказал мне об этом, я понял, что он вовсе не закоренелый преступник. Я знал мир пиратства – украденные видеоигры ничего не стоят, потому что дешевле и менее рискованно копировать их, как делали родители Боло.

Я постарался немного помочь ему. Я рассказал ему о своей уловке относительно отсрочки предъявления обвинения в суде и одновременного привлечения адвоката, так что он тоже остался в камере и тянул время, мы ладили и общались несколько дней, отлично проводя время, узнавая друг друга. Никто в камере не

знал, как это понимать: безжалостный цветной гангстер и его грозный, похожий на Халка приятель.

Он рассказал мне историю своей жизни, южноафриканскую историю, так знакомую мне: человек рос при апартеиде, работал на ферме, являясь частью того, что на самом деле было рабской рабочей силой. Это ад на земле, но, по крайней мере, хоть что-то. Ему платили жалкие гроши, но хотя бы платили. Каждая минута его дня была занята, ему говорили, где он должен быть и что он должен делать. Потом апартеиду пришел конец, и у него не стало даже этого. Он нашел способ отправиться в Йоханнесбург в поисках работы, пытаясь раздобыть пропитание оставшимся дома детям. Но не преуспел в этом. У него не было образования. У него не было навыков. Он не знал, что делать, не знал, где быть.

Мир Южной Африки научился бояться его, но на деле это он боялся мира, потому что у него не было никаких инструментов для взаимодействия с ним. И что он должен был делать? Он терпел унижения. Он стал мелким воришкой. Он попадал в кутузку и выходил из нее. Ему повезло, и он нашел работу на какой-то стройке, но потом его уволили, и через несколько дней он зашел в магазин, увидел игры для «PlayStation» и взял их. Но у него не было знаний, достаточных даже для того, чтобы понять, что он украл что-то, не представляющее никакой ценности.

Я ужасно ему сочувствовал. Чем больше времени я проводил в камере, тем больше осознавал, что закон совсем не рационален. Это лотерея. Какого цвета твоя кожа? Сколько у тебя денег? Кто твой адвокат? Кто твой судья?

Кража игр для «PlayStation» была не таким серьезным нарушением, как езда с фальшивыми номерными знаками. Он совершил правонарушение, но преступником он был не бóльшим, чем я. Разница была в том, что у него не было друзей или семьи, которые могли бы помочь. Он не мог позволить себе никого, кроме государственного защитника. Он должен был отправиться на скамью подсудимых, не имея возможности говорить по-английски или понимать этот язык, а все в зале суда будут подозревать в нем худшее. Он отправится в тюрьму на какой-то срок, а потом выйдет на свободу, все так же ничего не имея. Как я мог догадываться, ему было около тридцати пяти, может, сорок лет. И впереди его ждали точно такие же тридцать пять – сорок лет.

Пришел день предъявления мне обвинения в суде. Я попрощался со своим новым другом и пожелал ему удачи. Потом на меня надели наручники и посадили в полицейский фургон, чтобы отвезти в здание суда, где я узнаю свою судьбу. В зданиях

суда в ЮАР конвойное помещение, где вы ожидаете решения, для того, чтобы снизить риск вашего побега, представляет собой большую камеру под залом суда. На скамью подсудимых вы поднимаетесь по нескольким ступенькам, а не проходите по коридорам.

А в конвойном помещении вы оказываетесь с людьми, неделями и месяцами ожидавшими в тюрьме суда. Это очень разные люди, кто угодно – от экономических преступников и ребят, задержанных при проверке автомобиля полицией, до настоящих, закоренелых преступников, покрытых сделанными в тюрьме татуировками. Это напоминает сценку в баре из *«Звездных войн»*, где группа играет музыку, а в углу сидит Хан Соло и где висят все плохие парни и охотники за головами со всей Вселенной – мерзкий людской муравейник из подлецов и мерзавцев. Только здесь не было музыки и не было Хана Соло.

Я был вместе с этими людьми очень непродолжительное время, но в тот момент я увидел разницу между камерой предварительного заключения и тюрьмой. Я увидел разницу между преступниками и людьми, совершившими преступления. Я увидел суровость на лицах людей. Я вспомнил, каким наивным был всего несколько часов назад, думая, что тюремное заключение – это не так уж плохо, и я сумею это вынести. Теперь я по-настоящему боялся того, что со мной может произойти.

Когда я вошел в конвойное помещение, я был юношей с гладкой кожей и свежим лицом. В то время у меня были буйные кудри, и единственным способом с ними справиться было собрать их сзади в «конский хвост», что действительно выглядело по-девчачьи. Я был похож на Максвелла. Охранники закрыли за мной дверь, и отвратительный старик выкрикнул позади меня на зулу: *«Ha, ha, ha. Nhe madoda! Angikaze ngibone indoda enhle kangaka! Si-zoba nobusuku obuhle manje!»* («Ха-ха-ха. Черт побери, парни. Я никогда раньше не видел такого красивого мужчину. Сегодня у нас будет отличная ночь!»)

Это напоминает сценку в баре из «Звездных войн», где висят все плохие парни и охотники за головами со всей Вселенной – мерзкий людской муравейник из подлецов и мерзавцев. Только здесь не было музыки и не было Хана Соло.

Че-е-е-е-е-е-е-е-е-ерт!..

Когда я вошел, прямо рядом со мной был молодой человек, совершенно слетевший с катушек, разговаривавший сам с собой, выплакавший глаза. Он посмотрел на меня, встретился со мной глазами и, как я догадываюсь, подумал, что я выгляжу как

родственная душа, с которой он может поговорить. Он подошел ко мне и начал плакаться на то, как его арестовали и бросили в камеру, как гангстеры украли его одежду и обувь, насильовали его и били каждый день. Он не был каким-то головорезом. Он был образованным, с хорошей речью. Он ждал год, пока его дело будет рассмотрено, он хотел покончить жизнь самоубийством. Этот парень нагнал на меня страх.

Я оглядел конвойное помещение. Там, вполне вероятно, была сотня парней, все они разбрелись и сбились в четкие и безошибочно определенные группы по расам: куча черных в одном углу, цветные – в другом, пара индийцев в стороне и несколько белых ребят у одной стены. Те парни, что были вместе со мной в полицейском фургоне, в ту самую секунду, как мы вошли, инстинктивно, автоматически подошли к группам, которым принадлежали. Я застыл.

Я не знал, куда идти.

Я посмотрел на угол с цветными. Увидел самую знаменитую, самую жестокую тюремную банду в ЮАР. Я выглядел, как они, но я не был, как они. Здесь я не мог переметнуться, изображая фальшивого гангстера, они бы обнаружили, что я обманщик. Нет, нет, нет. Эта игра окончена, друзья. Последнее, что мне было нужно, – настроенные против меня цветные гангстеры.

А что, если я пойду в угол с черными? Я знаю, что я черный, и я считаю себя черным, но внешне я не черный. Так что поймут ли эти ребята, почему я подошел к ним? И не вляпаюсь ли я в какое-нибудь дерьмо, пойдя туда? Ведь если человек, который кажется цветным, пойдет в угол к черным, это может разозлить цветных гангстеров даже больше, чем если черный пойдет в угол к цветным, не являясь цветным. Ведь именно это происходило со мной всю мою жизнь. Цветные видели, как я провожу время с черными, и конфликтовали со мной, хотели со мной драться. Я представил, как из-за меня в конвойном помещении начнется расовая война.

– Эй! Почему ты прохлаждаешься с черными?

– Потому что я черный.

– Нет, ты не черный. Ты цветной.

– Ах, да. Я знаю, как это выглядит, дружище, но дай объясню. На самом деле это смешная история. Мой отец белый, а мама черная, а раса – это социальная концепция, так что...

Это бы не сработало. Не здесь.

Все это за секунду, на лету пронеслось в моей голове. Я делал безумные расчеты, глядя на людей, осматривая комнату, оценивая варианты. *Если я пойду сюда, тогда будет это. Если я пойду туда, тогда будет то.* Вся моя жизнь пронеслась перед

глазами: игровая площадка в школе, магазины *spraz* в Соуэто, улицы Иден-Парка. Каждый раз и в каждом месте мне всегда приходилось быть хамелеоном, лавирующим между группами, объясняющим, кто я такой. Это было как в кафетерии в старшей школе.

Только сейчас это был «кафетерий в старшей школе» в аду, потому что, если я выбрал бы не тот столик, меня могли избить, заколоть или изнасиловать. Еще никогда в своей жизни я не был так испуган. Но все же надо было выбирать. Даже если у меня и не было выбора. Так как расизм существует, вы должны выбрать, на какой вы стороне. Вы можете сказать, что не выбираете, на какой вы стороне, но на самом деле жизнь заставит вас делать выбор.

«Сделай все возможное, чтобы не возвращаться сюда.

Плачь перед судьей, делай все, что должен делать.

Если ты получишь тюремный срок и вернешься сюда, твоя жизнь уже никогда не будет прежней».

В тот день я выбрал белых. Просто не было похоже, что они могут меня обидеть. Их было несколько, обычных белых парней среднего возраста. Я подошел к ним. Мы некоторое время пообщались, немного поболтали. Большинство было задержано за экономические преступления: различные денежные махинации, мошенничество и вымогательство. Они были бесполезны для того, кто хотел бы устроить свару, они могли бы дать отпор. Но они не собирались делать мне ничего плохого. Я был в безопасности.

К счастью, время шло довольно быстро. Я пробыл там всего лишь около часа перед тем, как меня вызвали в зал суда, где судья должен был либо отпустить меня, либо отправить в тюрьму ждать суда. Когда я уходил, один из белых парней шепнул мне: «Сделай все возможное, чтобы не возвращаться сюда. Плачь перед судьей, делай все, что должен делать. Если ты получишь тюремный срок и вернешься сюда, твоя жизнь уже никогда не будет прежней».

В зале суда я нашел ожидавшего адвоката. Мой двоюродный брат Млунгиси тоже был там, в галерее, готовый стать моим поручителем, если дела пойдут в мою пользу.

Судебный пристав зачитал номер моего дела, и судья взглянул на меня.

– Как ты? – спросил он.

Я был разбит. Почти неделю я носил маску головореза, и теперь просто не мог продолжать.

– Я... Я плохо, ваша честь. Плохо.

Он выглядел непонимающим.

– Что?!

– Я плохо, сэр. Я действительно страдаю, – сказал я.

– Зачем ты мне это рассказываешь?

– Потому что вы спросили, как я.

– Кто тебя спросил?

– Вы. Вы только что спросили меня.

– Я не сказал «Как ты?» Я сказал «*Кто* ты?» Зачем бы мне тратить время, спрашивая «Как ты?»! Это тюрьма. Я знаю, что здесь все страдают. Если бы я спрашивал каждого «Как ты?», мы просидели бы здесь целый день. Я сказал «*Кто* ты?» Назови свое имя для протокола.

– Тревор Ной.

– Хорошо. Теперь можем двигаться дальше.

Весь зал суда начал смеяться, поэтому и я начал смеяться. Но теперь я еще больше окаменел, потому что не хотел, чтобы судья подумал, что я смеюсь, так как не отношусь к нему серьезно.

Вяснилось, что мне было незачем волноваться. Все, что произошло далее, заняло всего несколько минут. Мой адвокат поговорил с обвинителем, и все уже было улажено. Он представил мое дело. У меня не было судимостей, я не был опасен. С противоположной стороны возражений не последовало. Судья назначил день рассмотрения дела в суде и залог. Я мог свободно идти.

Я вышел из здания суда, дневной свет ударил мне в глаза, а я сказал: «Милостивый *Иисус*, я никогда туда больше не вернусь». Это была всего лишь неделя. Неделя в камере, которая не была ужасно некомфортабельной, с едой, которая была вполне сносной. Но неделя в тюрьме – это очень, очень долго. Неделя без шнурков – это очень, очень долго. Неделя без часов, без солнца может показаться вечностью. Мысль о чем-то худшем, мысль об отбывании настоящего срока в настоящей тюрьме – этого я не мог себе даже представить.

Я поехал с двоюродным братом к нему домой, принял душ, поспал там, а на следующий день он отвез меня в мамин дом. Я шел по подъездной дорожке, держась действительно непринужденно. Я планировал сказать, что несколько дней ночевал у Млунгиси. Я вошел в дом, словно ничего не случилось. «Привет, мам! Как делишки?» Мама ничего не сказала, не задала мне ни одного вопроса. Я подумал: «*Ладно. Классно. Все хорошо.*»

Большую часть дня я просидел дома. Ближе к вечеру мы сидели за кухонным столом, разговаривая. Я рассказывал все эти байки, сочиняя, что мы с Млунгиси делали всю ту неделю, когда

поймал ее взгляд и увидел, как она медленно покачивает головой. Этот взгляд отличался от всех, что я видел когда-либо раньше. Это не было «когда-нибудь я все-таки поймаю тебя». Это не был гнев. Это не было неодобрение. Это было разочарование. Ей было больно.

Когда поймал ее взгляд и увидел, как она медленно покачивает головой.

Этот взгляд отличался от всех, что я видел когда-либо раньше. Это не был гнев.

Это не было неодобрение. Это было разочарование.

Ей было больно.

– Что? – спросил я. – Что такое?

– Мальчик, как ты думаешь, кто заплатил за тебя залог? А? Кто заплатил твоему адвокату? Ты думаешь, я идиотка? Неужели ты думал, что мне никто не расскажет? – сказала она.

Правда полилась через край. Конечно, она знала: автомобиль. Все это время он был потерян. Я был настолько поглощен улаживанием тюремных дел и заметанием следов, что забыл: доказательство моего преступления находилось прямо здесь, во дворе, красная «Мазда», исчезнувшая с подъездной дорожки. И, конечно, когда я позвонил другу, а тот попросил своего отца дать денег на адвоката, отец выяснил у него, для чего нужны деньги, и так как сам был отцом, немедленно позвонил моей матери. Она дала моему другу денег, чтобы заплатить адвокату. Она дала моему двоюродному брату денег, чтобы заплатить залог. Я провел целую неделю в камере, думая, что был таким ловким. Но все это время она все знала.

– Я знаю, что ты считаешь меня сумасшедшей старой сукой, ворчащей на тебя, – сказала она. – Но ты забыл, по какой причине я обращаюсь с тобой так строго и не даю тебе спуска. Потому что я люблю тебя. Все, что я когда-либо делала, я делала из-за любви. Если я не накажу тебя, мир накажет тебя еще сильнее. **Мир не любит тебя.** Если полиция возьмется за тебя... **Полиция тебя не любит.** Когда я тебя бью, я пытаюсь тебя спасти. Когда они тебя бьют, они пытаются тебя убить.

КОГДА Я БЫЛ РЕБЕНКОМ, моей любимой едой были заварной крем и желе, это и сейчас остается моим любимым десертом на все времена. В одну из суббот мама планировала большой семейный праздник, приготовила огромную миску заварного крема и желе и поставила ее в холодильник. Желе было разного вкуса и разного цвета – красное, желтое и зеленое. Я не мог

устоять. Весь день, каждый раз, проходя мимо холодильника, я залезал туда с ложкой и брал чуточку. Это была гигантская миска, подразумевалось, что ее хватит на неделю для всей семьи. Я один прикончил ее за день.

В ту ночь, когда я отправился спать, меня жестоко искушали москиты. Москиты любят меня кусать, и, когда я был ребенком, мне приходилось тяжело. Они пожирали меня ночью. Я просыпался, покрытый укусами, меня подташнивало, и все тело чесалось. Именно так и было в то самое воскресное утро. Мой желудок раздулся от заварного крема и желе, я был покрыт укусами и с трудом мог встать с постели. Мне казалось, что меня вытошнит. Потом вошла мама.

– Одевайся, – сказала она, – мы идем в церковь.

– Я плохо себя чувствую.

– Вот почему мы идем в церковь. Там Иисус исцелит тебя.

– Э... Не уверен, что это сработает.

У нас с мамой были разные представления о том, как действует Иисус. Она верила, что ты молишься Иисусу, а потом Иисус появляется и делает то, что тебе нужно. Мое мнение об Иисусе было более реалистичным.

– Почему бы мне не выпить лекарство, а потом помолиться Иисусу и поблагодарить его за то, что он даровал нам врачей, которые изобрели лекарства. Ведь именно лекарства делают твое самочувствие лучше, не Иисус, – сказал я.

– Тебе не нужны лекарства, если у тебя есть Иисус. Иисус исцелит тебя. Молись Иисусу.

– Но разве лекарства – не дар Иисуса? А если Иисус дал нам лекарства, а мы не принимаем лекарства, разве мы не отказываемся от милости, которую он даровал нам?

Но, как и все наши споры об Иисусе, этот разговор ни к чему не привел.

– Тревор, – сказала она, – если ты не пойдешь в церковь, тебе будет хуже. Тебе повезло, что ты заболел в воскресенье, потому что сейчас мы пойдем в церковь, ты сможешь помолиться Иисусу, и Иисус исцелит тебя.

– Звучит прекрасно, но почему бы мне просто не остаться дома?..

– Нет. Одевайся. Мы идем в церковь.

Глава 18

Жизнь моей матери

Как только мои волосы заплели в косички для выпускного, я впервые начал пользоваться вниманием девушек. Я начал ходить на настоящие свидания. Временами я думал, что это потому, что я выгляжу лучше. Иногда я думал, что это потому, что им нравится тот факт, что я прошел через такую же боль, как они, чтобы хорошо выглядеть. В любом случае, так как я добился успеха, то решил особо не заморачиваться с его формулой. Я продолжал ходить в салон каждую неделю, каждый раз проводя там часы, пока мои волосы выпрямляли и заплетали. Мама только закатывала глаза. «Я бы никогда не смогла встречаться с мужчиной, который тратит на свои волосы больше времени, чем я», – говорила она.

С понедельника по субботу мама работала в офисе и возилась в саду, одетая, как бомжиха. Потом, для воскресного утреннего похода в церковь, она укладывала волосы и надевала красивое платье и туфли на высоком каблуке. Тогда она выглядела на миллион баксов. Когда она была при параде, то не могла устоять и не дразнить меня, давая легкие словесные тычки, как мы всегда давали друг другу.

– А теперь кто лучше всех выглядит в семье, а? Надеюсь, ты наслаждался всю неделю, будучи красавчиком, но теперь королева вернулась, малыш. Чтобы так выглядеть, ты четыре часа провел в салоне. Я – всего лишь приняла душ.

Она просто шутила со мной. Ни один сын не хочет разговаривать о том, какая горячая штучка его мать. Но, надо сказать правду, она была красива. Красива снаружи, красива изнутри. Она обладала такой самоуверенностью, которой у меня не было никогда. Даже когда она работала в саду, одетая в рабочую одежду и покрытая грязью, можно было видеть, насколько она привлекательна.

Я могу только догадываться, что в свое время мама разбила не одно сердце, но с того времени, как родился я, в ее жизни было только два мужчины – мой отец и мой отчим. Прямо за углом дома моего отца в Йовилле был автосервис под названием «Mighty Mechanics». Наш «Фольксваген» постоянно ломался, и мама отдавала его туда в ремонт. Там мы встретили этого действительно классного парня, Абея, одного из автомехаников. Я видел его, когда мы приходили забрать автомобиль.

Автомобиль ломался часто, так что мы часто приходили туда. Со временем начало казаться, что мы были там даже тогда, когда с автомобилем все было в порядке. Мне было шесть, может быть, семь. Я не понимал всего, что происходило. Я просто знал, что этот парень вдруг стал близким.

Он был высоким и худым, но сильным. У него были длинные руки и большие кисти. Он мог поднимать автомобильные двигатели и коробки передач. Он был привлекательным, но не смазливym. Маме это в нем нравилось, она говорила, что есть такой тип уродства, который женщины находят привлекательным. Она называла его Аби. Он называл ее Мбуйи, сокращенно от Номбуйисело.

Мне он тоже нравился. Аби был обаятельным и веселым, у него была легкая, приятная улыбка. Он также любил помогать людям, особенно всякому, находящемуся в нужде. Если чья-нибудь машина ломалась на автостраде, он подходил посмотреть, что он может сделать. Если кто-нибудь кричал: «Держи вора!», он был тем парнем, который отправляется в погоню. Живущей по соседству старой даме надо помочь перенести коробки? Он был тем парнем. Ему нравилось нравиться миру, из-за чего мириться с его насилием было еще сложнее. Ведь если вы думаете про кого-то, что он чудовище, а весь мир говорит, что он святой, вы начинаете думать, что плохой – вы. *Должно быть, в том, что происходит, виноват я.* Это единственный вывод, к которому вы приходите, так как иначе: почему вы – единственный, на кого направлен его гнев?

Со мной Абель всегда был классным. Он не пытался быть мне отцом, к тому же мой отец все еще присутствовал в моей жизни, так что я не искал того, кто бы его заменил. *«Это классный мамин друг»* – вот как я думал о нем. Он стал приходить и оставаться с нами в Иден-Парке. Иногда он хотел, чтобы мы ночевали с ним в его гараже-квартире в Оранж-Гроув, что мы и делали. Потом я сжег дом белых, и с этим было кончено. С тех пор мы жили вместе в Иден-Парке.

Как-то вечером, когда мы с мамой были на молитвенном собрании, она отвела меня в сторону.

– Хочу тебе кое-что сказать. Мы с Абелем собираемся пожениться, – произнесла она.

– Не думаю, что это хорошая идея, – сказал я инстинктивно, даже не подумав.

Я не был расстроен, ничего такого. Просто у меня было предчувствие насчет этого парня, интуиция. Я почувствовал это еще до случая с тутовым деревом. Тот случай не изменил моих чувств к Абелю, просто наглядно показал мне, на что тот

способен.

– Я понимаю, что это трудно. Я понимаю, что ты не хочешь нового папу, – сказала она.

Ему нравилось нравиться миру, из-за чего мириться с его насилием было еще сложнее. Если вы думаете про кого-то, что он чудовище, а весь мир говорит, что он святой, вы начинаете думать, что плохой – вы.

Должно быть, в том, что происходит, виноват я.

– Нет, – сказал я, – дело не в этом. Мне нравится Абель. Но ты не должна выходить за него замуж.

В то время я еще не знал слова «губительный», но если бы знал, то, вероятно, использовал его.

– В нем просто есть что-то неправильное. Я ему не доверяю. Я не думаю, что он хороший человек.

Я всегда прекрасно относился к тому, что мама встречается с этим парнем, но никогда не думал о возможности того, что он станет постоянным членом нашей семьи. Мне нравилось быть с Абелем так же, как мне понравилось играть с тигренком, когда я впервые посетил тигриный заповедник: это нравилось, было забавно, но я никогда не думал о том, чтобы взять его домой.

Если насчет Абеля и были какие-то сомнения, истина все это время была прямо перед нами. Она заключалась в его имени. Он был Абелем, хорошим братом, хорошим сыном, это имя заимствовано прямо из Библии. И он оправдывал его. Он был старшим сыном, послушным, заботившимся о матери, заботившимся о братьях и сестрах. Он был гордостью семьи.

Но Абель – это его английское имя. Его имя на тсонга – Нгисавени. Это означает «опасайся».

Мама и Абель поженились. Не было торжественной церемонии, не было обмена кольцами. Они пошли и подписали бумаги – вот и все. Примерно через год родился мой брат, Эндрю. Я только смутно помню, как мама исчезла на несколько дней, а когда вернулась, с ней была эта штука, которая плакала, гадила и ела. Но когда ты на девять лет старше своего брата, его появление мало что меняет в твоей жизни. Я не менял подгузники, я играл в компьютерные игры в торговом центре и носился по району.

Основным, что знаменовало для меня появление Эндрю, стала наша первая поездка к семье Абеля во время рождественских каникул. Они жили в Тзанеене, городе в Газанкулу, бантустане тсонга. В Тзанеене тропический климат, жарко и влажно. На белых фермах поблизости растут некоторые из самых замечательных фруктов: манго, личи, красивейшие из

всех когда-либо виденных вами бананов. Именно там выращиваются все фрукты, которые мы экспортируем в Европу. Но на черной территории, в двадцати минутах дальше по дороге, почва истощена годами избыточного земледелия и избыточного выпаса скота.

Мать и сестры Абея были абсолютно традиционными мамами-домохозяйками, а Абель и его младший брат, который был полицейским, обеспечивали семью. Они были очень добрыми и щедрыми, сразу приняли нас, как членов своей семьи.

Как я узнал, культура тсонга невероятно патриархальная. Мы говорим о мире, где женщины должны кланяться, когда приветствуют мужчину. Общественные отношения между мужчинами и женщинами ограничены. Мужчины убивают животных, а женщины готовят еду. Мужчин даже не пускают на кухню. Я был девятилетним мальчиком, и это казалось мне фантастикой. Мне не позволяли делать ничего. Дома мама все время заставляла меня заниматься домашними делами: мыть посуду, подметать пол. Но когда она попыталась сделать это в Тзанеене, женщины не разрешили ей этого.

– Тревор, заправь свою кровать, – говорила мама.

– Нет, нет, нет. Тревор должен идти на улицу и играть, – протестовала мать Абея.

Меня выгоняли на улицу веселиться, пока девочки, мои кузины по отчиму, должны были убирать дом и помогать женщинам готовить. Я был в восторге.

Саму традицию, что женщины кланяются мужчинам, мама нашла абсурдной.

Но она не отказывалась это делать.

Она делала это утвриванно.

Мама ненавидела каждую проведенную там минуту. Для Абея, сына-первенца, который привез домой своего сына-первенца, эта поездка была важным событием. В хоумлендах сын-первенец по умолчанию становится практически отцом/мужем, потому что глава семьи уезжает на заработки. Сын-первенец – хозяин в доме. Он растит своих братьев и сестер. Его мама обходится с ним с определенной долей уважения, как с замещающим отца. Так как это было торжественное возвращение Абея домой с Эндрю, он ожидал, что моя мать тоже будет играть традиционную роль. Но она отказалась.

Женщины в Тзанеене в течение дня должны были выполнять разнообразную работу. Они готовили завтрак, готовили ланч, готовили обед, стирали и убрали дом. Мужчины круглый год работали в городе, чтобы содержать семью, так что здесь они

были более или менее в отпуске. Они отдыхали, а женщины их обслуживали. Они могли зарезать козу или сделать что-то подобное – те мужские дела, которые должны были быть сделаны. Но потом они шли в район, предназначенный только для мужчин, общались и пили, пока женщины готовили и занимались уборкой.

Но моя мама тоже круглый год работала в городе, и Патрисия Ной не собиралась оставаться на чьей-то кухне. Она была вольной птицей. Она настаивала на том, чтобы прогуляться в поселок, пойти туда, где отдыхают мужчины, и разговаривать с мужчинами на равных.

Саму традицию, что женщины кланяются мужчинам, мама нашла абсурдной. Но она не отказывалась это делать. Она делала это утрированно. Она превращала это в насмешку. Другие женщины кланялись мужчинам с вежливым небольшим приседанием. Мама падала ниц и съезжалась, стелилась в пыли, словно молилась какому-то божеству, и оставалась в такой позе долго, на самом деле долго, достаточно долго для того, чтобы любой почувствовал себя неудобно.

Такой была мама. Не бороться с системой, а насмехаться над системой.

Для Абея это выглядело так, будто жена его не уважает. Все другие мужчины женились на покорных девушках из деревни, и тут приезжает он, со своей современной женщиной, более того, женщиной-коса. А эта культура известна тем, что ее женщины особенно крикливы и распутны. Так что они все время ссорились и ругались, и после той первой поездки мама отказывалась ехать туда снова.

Вплоть до того момента я всю свою жизнь жил в мире, где главенствовали женщины. Но после свадьбы мамы и Абея, и особенно после рождения Эндрю, я видел, как он пытается самоутвердиться и навязать свои идеи о том, какой, по его мнению, должна быть семья. Почти сразу выяснилось одно: в его представления о семье я не входил. Я был напоминанием о том, что до него у мамы была другая жизнь. Я даже не был одного цвета с ней. Его семьей были он, мама и новый ребенок. Моей семьей были мама и я. И я действительно ценил в нем это. Иногда у нас были дружеские отношения, иногда нет, но он никогда не притворялся, что наши отношения были чем-то другим, чем они были на самом деле. Мы обменивались шутками и вместе смеялись. Мы вместе смотрели телевизор. Он время от времени давал мне карманные деньги, когда мама говорила, что с меня хватит. Но он никогда не дарил мне подарок на день рождения или Рождество. Он никогда не дарил мне отцовскую любовь. Я никогда не был его сыном.

Присутствие Абеля в доме принесло с собой новые правила. Одно из первых, что он сделал, – выкинул из дома Фуфи и Пантеру.

– Никаких собак в доме.

– Но у нас собаки всегда были в доме.

– Больше такого не будет. В африканских домах собаки спят на улице. В доме спят люди.

Убрав собак во двор, Абель словно говорил: «У нас здесь все будет так, как оно должно быть». Когда они только встречались, мама все еще была вольной птицей, делала, что хотела, ходила, куда хотела. Постепенно ее окоротили. Я чувствовал, что он пытался ограничить нашу независимость. Он даже расстраивался из-за церкви.

Такой была мама. Не бороться с системой, а насмехаться над системой.

– Вы не можете быть в церкви целый день, – говорил он. – Моя жена уходит на целый день, и что скажут люди? «Почему его жена шляется? Где она? Кто уходит в церковь на целый день?» Нет, нет, нет. Это вызовет неуважение ко мне.

Он пытался помешать ей проводить так много времени в церкви, и одним из самых эффективных методов, которые он использовал, было прекратить чинить мамину машину. Он был механиком. Ее автомобиль постоянно ломался. Это был способ ограничить нашу свободу. Машина ломалась, и Абель специально не прикасался к ней.

Мама не могла позволить себе другой автомобиль, и она не могла починить машину где-нибудь еще. Ты замужем за механиком, и ты собираешься отдать свой автомобиль в ремонт другому механику? Это хуже, чем измена.

Так что Абель стал нашим единственным транспортом, и он мог отказаться везти нас в те или иные места. Мама, всегда непокорная, пользовалась микроавтобусами, чтобы добраться до церкви.

Потеря автомобиля также означала потерю доступа к моему папе. Нам приходилось просить Абеля, чтобы он отвез нас в город, а ему не нравилось то, зачем мы туда едем. Это оскорбляло его мужское достоинство.

– Нам надо поехать в Йовилл.

– Зачем вы собираетесь в Йовилл?

– Навестить отца Тревора.

– Что? Нет, нет. Как я могу взять свою жену и ее ребенка и отвезти вас туда? Вы оскорбляете меня. Что я должен сказать своим друзьям? Что я должен сказать своей семье? Моя жена в

доме другого мужчины? Мужчины, который сделал ей этого ребенка? Нет, нет, нет.

*Мы обменивались шутками и вместе смеялись.
Мы вместе смотрели телевизор.
Он время от времени давал мне карманные деньги.
Но он никогда не дарил мне подарок на день рождения
или Рождество.
Он никогда не дарил мне отцовскую любовь.
Я никогда не был его сыном.*

Я виделся с отцом все реже и реже. Вскоре он переехал.

Абель хотел традиционный брак с традиционной женой. Долгое время я удивлялся, почему он вообще женился на такой женщине, как моя мама, ведь она была во всех смыслах полной противоположностью его представлениям. Если ему нужна была женщина, которая кланялась бы ему, так в Тзанеене было полно таких девушек, которых растили единственно с этой целью.

Моя мама всегда объясняла это так: традиционный мужчина хочет покорную женщину, но он никогда не полюбит покорную женщину. Его привлекают независимые женщины. «Он похож на коллекционера экзотических птиц, – говорила она. – Он хочет только ту женщину, которая свободна, потому что его мечта – посадить ее в клетку».

Когда мы впервые встретили Абеля, он курил много травы. Он еще и пил, но в основном употреблял травку. Оглядываясь назад, я почти скучаю по тем марихуановым дням, потому что травка успокаивала его. Он курил, успокаивался, смотрел телевизор и засыпал. Мне кажется, подсознательно он понимал, что это было нужно ему, чтобы держать в узде свой гнев.

После того как они поженились, курить травку он бросил. Мама заставила его по религиозным причинам: «тело – храм» и так далее. Но никто из нас не предвидел того, что, бросив курить травку, он просто заменит это алкоголем. Абель начал пить все больше и больше. Он никогда не приходил с работы домой трезвым. В обычный день он выпивал шесть банок пива после работы. По вечерам в будни он был пьяным. Иногда по пятницам и субботам он просто не приходил домой.

*Традиционный мужчина хочет покорную женщину, но
он никогда не полюбит покорную женщину.
«Он похож на коллекционера экзотических птиц.
Он хочет только ту женщину, которая свободна,
потому что его мечта – посадить ее в клетку».*

Когда Абель был пьян, его глаза краснели, наливались кровью. Это был намек, который я научился читать. Я всегда думал об Абеле, как о кобре: спокойный, идеально неподвижный, затем – взрыв. Не было гневных тирад и брани, не было сжатых кулаков. Он был очень спокоен, и вдруг, откуда ни возьмись, появлялась жестокость. Глаза были для меня единственным намеком, что надо держаться подальше. Его глаза были всем. Это были глаза дьявола.

Однажды поздно ночью мы проснулись оттого, что дом был полон дыма. Когда мы отправились спать, Абель еще не пришел домой, поэтому я лег в маминую комнату с ней и Эндрю, который был еще младенцем. Проснулся я оттого, что она трясла меня и кричала: «Тревор! Тревор!» Дым был повсюду. Мы подумали, что дом горит.

Мама побежала по коридору в кухню, где обнаружила, что кухня в огне. Абель приехал домой пьяным, мертвецки пьяным, более пьяным, чем мы когда-либо видели. Он был голоден, попытался разогреть какую-то еду на плите, а пока она готовилась, уснул на диване. Кастрюля сгорела, загорелась стена кухни за плитой, дым клубился повсюду. Мама выключила плиту и открыла двери и окна, чтобы попытаться проветрить. Потом она подошла к дивану, разбудила его и начала бранить за то, что он чуть не спалил весь дом. Он был слишком пьян, чтобы его это волновало.

Мама вернулась в спальню, взяла телефон и позвонила моей бабушке. Она начала рассказывать об Абеле и его пьянстве. «Этот человек, он нас когда-нибудь убьет. Он почти спалил дом...»

Абель вошел в спальню, очень тихий, очень спокойный. Его глаза были кроваво-красными, веки набрякшими. Он положил палец на рычаг телефона и прервал звонок. Мама взвилась.

– Как ты смеешь! Ты прервал мой разговор! Что это ты творишь, а?!

– Не рассказывай людям о том, что происходит в этом доме, – сказал он.

– Ой, пожалуйста! Ты беспокоишься о том, что подумает мир? Беспокойся об этом мире! Беспокойся о том, что думает твоя семья!

Абель навис над мамой. Он не повышал голос, не злился.

– Мбуйи, ты меня не уважаешь, – сказал он мягко.

– Уважение?! Ты почти сжег наш дом. Уважение? Ой, пожалуйста! Заслужи уважение! Ты хочешь, чтобы я уважала тебя как мужчину, тогда води себя как мужчина! Пропиваешь деньги на улицах, а где подгузники для твоего ребенка?! Уважение?! Заслужи уважение...

- Мбуйи...
- Ты не мужчина, ты ребенок...
- Мбуйи...
- Я не могу иметь ребенка вместо мужа...
- Мбуйи...
- У меня есть свои дети, которых надо растить...
- Мбуйи, заткнись...
- Мужчина, который приходит домой пьяным...
- Мбуйи, заткнись...
- И сжигает дотла дом со своими детьми...
- Мбуйи, заткнись...
- И ты называешь себя отцом...

Потом, ни с того ни с сего, как раскат грома, когда нет туч, – хлоп! Он с размаху двинул ее по лицу. Она ударилась о стену и упала, как грудa кирпичей. Я никогда не видел ничего подобного. Она упала и лежала добрых тридцать секунд. Эндрю начал кричать. Я не помню, как я пошел взять его, но четко помню, как в какой-то момент держал его на руках. Мама поднялась, пытаясь устоять на ногах, и опять начала с ним спорить. Она явно была ошарашена, но пыталась вести себя с большей уверенностью, чем у нее была на самом деле. Я видел на ее лице выражение неверия. Такое случилось с ней впервые в жизни. Она посмотрела ему прямо в лицо и начала кричать на него:

- Ты только что ударил меня?

Глаза были для меня единственным намеком, что надо держаться подальше.

Его глаза были всем. Это были глаза дьявола.

Все это время в моей голове крутилось то же самое, что сказал Абель. *Заткнись, мама. Заткнись. Ты сделаешь только хуже.* Так как меня часто били, я знал, что возражения – именно то, что не помогает. Но она не успокаивалась.

- Ты только что ударил меня?
- Мбуйи, я говорил тебе...
- Ни один мужчина, никогда! Не думай, что можешь контролировать меня, когда ты не можешь контролировать даже...

Хлоп! Он снова ударил ее. Она отшатнулась, но на этот раз не упала. Она беспорядочно собралась, взяла меня, взяла Эндрю.

- Пошли. Мы уходим.

Мы выбежали из дома и пошли по дороге. Была глухая ночь, на улице было холодно. На мне не было ничего, кроме футболки и спортивных штанов. Мы шли в полицейский участок Иден-Парка, расположенный примерно в километре. Мама ввела нас

внутри, и там были черный полицейский и цветной полицейский, дежурившие за стойкой.

– Я пришла, чтобы выдвинуть обвинение, – сказала она.

– Вы пришли, чтобы выдвинуть обвинение насчет чего?

– Я пришла, чтобы выдвинуть обвинение против человека, ударившего меня.

До сегодняшнего дня я не забыл покровительственный, снисходительный тон, которым они с ней говорили.

– Успокойтесь, леди. Успокойтесь. Кто вас ударил?

– Мой муж.

– Ваш муж? Что вы сделали? Вы разозлили его?

– Я... Что? Нет. Он ударил меня. Я пришла, чтобы выдвинуть обвинение против...

– Нет, нет. Мадам. Зачем вы хотите выдвинуть обвинение, а? Вы уверены, что хотите это сделать? Идите домой и поговорите с мужем. Вы знаете, что если вы выдвинете обвинение, то не сможете забрать заявление? У него будет судимость. Его жизнь никогда не будет прежней. Вы действительно хотите, чтобы ваш муж отправился в тюрьму?

Мама продолжала настаивать на том, чтобы они открыли дело, но они отказали. Они отказались написать протокол.

– Это семейное дело. Вы же не хотите вмешивать полицию. Может быть, вы еще подумаете и придете завтра утром? – сказали они.

Мама начала кричать на них, требовала встречи с начальником участка, и именно в тот момент в участок вошел Абель. Он успокоился. Он немного протрезвел, но все еще был пьян, когда ворвался в полицейский участок. Но это не имело значения. Он подошел к полицейским, и участок превратился в балаган. Словно они были старыми приятелями.

– Эй, ребята, вы знаете, как это бывает. Вы знаете, какими могут быть женщины. Я просто немного разозлился, вот и все.

– Все в порядке, парень. Мы знаем. Это случается. Не беспокойся.

Я никогда не видел ничего подобного. Мне было девять лет, и я до сих пор думал о полицейских как о хороших парнях. Ты попадаешь в беду, звонишь в полицию, появляются эти мигающие красно-синие огни, и тебя спасают. Но я помню, как стоял там и смотрел на маму, ошеломленный, испуганный тем, что эти полицейские не собираются помочь ей. Тогда я и осознал, что полицейские – не те, кем я их считал. Они были в первую очередь мужчинами и только во вторую – полицейскими.

Мы ушли из участка. Мама взяла меня и Эндрю, и мы отправились немного пожить у бабушки в Соуэто. Несколько

недель спустя Абель приехал и извинился. Абель всегда был искренним и неподдельным в своих извинениях: он этого не хотел. Он знает, что был неправ. Он никогда так больше не делает.

Бабушка убедила маму, что она должна дать Абелю второй шанс. Ее довод был прост: «Все мужчины делают это». Мой дедушка, Темперанс, бил ее. Уход от Абеля не гарантировал, что это больше не повторится, и Абель, по крайней мере, был готов извиниться. Так что мама решила дать ему еще один шанс. Мы вместе вернулись в Иден-Парк и несколько лет, да, *лет*, Абель не тронул ее ни пальцем. Или меня. Все вернулось на круги своя.

...

Абель был замечательным механиком, возможно, одним из лучших в округе в то время. Он учился в техническом колледже и закончил его лучшим из выпуска. Ему предлагали работать в «BMW» и «Mercedes». Его бизнес процветал благодаря рекомендациям. Люди со всего города пригоняли ему на ремонт свои машины, потому что он мог творить с ними чудеса. Мама действительно верила в него. Она думала, что поможет ему подняться, поможет с пользой использовать свой потенциал не только как механика, но и как владельца собственного автосервиса.

Мама была настолько своенравной и независимой, что оставалась женщиной, которая вносит свой вклад. Она вносила, вносила и вносила. Таков был ее характер. Она отказывалась прислуживать Абелю дома, но хотела, чтобы он преуспел как мужчина. Если бы она могла сделать их брак настоящим равным браком, то полностью влилась бы в него – так же, как она полностью отдавалась своим детям.

В какой-то момент хозяин Абеля решил продать «Mighty Mechanics» и уйти на пенсию. У мамы были некоторые сбережения, и она помогла Абелю купить этот автосервис. Они перенесли автосервис из Йовилла в промышленный район под названием Уинберг, сразу к западу от Александры, и «Mighty Mechanics» стал новым семейным бизнесом.

Когда ты впервые начинаешь заниматься бизнесом, существует столько вещей, о которых тебе никто не расскажет. Это особенно верно в том случае, если вы – два молодых черных, секретарь и механик, выходцы из тех времен, когда черным вообще не позволялось владеть собственным бизнесом. Одна из вещей, о которых вам никто не скажет, заключается в том, что,

когда вы покупаете дело, вы покупаете его со всеми долгами. После того как мама и Абель разобрались в бухгалтерских книгах «Mighty Mechanics» и полностью осознали, что они купили, они увидели, какие большие проблемы уже были у компании.

Я стоял там и смотрел на маму, ошеломленный, испуганный тем, что эти полицейские не собираются помочь ей.

Тогда я и осознал, что полицейские – не те, кем я их считал. Они были в первую очередь мужчинами и только во вторую – полицейскими.

Постепенно автосервис завладел нашими жизнями. Я уходил из школы и шел пять километров пешком от «Мэривейла» до автосервиса. Я часами сидел и пытался сделать уроки среди станков и окружающих меня ремонтных работ. Абель неизбежно задерживался с ремонтом какого-нибудь автомобиля, а так как возил нас он, нам приходилось ждать, пока он закончит, а потом уже отправляться домой. Это начиналось как: «Мы закончим поздно. Иди, поспи в машине, мы скажем тебе, когда соберемся отправиться». Я сворачивался калачиком на заднем сиденье какого-нибудь седана, они будили меня в полночь, и мы ехали обратно до Иден-Парка, где падали с ног. Вскоре это превратилось в: «Мы закончим поздно. Иди, поспи в машине, мы разбудим тебя утром, когда будет пора идти в школу». Мы начали спать в автосервисе. Сначала это было один-два раза в неделю, потом три или четыре. Потом мама продала дом и эти деньги тоже вложила в бизнес. Она была полностью поглощена им. Для Абеля она отказывалась от всего.

С того времени мы жили в автосервисе. Это, в общем-то, был склад. И не тот затейливый, романтический склад, который хипстеры однажды превращают в лофт. Нет, нет. Это было холодное пустое помещение. Серые бетонные полы в пятнах масла и смазки, повсюду – старые раздолбанные машины и автомобильные запчасти. Рядом с входом, у выходящих на улицу рулонных ворот, находился маленький кабинет, выгороженный гипсокартоном, где можно было заниматься документами и подобным. В задней части была маленькая кухня, без плиты, просто – раковина и несколько шкафчиков. Для того чтобы помыться, был только таз, что-то вроде ведра для мытья полов, с прикрепленной над ним лейкой душа.

Когда ты впервые начинаешь заниматься бизнесом, существует столько вещей, о которых тебе никто не расскажет. Это особенно, если вы – два молодых черных,

секретарь и механик, выходцы из тех времен, когда черным вообще не дозволялось владеть собственным бизнесом.

Абель и мама спали с Эндрю в кабинете на тонком матрасе, который раскатывали на полу. Я спал в автомобилях. Мне действительно было удобно спать в автомобилях. Я знал все лучшие для ночевки машины. Худшими были дешевые «Фольксвагены», дешевые японские седаны. Сиденья почти не откидывались, подголовников не было, обивка – из дешевого кожаменителя.

Полночи я проводил в попытках не соскользнуть с сиденья. Они были еще и тесными. Я просыпался с ноющими коленями, потому что не мог вытянуть ноги. Немецкие автомобили были чудесными, особенно «Мерседесы». Большие мягкие кожаные сиденья, похожие на диваны. Сначала, когда ты на них только залезал, они были холодными, но они были хорошо теплоизолированы и прекрасно согревались. Все, что мне было нужно, – мой школьный пиджак, чтобы свернуться под ним, и в «Мерседесе» мне действительно могло быть уютно.

Но лучшими были, несомненно, американские автомобили. Я молился, чтобы клиент пригнал большой «Бьюик» с диванным сиденьем. Если я видел один из них, в мыслях я кричал: «Ура!» Американские автомобили пригоняли редко, но когда такое случалось, боже, я был на седьмом небе.

Так как «Mighty Mechanics» теперь был семейным бизнесом, а я был членом семьи, мне тоже приходилось работать. Больше не было времени играть. Не было времени даже на уроки. Я шел домой, снимал школьную форму, надевал рабочую одежду и залезал под капот какого-нибудь седана. Я уже мог самостоятельно выполнить основное обслуживание автомобиля и часто это делал. Абель говорил: «Это «Хонда». Незначительный ремонт». И я лез под капот. День за днем. Контакты, свечи, конденсаторы, масляные фильтры, воздушные фильтры. Поставить новые сиденья, поменять шины, сменить передние фары, закрепить задние фары. Сходить в магазин запчастей, купить детали, вернуться в мастерскую.

Мне было одиннадцать лет, и это было моей жизнью. Я отставал в школе. Я приходил с несделанными уроками. Учителя отчитывали меня:

– Почему ты не делаешь уроки?

– Я не смог сесть за уроки. У меня дома есть работа.

Мы работали, работали и работали. Но неважно, сколько часов мы вкладывали, бизнес продолжал оставаться убыточным.

Мы потеряли все. Мы даже не могли позволить себе нормальную еду. Был один месяц, который я никогда не забуду, худший месяц в моей жизни. Мы были настолько нищими, что неделями ели только тарелки *marogo* – дикого шпината, приготовленного с гусеницами. Они назывались гусеницы-мопане. Гусеницы-мопане были в буквальном смысле самой дешевой едой, которую ели только беднейшие из бедных. Я рос бедным, но бывает бедность и бывает «Подожди, я ем гусениц».

Гусеницы-мопане были тем, на что даже жители Соуэто могли отреагировать так: «Э... нет». Это мохнатые яркие гусеницы размером с палец. Они ничем не напоминают эскарго, когда кто-то взял улиток и дал им причудливое название. Это чертовы червяки. Их черные шерстинки колют небо, когда ты их ешь. Когда ты кусаешь гусеницу-мопане, в твой рот нередко брызжут ее желто-зеленые экскременты.

Какое-то время гусеницы мне даже немного нравились. Это было что-то вроде кулинарного приключения. Но через несколько недель, когда приходилось есть их каждый день, изо дня в день, я больше не мог их выносить. Никогда не забуду, как однажды я раскусил гусеницу-мопане пополам, вытекла эта желто-зеленая гадость, и я подумал: «Я ем дерьмо гусеницы». Меня тут же чуть не вырвало. Я вскочил и побежал к маме, крича: «Я больше не хочу есть гусениц!» В тот вечер она наскребла немного денег и купила курицу. Как бы бедны мы ни были в прошлом, мы никогда не оставались без еды.

Гусеницы-мопане были в буквальном смысле самой дешевой едой, которую ели только беднейшие из бедных. Я рос бедным, но бывает бедность и бывает «Подожди, я ем гусениц».

Этот период своей жизни я ненавидел больше всего: работа весь вечер, сон в каком-нибудь автомобиле, подъем, мытье в тазу, чистка зубов над маленькой металлической раковиной, причёсывание перед зеркалом заднего вида «Тойоты», попытка одеться так, чтобы школьная форма не была в масле и смазке и дети в школе не узнали, что я живу в автосервисе. О, как я это ненавидел! Я ненавидел автомобили. Я ненавидел сон в автомобилях. Ненавидел работу с автомобилями. Ненавидел, что у меня грязные руки. Ненавидел есть гусениц. Я ненавидел все.

Довольно забавно, но я не испытывал ненависти к маме или даже Абелью. Потому что я видел, как усердно все работают. Поначалу я не знал об ошибках, совершенных в управлении делом, из-за которых и приходилось тяжело трудиться, просто чувствовал, что мы находимся в тяжелой ситуации. Но

постепенно я начал видеть, почему бизнес теряет значительные деньги.

Я часто ходил по магазинам и покупал запчасти и узнал, что Абель покупает детали в кредит. Продавцы устанавливали сумасшедшие наценки. Долг наносил вред компании, а вместо того, чтобы выплачивать долг, он пропивал ту жалкую наличность, что удавалось заработать. Он был великолепным механиком и ужасным бизнесменом.

В определенный момент для того, чтобы спасти автосервис, мама бросила работу в «ICI» и стала помогать ему руководить мастерской. Она посвятила все свое время автосервису и применила канцелярские навыки, чтобы вести бухгалтерские книги, следить за графиком, сводить баланс. И все шло хорошо, пока Абель не начал чувствовать, что бизнесом управляет она. Люди тоже стали высказываться по этому поводу. Клиенты забирали свои автомобили вовремя, продавцы получали выплаты вовремя, и они говорили: «Абель, теперь, когда твоя жена взялась за дело, дела у мастерской пошли намного лучше». Но это не помогло.

Мы жили в автосервисе почти год, а потом мама решила, что хватит. Она хотела помочь ему, но не в случае, если он собирается пропивать все доходы. Она всегда была независимой, могла себя обеспечить, но она теряла эту часть себя, отдаваясь во власть чьей-то несбывшейся мечты. В какой-то момент она сказала: «Я больше не могу этого делать. Я выхожу из дела. Все».

Она вышла из дела и получила работу секретаря в строительной компании. Каким-то образом, взяв деньги под залог какого-то остававшегося в автосервисе Абеля имущества, она смогла купить нам дом в Хайлендс-Норте. Мы переехали, мастерскую конфисковали кредиторы Абеля, так что этому пришел конец.

...

Каждый раз, когда мама меня била, я ее не боялся. Конечно, мне это не нравилось. Когда она говорила: «Я ударила тебя из любви к тебе», я не всегда соглашался с этой мыслью. Но понимал, что это – воспитание, это было сделано с определенной целью. Когда меня впервые ударил Абель, я почувствовал то, чего прежде никогда не чувствовал. Я почувствовал страх.

Я был в шестом классе, это был последний год моей учебы в «Мэривейле». Мы переехали в Хайлендс-Норт, и в школе у меня возникли проблемы из-за того, что я подделал мамину подпись на

одном документе. Планировалось какое-то мероприятие, участвовать в котором я не хотел. И, чтобы отделаться, написал отказ от ее имени. Маму вызвали в школу, и когда я днем пришел домой, она спросила меня об этом. Я был уверен, что она собирается меня выпороть, но оказалось, это был один из тех случаев, когда это ее не волновало. Она сказала, что мне просто надо было сказать ей, она в любом случае подписала бы документ. Потом Абель, который сидел с нами на кухне и наблюдал все это, сказал: «Эй, я могу с тобой переговорить?» Он отвел меня в крошечную комнатенку, кладовую рядом с кухней, и закрыл за нами дверь.

Он стоял между мной и дверью, но я ни о чем таком не думал. До меня не дошло, что надо бояться. До этого Абель никогда не пытался меня воспитывать. Он даже никогда не читал мне нотаций. Это было всегда так: «Мбуйи, твой сын сделал это», а дальнейшее было делом матери.

Была середина дня. Он был абсолютно трезв, и это сделало то, что произошло дальше, еще более пугающим.

– Почему ты подделал подпись матери? – спросил он.

Я начал оправдываться.

– Ох, я, ну... забыл принести домой бланк...

– Не лги мне. Почему ты подделал мамину подпись?

Я начал, запинаясь, нести какой-то бред, не обращая внимания на то, к чему это ведет и, наконец, привело.

Первый удар пришелся мне по ребрам. В мозгу вспыхнуло: *Это ловушка!* Я до этого никогда не дрался, никогда не учился драться, но инстинкт подсказал мне приблизиться. Я видел, что могут сделать эти длинные руки. Я видел, как он сбил с ног маму, но, что важнее, я видел, как он сбивал с ног взрослых мужчин. Абель никогда не бил людей кулаком, я никогда не видел, чтобы он ударил кого-нибудь сжатой рукой. Но он умел ударить взрослого мужчину по лицу открытой ладонью так, что тот падал. Настолько сильным он был. Я смотрел на его руки и понимал: *«Лучше тебе не находиться на том конце от них».*

Я приблизился, уклоняясь от удара, а он бил и бил, но я был слишком близко от него, чтобы получать увесистые удары. Потом это дошло до него, он прекратил бить и начал пытаться схватить и побороть меня. У него это получилось, когда он захватил кожу на моих руках, зацепил между большим и указательным пальцами и сильно вывернул. Боже, это было больно.

Это был самый страшный момент в моей жизни. Я никогда еще не был так напуган. К тому же это делалось без всякой цели – вот что пугало больше всего. Это не было воспитанием. Это никак не было связано с лучшими побуждениями. Это даже не казалось

чем-то, что должно закончиться тем, что я усвою урок – мамину подпись подделывать нельзя. Это казалось чем-то, что закончится только тогда, когда он сам захочет это закончить, когда его ярость утихнет. Казалось, внутри него было что-то, желающее уничтожить меня.

Он умел ударить взрослого мужчину по лицу открытой ладонью так, что тот падал.

Настолько сильным он был. Я смотрел на его руки и понимал: «Лучше тебе не находиться на том конце от них».

Абель был намного крупнее и сильнее меня, но мы находились в тесном помещении, и это было моим преимуществом, так как у него не было пространства для маневра. Когда он схватил и ущипнул меня, я каким-то образом умудрился вывернуться, обогнуть его и проскользнуть в дверь. Я был быстрым. Я выскочил в дверь и побежал. Но Абель тоже был быстрым. Он преследовал меня. Я выбежал из дома, перепрыгнул через ворота и бежал, бежал, бежал. Когда я в последний раз обернулся, он огибал ворота, выбегая за мной со двора. До тех пор, пока мне не исполнилось двадцать пять лет, мне время от времени являлось в кошмарах выражение его лица, когда он выбежал из-за угла.

Как только я увидел его, я опустил голову и побежал. Я бежал так, словно меня преследовал дьявол. Абель был крупнее и быстрее, но это был мой район. Меня невозможно поймать в моем районе. Я знал каждый переулок и каждую улицу, каждую стену, через которую можно перелезть, каждый забор, между прутьями которого можно протиснуться. Я нырял между машинами, срезал путь через дворы. Я не знаю, когда он сдался, потому что ни разу не оглянулся. Я бежал, бежал и бежал, так далеко, как только могли унести меня ноги. Я остановился только тогда, когда оказался в Брэмли, в трех районах от дома. Я нашел укрытие в каких-то кустах, свернулся там и так просидел, как мне казалось, несколько часов.

Мне не надо давать урок дважды. С того дня и до тех пор, пока я не ушел из дома, я жил тихо, как мышь. Если Абель был в комнате, меня в комнате не было. Если он был в одном углу, я был в другом. Если он входил в комнату, я вставал и делал вид, что мне надо на кухню, а когда возвращался в комнату, старался быть поближе к выходу. Он мог быть в самом веселом, самом дружелюбном настроении. Не важно. Больше ни разу я не дал ему возможности оказаться между мной и дверью. Может быть, после того случая я пару раз был неосмотрителен, и он успевал

ущипнуть меня или дать пинка до того, как я сматывался, но я больше никогда не доверял ему ни на секунду.

С Эндрю все было по-другому. Эндрю был сыном Абея, плоть от плоти, кровь от крови. Хотя Эндрю был на девять лет младше меня, на самом деле он был старшим сыном в этом доме, первенцем Абея, и это гарантировало ему уважение, которое не получали ни я, ни даже мама. И Эндрю не получал от этого человека ничего, кроме любви, несмотря на все свои недостатки. И из-за этой любви Эндрю (думаю, единственный из нас) не боялся. Он был укротителем льва, правда, этот лев растил его. И хотя он знал, на что способен этот зверь, от этого он не мог любить его меньше.

Если говорить обо мне, то первая вспышка гнева или бешенства со стороны Абея заставляла меня бежать. Эндрю оставался и пытался утихомирить Абея. Он даже вставал между Абеєм и мамой. Я помню, как как-то вечером Абель кинул бутылку «Jack Daniel's» в голову Эндрю. Она пролетела мимо и разбилась об стену. То есть Эндрю простоял довольно долго для того, чтобы в него кинули бутылку. Я никогда не торчал достаточно долго для того, чтобы Абель мог в меня прицелиться.

Когда «Mighty Mechanics» разорился, Абель должен был забрать оттуда свои автомобили. Кто-то завладел этой собственностью, его имущество было арестовано за долги. Возникла большая проблема. Именно тогда он начал превращать наш двор в свою автомастерскую. И именно тогда мама с ним развелась.

В африканской культуре есть официальный брак и традиционный брак. И то, что ты развелся с кем-то официально, не означает, что этот человек больше не является твоим супругом. Как только долги Абея и его ужасные деловые решения начали негативно влиять на мамин кредит и ее способность обеспечивать своих сыновей, она решила выйти из игры. «У меня нет долгов, – сказала она, – у меня нет плохой кредитной истории. Я не участвую в этом с тобой». Мы все еще оставались семьей, и у них все еще был традиционный брак, но официально она развелась с ним – с целью разделить их финансовые дела. Она также вернула себе свою фамилию.

Так как Абель занялся нелегальным бизнесом в жилом районе, один из соседей подал заявление, чтобы от нас избавиться. Мама обратилась с просьбой о выдаче лицензии, чтобы иметь возможность заниматься бизнесом на своей территории. Автомастерская простаивала, но Абель продолжал доводить дело до ручки, пропивая деньги. В то же время мама

начала делать карьеру в строительной компании, в которой она работала, выполняя больше задач и получая большую зарплату.

Теперь его автомастерская почти превратилась в просто хобби. Предполагалось, что он должен оплачивать школу Эндрю и продукты, но он с опозданием платил даже за это, так что вскоре мама начала оплачивать все. Она платила за электричество. Она платила ипотеку. Он не вкладывал в буквальном смысле слова ничего.

Это стало переломной точкой. Когда мама стала зарабатывать больше и возвращать свою независимость, она увидела, как появляется дракон. Он стал пить больше. Он становился все более и более жестоким. Вскоре после того, как Абель напал на меня в кладовой, он второй раз ударил маму. Я не могу вспомнить подробностей этого, потому что сейчас это смешивается с другими случаями, которые последовали за этим. Я помню, что вызвали полицию. На этот раз они прибыли в дом, но это снова было похоже на балаган. «Эй, ребята. Эти женщины, вы знаете, каково с ними». Не было сделано заявления, не было возбуждено уголовное дело.

Когда бы он ни бил ее или ни нападал на меня, после этого мама находила меня плачущим и отводила в сторону. Каждый раз она говорила мне одно и то же:

– Молись за Абеля, потому что он не нас ненавидит. Он ненавидит себя, – говорила она.

Для ребенка это не имело смысла.

– Ну, если он ненавидит себя, почему он не бьет себя? – говорил я.

Абель был одним из тех алкоголиков, заглянув которым в глаза, когда они пьяны, невозможно увидеть знакомого вам человека. Я помню, как однажды ночью он пришел домой вдрызг пьяным и, спотыкаясь, шел по дому. Он ввалился в мою комнату, что-то бормоча себе под нос, а я проснулся и увидел, как он мочится на пол. Он думал, что находится в туалете. Вот до какой степени он мог напиться: он даже не знал, в какой из комнат дома он сейчас находится. Как часто по ночам он вваливался ко мне в комнату, вышвыривал меня из кровати и засыпал. Я кричал на него, но это было все равно, что говорить с зомби. Я отправлялся спать на диван.

Каждый вечер после работы он пил на заднем дворе со своими работниками, пропивал все деньги, которые они заработали за день. Они вместе напивались, а к концу вечера он дрался с одним из них. Они были пьяны, кто-то говорил что-то, что не нравилось Абелю, и он выбивал дурь из одного из своих парней. Парень не появлялся на работе во вторник или среду, но

к четвергу возвращался, потому что нуждался в работе. Эта история повторялась каждые несколько недель, как по расписанию.

Он также пинал собак. В основном Фуфи. Пантера была достаточно умной, чтобы держаться от него подальше, но глухая дружелюбная Фуфи всегда пыталась подружиться с Абелем. Она перебегала ему дорогу или крутилась под ногами, когда он выпил лишнего, и он давал ей пинка. После этого она убегала и некоторое время где-то пряталась. Полученный Фуфи пинок был предупреждающим сигналом, что вот-вот начнется. Собаки и рабочие во дворе часто были первыми, кто пробовал его гнев, и это давало остальным знать, что надо затаиться. Обычно я шел искать Фуфи, где бы она ни пряталась, и был с ней.

Станным было то, что, когда Фуфи пинали, она никогда не лаяла и не визжала. Когда ветеринар диагностировал ее глухоту, он также обнаружил, что у нее какая-то патология, которая не позволяет ей в полной мере ощущать прикосновение. Она не чувствовала боли. Вот почему она всегда вела себя с Абелем так, словно ничего не было. Он ее пинал, она пряталась, на следующее утро она уже была на месте, виляя хвостом. «Эй. Я здесь. Я даю тебе еще один шанс».

И ему всегда давали еще один шанс. От симпатичного и обаятельного Абея никогда не отворачивались. У него были проблемы с выпивкой, но он был приятным парнем. У него была семья...

Если вы растете в доме, где с вами плохо обращаются, то пытаетесь преодолеть ощущение, что вы можете любить человека, которого ненавидите, или ненавидеть человека, которого любите. Это странное чувство. Вы хотите жить в мире, где кто-то или хороший, или плохой, где вы его либо ненавидите, либо любите. Но так у людей не бывает.

По дому текла скрытая агрессия, но по-настоящему он поднимал руку не слишком часто. Я знал, что если поднял, то вскоре ситуация наладится. Как ни странно, именно хорошие периоды между побоями затягивали все это и обостряли до предела. Он ударил маму один раз, затем, через три года, еще раз, и ей досталось немного больше. Следующий раз наступил через два года, и ей снова досталось немного больше. Затем – через год, и ей опять досталось сильнее.

Это было достаточно нерегулярно для того, чтобы можно было думать, что этого больше не случится. Но достаточно часто, чтобы никогда не забывать, что это возможно. В этом был определенный ритм. Помню, однажды, после одного ужасного случая, никто не разговаривал с ним больше месяца. Ни слова, ни

взгляда, ни бесед, ничего. Мы ходили по дому, как чужие, стараясь не пересекаться. Абсолютный бойкот. Потом, однажды утром, ты был на кухне, и вдруг кивок. «Привет». «Привет». Потом, через неделю: «Ты видел это в новостях?» «Да». Затем, на следующей неделе, шутка и смех. Медленно, медленно жизнь возвращалась в прежнее русло. Через шесть месяцев, через год ты делаешь это снова.

Однажды днем я пришел домой из «Сэндрингхэма», и мама была очень расстроена и взвинченна.

– Это невозможный человек, – сказала она.

– Что случилось?

– Он купил пистолет.

– Что? *Пистолет*? Что ты имеешь в виду под словами «он купил пистолет»?

В моем мире пистолет был чем-то совершенно диким. Я считал, что пистолеты есть только у полицейских и гангстеров. Абель пошел и купил девятимиллиметровый «парабеллум» «Smith & Wesson». Гладкий и черный, зловещий. Он не выглядел классным, как пистолеты в кино. Он выглядел как вещь, которая убивала.

– Зачем он купил пистолет? – спросил я.

– Не знаю, – ответила мама.

– Господь говорил со мной. Тревор.

Он сказал мне: «Патрисия, я ничего не делаю по ошибке. Я не даю тебе ничего, чего бы ты не смогла вынести».

Я беременна не просто так.

Я знаю, каких сыновей могу вырастить.

Я выращу этого ребенка.

Она поссорилась с ним из-за этого, и он ушел, сказав какую-то чушь насчет того, что миру надо научиться уважать его.

– Он считает себя полицейским всего мира, – сказала она. – И думает, что проблема в мире. Есть люди, которые не могут контролировать сами себя, вот они-то и хотят контролировать всех окружающих.

Вскоре после этого я переехал. Атмосфера стала для меня невыносимой. Я достиг того уровня, когда стал таким же большим, как Абель. Достаточно большим для того, чтобы отвечать ударом на удар. Отец не боится получить возмездие от своего сына, но я не был его сыном. Он это знал. Мама использовала такую аналогию: теперь в доме было два льва-самца.

– Каждый раз, когда он смотрит на тебя, он видит твоего

отца, – говорила она. – Ты для него – постоянное напоминание о другом мужчине. Он ненавидит тебя, и тебе надо уйти. Тебе надо уйти, пока ты не стал таким, как он.

Кроме того, мне самое время было уйти. Вне зависимости от Абеля, мы всегда планировали, что после окончания школы я перееду. Мама никогда не хотела, чтобы я был, как мой дядя, то есть одним из тех мужчин – безработных и до сих пор живущих дома с матерью. Она помогла мне снять квартиру, и я переехал. Квартира была всего в десяти минутах пешком от дома, так что я всегда мог забежать, чтобы помочь с делами или изредка пообедать. Но самое главное – что бы там ни происходило с Абелем, я уже никак не мог быть замешанным.

В какой-то момент мама перебралась в отдельную спальню в доме, и с тех пор они были мужем и женой только на словах. Они даже не проживали совместно, просто сосуществовали. Такое положение дел длилось год, может быть, два. Эндрю исполнилось девять, и в своем мире я вел обратный отсчет времени до его восемнадцатилетия, думая, что это, наконец, освободит маму от этого жестокого мужчины. Как-то днем мама позвонила и попросила меня прийти домой. Я появился через несколько часов.

– Тревор, я беременна, – сказала она.

– Что, прости?

– Я беременна.

– *Что?!*

Боже мой, я был в ярости. Я был так зол.

– Как ты позволила этому случиться?

– Абель и я, мы сблизились. Я переехала обратно в спальню. Это была всего одна ночь, а потом... Я забеременела. Не знаю как.

Она не знала. Ей было сорок четыре года. После Эндрю ей перевязали трубы. Даже ее врач сказал: «Это невозможно. Мы не знаем, как это случилось».

Я кипел от ярости. Все, что мы должны были делать, – ждать, пока Эндрю подрастет, и со всем этим было бы кончено. А теперь все было так, словно она зачислилась на сверхурочную службу.

– То есть ты хочешь родить этого ребенка от этого мужчины?

Ты собираешься оставаться с этим мужчиной еще восемнадцать лет? Ты сошла с ума?

– Господь говорил со мной. Тревор. Он сказал мне: «Патрисия, я ничего не делаю по ошибке. Я не даю тебе ничего, чего бы ты не смогла вынести». Я беременна не просто так. Я знаю, какие дети могут появиться у меня. Я знаю, каких сыновей могу вырастить. Я смогу вырастить этого ребенка. Я выращу этого ребенка.

Через девять месяцев родился Исаак. Она назвала его

Исааком, потому что библейская Сара забеременела, когда ей было около ста лет. Естественно, Сара не думала, что может иметь детей, и именно так она назвала своего сына.

После рождения Исаака я еще больше отдалился. Я приходил все реже и реже. Потом я зашел как-то днем, а в доме царил хаос, перед ним стояли полицейские автомобили – последствия очередной драки.

Полиция не поможет мне.

Правительство не защитит меня.

Только мой бог может защитить меня.

Он ударил ее велосипедом. Абель распекал во дворе одного из своих парней, а мама попыталась встать между ними. Она перечила ему на глазах наемного работника, поэтому он взял велосипед Эндрю и ударил ее. Она в очередной раз позвонила в полицию, и полицейские, приехавшие на этот раз, неплохо знали Абеля. Он ремонтировал их автомобили. Они были приятелями. Дело не было возбуждено. Ничего не произошло.

На этот раз я противостоял ему. Я теперь был достаточно большим.

– Ты не можешь продолжать так себя вести. Так нельзя, – сказал я.

Он чувствовал свою вину. Он всегда ее чувствовал. Он не надувал щеки, не уходил в оборону, ничего такого.

– Я знаю, – сказал он. – Мне жаль. Я не люблю этого делать, но ты знаешь, какова твоя мама. Она может много говорить, и она не слушает. Иногда мне кажется, что твоя мама меня не уважает. Она пришла и показывала неуважение ко мне на глазах моих работников. Я не мог позволить, чтобы эти мужчины считали меня человеком, который не справляется с женой.

После велосипеда мама наняла подрядчиков, с которыми была знакома благодаря строительному бизнесу, чтобы они построили для нее отдельный дом сзади, как маленький домик для прислуги. Туда она и переехала с Исааком.

– Самая безумная вещь, которую я когда-либо видел, – сказал я ей.

– Это все, что я могу сделать, – ответила она. – Полиция не поможет мне. Правительство не защитит меня. Только мой бог может защитить меня. Но против него я могу использовать только одно-единственное, чем он дорожит, и это – его гордость. Если я буду жить на дворе в лачуге, все будут спрашивать его: «Почему твоя жена живет в лачуге, а не в твоём доме?» Ему придется отвечать на этот вопрос, и неважно, что он скажет, каждый будет знать, что с ним что-то не так. Он любит жить для мира. Пусть

мир увидит его таким, какой он есть. На улицах он святой. В этом доме он дьявол. Пусть увидят, каков он на самом деле.

Когда мама решила оставить Исаака, я был близок к тому, чтобы вычеркнуть ее из своей жизни. Я больше не мог терпеть боль. Но видеть ее, получившую удар велосипедом, жившую, как заключенная, на собственном заднем дворе, было для меня последней каплей. Я был сломлен. С меня хватит.

– Одно-единственное? – сказал я ей. – Эту бессмысленную вещь? Я не буду в этом участвовать. Я не могу жить этой жизнью с тобой. Я отказываюсь. Ты приняла свое решение. Удачи тебе в твоей жизни. Я собираюсь жить своей.

Она поняла. Она совсем не чувствовала себя преданной или брошенной.

– Дорогой, я знаю, что ты испытываешь, – сказала она. – Однажды мне тоже пришлось отказаться от своей семьи, чтобы уйти и жить своей жизнью. Я понимаю, если тебе надо сделать то же самое.

Так я и сделал. Я ушел. Я не звонил. Я не заходил. Исаак пришел, а я ушел. И, хоть убей, не мог понять, почему она просто не может сделать то же самое: уйти. Просто уйти. Просто, к чертовой матери, уйти!

Я не понимал, что она испытывала. Не понимал, что такое домашнее насилие. Не понимал, как работают взаимоотношения взрослых. У меня никогда не было даже девушки, я был незрелой личностью. Мне было совершенно непонятно, как она могла заниматься сексом с человеком, которого ненавидела и боялась. Я не знал, как легко могут переплетаться секс и ненависть. И страх.

Я злился на маму. Ненавидел я его, но винил ее. Я считал Абея выбором, который она сделала, выбором, который она продолжала делать. Всю мою жизнь она, рассказывая истории о том, как росла в хоумленде, брошенная родителями, всегда говорила: «Ты не можешь винить никого другого в том, что ты делаешь. Ты не можешь винить свое прошлое за то, кто ты. Ты отвечаешь за себя. Ты делаешь собственный выбор».

Он любит жить для мира.

Пусть мир увидит его таким, какой он есть.

На улицах он святой. В этом доме он дьявол.

Пусть увидят, каков он на самом деле.

Она никогда не позволяла мне считать нас жертвами. Хотя мы именно *были* жертвами, я и мама, Эндрю и Исаак. Жертвами апартеида. Жертвами жестокости. Но мне никогда не разрешалось так думать, и я не смотрел на ее жизнь с этой стороны. Вычеркнуть из нашей жизни моего отца, чтобы успокоить Абея, –

это был ее выбор. Поддерживать автомастерскую Абея – это был ее выбор. Исаак был ее выбором.

Между тем деньги были у нее, не у него. Она не была зависима. Так что я считал, что именно она принимает решение.

Если смотреть со стороны, так легко обвинить женщину и сказать: «Тебе просто надо уйти». Мой дом не был единственным домом, где существовало домашнее насилие. Я вырос среди этого. Я видел это на улицах Соуэто, по телевизору, в кино. Куда уйдет женщина в обществе, где это считается нормальным? Когда полиция не поможет ей? Когда собственная семья не поможет ей? Куда уйдет женщина, когда она бросает одного мужчину, который ее бьет, но в итоге обычно находит другого мужчину, который ее бьет, может быть, даже хуже, чем первый? Куда уйдет женщина, когда она одна с тремя детьми и живет в обществе, которое делает ее парией, если она женщина без мужчины? Если за это ее считают шлюхой? Куда она уйдет? Что она будет делать?

Но в то время я ничего этого не понимал. Я был мальчиком с мальчишеским восприятием действительности. Отчетливо помню и наш последний спор на эту тему. Это было то ли после удара велосипедом, то ли когда она перебиралась в лачугу на заднем дворе. Я был расстроен, упрашивая ее в тысячный раз.

– Почему? Почему ты просто не уйдешь?

Она покачала головой.

– Ох, малыш. Нет, нет, нет. Я не могу уйти.

– Почему?

– Потому что если я уйду, он убьет нас.

Она не драматизировала излишне. Она не повышала голос. Она сказала это совершенно спокойно и прозаично, и я больше никогда не задавал ей этот вопрос.

В конце концов, она ушла. У меня нет ни малейшего представления о том, что подтолкнуло ее уйти, что стало последней каплей. Я отсутствовал. Уехал, став комиком, путешествовал по стране, выступал в шоу в Англии, вел радиошоу, вел телешоу. Я поселился вместе со своим кузеном Млунгиси и отделил свою жизнь от ее. Я больше не мог вкладывать себя, потому что это разбивало меня на множество осколков. Но однажды она купила новый дом в Хайлендс-Норте, встретила кого-то нового и переехала вместе со своей жизнью. Эндрю и Исаак продолжали видеться с отцом, который к этому моменту просто существовал, продолжая пить и драться, продолжая жить в доме, купленном его бывшей женой.

Годы шли. Жизнь продолжалась.

Потом, как-то утром, часов в десять, когда я был еще в

кровати, зазвонил телефон. Это было в воскресенье. Я знаю, что это было в воскресенье, потому что все остальные члены семьи ушли в церковь, а я, к своему удовольствию, нет. Дни бесконечных хождений туда-сюда по церквям больше не были моей проблемой, и я лениво продолжал спать. Ирония моей жизни заключается в том, что именно тогда, когда замешана церковь, все идет чертовски не так. Например, как в тот раз, когда нас похитили жестокие водители микроавтобуса. По этому поводу я тоже всегда поддразнивал маму. «Вся эта твоя церковь, этот твой Иисус, что хорошего они принесли?»

Я посмотрел на телефон. На нем высвечивался мамин номер, но когда я ответил, оказалось, что звонил Эндрю. Его голос звучал совершенно спокойно:

– Привет, Тревор, это Эндрю.

– Привет.

– Как дела?

– Хорошо. Что случилось?

– Ты занят?

– Я типа сплю. А что?

– В маму выстрелили.

Так. В этом звонке были две странности.

Во-первых, почему он спросил, не занят ли я? Начнем с этого. Когда в твою маму выстрелили, первое, что должно вылететь из твоего рта: «В маму выстрелили». Не «Как дела?» Не «Ты занят?» Это меня смутило.

Второй странностью было то, что, когда он сказал: «В маму выстрелили», я не спросил: «Кто выстрелил в нее?» Мне это было не надо. Он сказал: «В маму выстрелили», а мой разум автоматически дополнил остальное: «Абель выстрелил в маму».

– Где ты сейчас? – спросил я.

– Мы в больнице Линксфилда.

– Понятно, еду.

Я выскочил из постели, побежал по коридору и заколотил в дверь Млунгиси. «Парень, в мою маму выстрелили! Она в больнице». Он тоже выскочил из постели, мы сели в автомобиль и помчались в больницу, которая, к счастью, была всего в пятнадцати минутах езды.

В тот момент я был расстроен, но не испуган. Эндрю был таким спокойным, разговаривая по телефону, он не плакал, в его голосе не было паники, так что я думал: *«С ней все должно быть в порядке. Это должно быть не слишком плохо»*. Я перезвонил ему из машины, чтобы узнать подробности.

– Эндрю, что случилось?

– Мы шли домой из церкви, – сказал он, снова абсолютно

спокойно, – а папа ждал нас у дома, и он вышел из своей машины и начал стрелять.

– Но куда? Куда он ей попал?

– Он выстрелил ей в ногу.

– Ох, ладно, – сказал я с облегчением.

– А потом он выстрелил ей в голову.

Когда он это сказал, мое тело просто обмякло. Я точно помню, на каком светофоре я был. Секунду царила полная тишина, а потом я зарыдал так, как никогда раньше не рыдал. Я разразился тяжелыми всхлипываниями и стонами. Я плакал так, словно все другое, о чем я плакал в жизни, было недостойно слез. Я рыдал так сильно, что, если бы я тогдашний мог вернуться назад во времени и увидеть всех себя, плачущих раньше, я похлопал бы их по плечу и сказал: «Не стоит плакать из-за такой ерунды».

*Я разразился тяжелыми всхлипываниями и стонами.
Я плакал так, словно все другое, о чем я плакал в жизни,
было недостойно слез.*

Эти рыдания – не плач от огорчения. Это не катарсис. Не жалость к самому себе. Это – выражение дикой боли, результат того, что твое тело неспособно выразить эту боль любым другим способом, в любой другой форме. Она была моей мамой. Она была моим товарищем по команде. Мы всегда были вместе, я и она. Я и она против всего мира. Эндрю сказал «выстрелил в голову», и я сломался пополам.

Свет померк. Я даже не мог видеть дорогу, но я вел автомобиль сквозь слезы, думая: *«Только бы добраться туда, только бы добраться туда, только бы добраться туда»*. Мы подъехали к больнице, и я выпрыгнул из машины. У входа в отделение неотложной помощи была зона отдыха под открытым небом. Эндрю стоял там и ждал меня, один. Его одежда была испачкана кровью. Он все еще выглядел абсолютно спокойным, абсолютно невозмутимым. Но в тот момент, когда он поднял глаза и увидел меня, он сломался и начал реветь. Казалось, он все утро держал это в себе, а потом все это разом вырвалось, и он потерял самообладание. Я подбежал к нему, обнял, а он все плакал и плакал. Но его плач отличался от моего. Мой был вызван болью и гневом. Его плач был от беспомощности.

Я повернулся и побежал в отделение неотложной помощи. Мама была там, лежала в приемном отделении на каталке. Врачи занимались ею. Все ее тело было покрыто кровью. В ее лице была дыра, зияющая рана над губой, часть носа исчезла.

Она была такой же спокойной и невозмутимой, как всегда.

Она смогла открыть один глаз, повернула голову, посмотрела на меня и увидела выражение ужаса на моем лице.

Эти рыдания – не плач от огорчения.

Не жалость к самому себе.

Это – выражение дикой боли. Она была моей мамой.

Она была моим товарищем по команде.

Я и она против всего мира.

– Все хорошо, малыш, – прошептала она, почти неспособная говорить из-за крови в горле.

– Ничего хорошего.

– Нет, нет, я в порядке, я в порядке. Где Эндрю? Где твой брат?

– На улице.

– Иди к Эндрю.

– Но, мама...

– *Ш-ш-ш.* Все хорошо, малыш. Я в порядке.

– Ты не в порядке, ты...

– *Ш-ш-ш-ш-ш-ш.* Я в порядке, в порядке, в порядке. Иди к брату. Ты нужен своему брату.

Врачи продолжали заниматься делом, а я ничего не мог сделать, чтобы помочь ей. Я вышел на улицу, чтобы быть с Эндрю. Мы сели рядом, и он рассказал мне историю.

Они возвращались домой из церкви, большой группой – моя мама, Эндрю и Исаак, ее новый муж и его дети, и другие члены его большой семьи, тети и дяди, племянницы и племянники. Они только заехали на подъездную дорожку, когда подъехал Абель и выскочил из своего автомобиля. У него был пистолет. Он посмотрел прямо на маму.

– Ты украла мою жизнь, – сказал он. – Ты отняла у меня все. Теперь я собираюсь всех вас убить.

Эндрю встал перед отцом. Он встал прямо перед пистолетом.

– Не делай этого, папа, пожалуйста. Ты пьян. Просто убери пистолет.

Абель посмотрел на сына.

– Нет, – сказал он. – Я убью всех, а если ты не отойдешь, я застрелю тебя первым.

Эндрю отошел в сторону.

– Его глаза не лгали, – сказал он мне. – У него были глаза дьявола. В тот момент я мог сказать, что мой отец исчез.

Да, в тот день я чувствовал огромную, невыносимую боль. И все же, оглядываясь назад, я понимаю, что боль Эндрю была сильнее, чем моя. В мою маму выстрелил мужчина, которого я презирал. Как бы там ни было, я чувствовал подтверждение своей

правоты. Все это время я был прав насчет Абея. Я мог направить свой гнев и ненависть прямо на него без малейших стыда или чувства вины. Но в маму Эндрю выстрелил его отец, отец, которого он любил. Как он мог согласовать любовь с этой ситуацией? Как он мог вынести любовь к обеим сторонам? Обеим сторонам его самого?

Исааку было всего четыре года. Он не полностью осознавал, что происходит, и, когда Эндрю отошел в сторону, Исаак заплакал:

– Папа, что ты делаешь? Папа, что ты делаешь?

– Исаак, иди к своему брату, – сказал Абель.

Исаак подбежал к Эндрю, Эндрю взял его. Потом Абель поднял пистолет и начал стрелять. Мама прыгнула перед пистолетом, чтобы всех прикрыть, тогда-то она и получила первую пулю, не в ногу, а в ягодицу. Она упала и, когда падала на землю, кричала:

– *Бегите!*

Абель продолжал стрелять, и все побежали. Они рассыпались. Мама пыталась снова встать на ноги, когда Абель подошел и встал над ней. Он прицелился ей в голову из пистолета, в упор, словно это была казнь. Потом он нажал на курок. Ничего. Осечка. *Клик!* Он снова нажал на курок. То же самое. Потом опять и опять. *Клик! Клик! Клик! Клик!* Четыре раза он нажимал на курок, и четыре раза пистолет давал осечку. Пули с хлопком выскакивали из ствола, выпадали из пистолета, падали на маму и с цоканьем приземлялись на асфальт дорожки.

Абель остановился, чтобы посмотреть, что не так с пистолетом. Мама в панике вскочила. Она оттолкнула его, побежала к машине, прыгнула на водительское сиденье.

Его глаза не лгали. У него были глаза дьявола.

В тот момент я мог сказать, что мой отец исчез.

Эндрю бежал следом и прыгнул на пассажирское сиденье, рядом с ней. Как только она повернула ключ зажигания, Эндрю услышал тот последний выстрел, и ветровое стекло покраснело. Абель выстрелил, стоя за автомобилем. Пуля вошла в мамин затылок и вышла через лицо, повсюду была кровь. Ее тело рухнуло на руль. Эндрю действовал, не задумываясь, он перетащил маму на пассажирское сиденье, перевалился через нее, сел на водительское сиденье, дал по газам и помчал в больницу в Линксфилде.

Я спросил Эндрю, что было с Абелем. Он не знал. Я был полон ярости, но ничего не мог сделать. Я чувствовал себя совершенно бессильным, но знал, что должен сделать хоть что-

нибудь. Так что я взял телефон и позвонил ему. Я позвонил человеку, который только что выстрелил в мою маму, и он, как ни странно, взял трубку.

– Тревор.

– Ты убил мою маму.

– Да.

– Ты убил мою маму!

– Да. А если бы мог найти тебя, то убил бы и тебя.

Потом он повесил трубку. Это был самый жуткий момент. Это было страшно. Как бы взвинчен я ни был, когда позвонил ему, я немедленно потерял запал. До сего дня я не знаю, о чем я думал. Я не знаю, какого события ожидал. Я просто был взбешен.

Я продолжал задавать Эндрю вопросы, пытаюсь получить больше информации. Потом, когда мы разговаривали, на улицу вышла медсестра и огляделась в поисках меня.

– Это вы семья? – спросила она.

– Да.

– Сэр, возникла проблема. Ваша мать сначала немного разговаривала. Теперь она не говорит, но из того, что мы слышали, нам удалось получить информацию, что у нее нет медицинской страховки.

– Что? Нет, нет. Это не может быть правдой. Я знаю, что у мамы есть медицинская страховка.

Но у нее не было. Как выяснилось, за несколько месяцев до происшествия она решила: «Медицинское страхование – мошенничество. Я никогда не болею. Я откажусь от него». Так что теперь у нее не было медицинской страховки.

– Мы не можем лечить здесь вашу мать, – сказала медсестра. – Если у нее нет страховки, мы должны отправить ее в государственную больницу.

– В государственную больницу? Что... нет! Вы не можете. Маме выстрелили в голову. Вы собираетесь положить ее обратно на каталку? Отправить ее на машине «Скорой помощи»? Она умрет. Вам надо лечить ее прямо сейчас.

– Сэр, мы не можем. Нам нужна форма оплаты.

– Я ваша форма оплаты. Я заплачу.

– Да, люди так говорят, но без гарантии...

Я достал кредитную карту.

– Вот, – сказал я. – Возьмите это. Я заплачу. Я заплачу за все.

– Сэр, больница может быть очень дорогой.

– Неважно.

– Сэр, я думаю, что вы не понимаете. Больница может быть действительно дорогой.

– Леди, у меня есть деньги. Я заплачу за все. Только помогите

нам.

– Сэр, вы не понимаете. Нам придется сделать очень много исследований. Только одно исследование может стоить две, три тысячи рэндов.

– Три тыся... что? Леди, мы говорим о жизни моей матери. Я заплачу.

– Сэр, вы не понимаете. В вашу мать выстрелили. В ее мозг. Она будет в реанимационном отделении. Одна ночь в реанимации может стоить пятнадцать, двадцать тысяч рэндов.

– Леди, вы меня не слушаете? Это *жизнь* моей матери. Это ее *жизнь*. Возьмите деньги. Возьмите их все. Мне неважно.

– *Сэр!* Вы не понимаете. Я видела, как это бывает. Ваша мать может провести в реанимации недели. Это может стоить вам пятьсот тысяч, шестьсот тысяч. Может быть, миллион. Вы будете в долгах до конца *вашей* жизни.

Я не собираюсь вам лгать: я задумался. Я *сильно* задумался. В тот момент все, что я понял из слов медсестры: «Вы лишитесь всех своих денег». За долю секунды в уме пронесся десяток различных сценариев. *«Что, если я потрачу эти деньги, а она все равно умрет? Получу ли я возмещение?»* Я на самом деле представил свою мать, такую бережливую, выходящей из комы и говорящей: «Ты потратил *так много*? Ты идиот. Ты должен был сберечь эти деньги, чтобы растить своих братьев». А что насчет братьев? Теперь ответственность за них лежит на мне. Я должен содержать семью, чего не смогу сделать, если буду в миллионных долгах. На какую-то секунду я даже начал думать: *«Ладно... сколько ей, пятьдесят? Это довольно хорошо, так? Она прожила хорошую жизнь»*.

Люди все время говорят, что сделали бы все для тех, кого они любят. Но в действительности? Сделали бы вы все? Отдали бы все? Не уверен, что ребенку знаком этот вид беззаветной любви. Матери – да. Мать схватит своих детей и выпрыгнет из едущего автомобиля, чтобы им не причинили вред. Она сделает это, не раздумывая. Но не думаю, что ребенок знает, как это делать, это – не инстинктивно. Это то, чему ребенок должен научиться.

Я вложил свою кредитную карту медсестре в руку.

– Делайте все, что надо. Просто, пожалуйста, помогите моей маме.

Остаток дня мы провели в неопределенности, ожидая, расхаживая вокруг больницы. Иногда забегали члены семьи. Наконец, несколько часов спустя из отделения неотложной помощи вышел врач, чтобы сообщить нам новости.

– Как дела? – спросил я.

– Ваша мать стабильна. Она не в операционном блоке, –

сказал он.

– С ней все будет в порядке?

Он подумал секунду о том, что собирался сказать.

– Я не люблю использовать это слово, – сказал он, – потому что я человек науки и не верю в это. Но то, что произошло с вашей матерью сегодня, – это чудо. Я никогда это не говорю, потому что ненавижу, когда люди так говорят, но не могу объяснить это как-нибудь по-другому.

Мать схватит своих детей и выпрыгнет из едущего автомобиля, чтобы им не причинили вред.

Она сделает это, не раздумывая.

Но не думаю, что ребенок знает, как это делать, это – не инстинктивно.

Это то, чему ребенок должен научиться.

Пуля, которая попала маме в ягодицу, прошла навывлет. Она вошла, вышла и не причинила настоящего вреда. Другая пуля, прошедшая через затылок, вошла под черепом, в верхней части шеи. Она прошла на волосок от спинного мозга, мимо продолговатого мозга, и прошла через голову прямо под мозгом, не задев ни одну из крупных вен, артерий или нервов. Траектория пули продолжалась, она направлялась прямо в мамину левую глазницу и должна была выбить глаз, но в последнюю секунду ее движение замедлилось, и она ударила в скулу, раздробив скуловую кость, отрикошетив и выйдя через левую ноздрю.

На каталке в приемном покое из-за крови рана выглядела намного хуже, чем была на самом деле. Пуля содрала только небольшой кусок кожи с боковой поверхности ноздри, она вышла целиком, внутри не осталось фрагментов пули. Ей даже не понадобилась операция. Они остановили кровотечение, зашили ее сзади, зашили ее спереди и оставили выздоравливать.

– Мы ничего не могли сделать, потому что ничего не надо было делать, – сказал врач.

Через четыре дня мама вышла из больницы. Через семь дней она вернулась на работу.

Остаток того дня и ночь врачи продержали маму на снотворных, чтобы она отдохнула, а нам сказали идти домой. «Она стабильна, – сказали они. – Вы ничем не поможете. Идите домой и отдыхайте». Так мы и сделали.

Следующим утром я первым делом вернулся в больницу, чтобы быть с мамой в ее палате и ждать, когда она проснется. Когда я вошел, она еще спала. Ее голова была перевязана. На лице были швы, нос и левый глаз были прикрыты марлей. Она

выглядела хрупкой и слабой, уставшей, это был один из немногих случаев в моей жизни, когда я видел ее такой.

Я сидел рядом с ее кроватью, держа ее за руку, ожидая и следя за ее дыханием, а в моей голове тек поток мыслей. Я все еще боялся потерять ее. Я был зол на себя за то, что меня не было там, зол на полицию за все те случаи, когда они не арестовывали Абея. Я говорил себе, что должен был убить его еще годы назад, что было довольно забавной мыслью, потому что я не способен никого убить, но все равно об этом думал. Я был зол на мир, зол на бога. Потому что все, что мама делала, – молилась. Если бы был фан-клуб Иисуса, мама определенно входила бы в первую сотню, и вот – что она за это получила?

Примерно через час ожидания она открыла тот глаз, на котором не было повязки. В тот момент, когда она это сделала, я потерял самообладание. Я начал реветь. Она попросила воды, и я дал ей чашку, она немного потянулась вперед, чтобы попить через соломинку. Я продолжал реветь, реветь и реветь. Я не мог держать себя в руках.

– *Ш-ш-ш*, – сказала она. – Не плачь, малыш. *Ш-ш-ш-ш-ш-ш*. Не плачь.

– Как я могу не плакать, мама? Ты чуть не умерла.

– Нет, я не собираюсь умирать. Я не собираюсь умирать. Все хорошо. Я не собираюсь умирать.

– Но ты чуть не умерла. Я думал, что ты мертва. – Я продолжал реветь и реветь. – Я думал, что потерял тебя.

– Нет, малыш. Малыш, не плачь. Тревор. Тревор, послушай. Послушай меня. Послушай.

– Что? – сказал я, по моему лицу катились слезы.

– Дитя мое, ты должен смотреть на светлую сторону.

– *Что?* О чем ты говоришь, «на светлую сторону»? Мама, тебе выстрелили в лицо. Здесь нет светлой стороны.

– Конечно, есть. Теперь ты официально самый красивый человек в нашей семье.

Она широко улыбнулась и начала смеяться. Я тоже начал смеяться сквозь слезы. Я выплакал себе все глаза и одновременно истерически смеялся. Мы сидели, она сжимала мою руку, и мы вместе помирали со смеху, как делали всегда, мать и сын, смеющиеся вместе через боль в палате интенсивной терапии в ясный, солнечный прекрасный день.

КОГДА В МАМУ ВЫСТРЕЛИЛИ, ОЧЕНЬ МНОГОЕ ПРОИЗОШЛО ОЧЕНЬ БЫСТРО. Мы могли только собрать всю историю по кусочкам, факт за фактом, собирая различные свидетельства всех, кто там был. В тот день,

когда мы ждали у больницы, у нас было великое множество вопросов, на которые не было ответов. Например: «Что случилось с Исааком?» Мы это выяснили только после того, как нашли Исаака, и он рассказал нам.

Когда Эндрю умчался оттуда с мамой, оставив четырехлетку одного на лужайке перед домом, Абель подошел к своему младшему сыну, поднял его, посадил мальчика в свою машину и уехал. Как только машина тронулась с места, Исаак повернулся к своему папе.

– Папа, почему ты убил маму? – спросил он, думая в тот момент (как и мы все), что мама мертва.

– Потому что я очень несчастен, – ответил Абель. – Потому что у меня большое горе.

– Да, но ты не должен был убивать маму. Куда мы сейчас едем?

– Я собираюсь отвезти тебя в дом твоего дяди.

– А ты куда поедешь?

– Я собираюсь убить себя.

– Не убивай себя, папа.

– Нет, я собираюсь себя убить.

Дядя, о котором говорил Абель, на самом деле был не дядей, а другом. Абель оставил Исаака у своего друга и уехал. Он провел этот день, навещая всех родственников и друзей и прощаясь с ними. Он даже рассказывал людям о том, что он сделал. «Вот что я сделал. Я убил ее, а теперь собираюсь убить себя. Прощайте». Он провел весь день в этом странном прощальном туре, пока, наконец, один из его двоюродных братьев не назвал вещи своими именами.

– Тебе надо взять себя в руки. Не будь трусом. Тебе надо явиться с повинной. Если ты был достаточно смел, чтобы сделать это, ты должен быть достаточно смел, чтобы ответить за содеянное, – сказал его двоюродный брат.

Абель сломался и отдал пистолет кузену, а тот отвез его в полицейский участок. Так Абель явился с повинной.

Пару недель Абель провел в камере, ожидая рассмотрения судом меры пресечения. Мы подали ходатайство против освобождения под залог, потому что он показал, что представляет собой угрозу. Так как Эндрю и Исаак были еще несовершеннолетними, подключились социальные работники. Нам казалось, что

дело открыли и закрыли, но однажды, спустя примерно месяц, нам сообщили, что он внес залог. Самым парадоксальным было то, что он был отпущен под залог, так как сказал судье, что если он будет находиться в камере, то не сможет зарабатывать деньги на содержание своих детей. Но он не содержал детей, детей содержала мама.

Итак, Абель вышел на свободу. Дело медленно перемалывалось судебной системой, и все обращалось не в нашу пользу. Из-за того, что моя мама чудом осталась жива, обвинение было снижено с убийства до покушения на убийство. И так как ни в одном из тех случаев, когда мама вызывала полицию, чтобы заявить на Абеля, домашнее насилие не было инкриминировано, у него не было прежних судимостей. У него был хороший адвокат, который при рассмотрении дела в суде продолжал давить на то, что у Абеля дома дети, которые в нем нуждаются. Судебного процесса по делу не было. Абеля признали виновным в покушении на убийство. Он получил условный срок – три года. В тюрьме он не провел ни одного дня. Он остался совместным опекуном своих сыновей. Он разгуливал по Йоханнесбургу, совершенно свободный. Последнее, что я о нем слышал, что он до сих пор живет где-то в Хайлендс-Норте, недалеко от мамы.

Последний кусок истории рассказала мама, после того как пришла в себя. Она рассказала, как это выглядело с ее стороны.

Мама помнила, как Абель остановился и направил пистолет на Эндрю. Помнила, как упала на землю, получив пулю в задницу. Потом Абель подошел и встал над ней, нацелил пистолет ей в голову. Она подняла глаза и смотрела на него прямо под дулом пистолета. Она начала молиться, и именно тогда пистолет дал осечку. Потом он снова дал осечку. Затем – снова осечка и снова. Она вскочила, оттолкнула его и побежала к автомобилю. Эндрю вскочил в машину следом за ней, она включила зажигание... А потом уже ничего не помнила.

До сего дня никто не может объяснить, что случилось. Даже полиция ничего не поняла. Потому что это не похоже на то, что пистолет был неисправен. Он выстрелил, потом не выстрелил, а потом выстрелил в последний раз. Каждый, кто хоть что-то знает об огнестрельном оружии, скажет вам, что девятимиллиметровый пистолет не может дать осечку так, как дал этот. Но на месте происшествия полиция нарисовала мелом маленькие круги на

подъездной дорожке, каждым кружком обведена стреляная гильза от выстрелов Абея. А были еще те четыре пули, нетронутые, выпавшие, когда он стоял над мамой, – никто не знает почему.

Общий счет за мамино лечение в больнице составил 50 000 рэндов. Я оплатил его в тот день, когда мы покидали больницу. Те четыре дня, что мы были в больнице, приходили члены семьи, разговаривали и проводили с нами время, смеялись и плакали. Когда мы собирали вещи перед отъездом, я думал о том, какой безумной была вся неделя.

– Тебе повезло, что ты выжила, – сказал я маме. – Но я до сих пор не могу поверить, что у тебя нет медицинской страховки.

– О, но у меня есть страховка, – ответила она.

– Есть?

– Да. Иисус.

– Иисус?

– Да.

– Иисус – твоя медицинская страховка?

– Если бог со мной, кто может быть против меня?

– Ладно, мама.

– Тревор, я молилась. Я говорила тебе, что я молилась. Я не молюсь понапрасну.

– Знаешь, – сказал я, – на этот раз я не буду спорить с тобой. Пистолет, пули – я не могу это объяснить. Так что сейчас я тебе уступаю.

Но затем я не смог удержаться от последней маленькой подначки.

– Но где был твой Иисус, когда надо было оплачивать счет за больницу, а? Я точно знаю, что это оплатил не он.

– Ты прав, – сказала она, подмигивая. – Не он. Но он даровал мне сына, который это сделал.

КОГДА ВЫ ДАРИТЕ КНИГУ, ВЫ ДАРИТЕ ЦЕЛЫЙ МИР

ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Заходите на сайт:

<https://eksmo.ru/b2b/>

Звоните по телефону:

+7 495 411-68-59, доб. 2261

ВАШ ЛОГОТИП
НА ОБЛОЖКЕ



ВАШ ЛОГОТИП НА КОРЕШКЕ

ОБРАЩЕНИЕ
К КЛИЕНТАМ
НА ОБЛОЖКЕ

notes

Послание к Ефесянам – Книга Нового Завета (*прим. ред.*).

ICI (Imperial Chemical Industries) – была британской химической компанией со штаб-квартирой в Лондоне (*прим. ред.*).

Экспат – человек, длительное время живущий в стране, гражданство которой он не имеет и не собирается иметь (*прим. ред.*).

Temperance – в переводе с английского: умеренность, сдержанность (*прим. пер.*).

Мидоулендс – северные кварталы Соуэто (*прим. ред.*).

Dinky – в переводе с английского: несущественный, пустячный (*прим. пер.*).

Mastah – сленговое обращение к белому владельцу черных рабов (*прим. ред.*).

Джимми Сваггерт – всемирно известный телевизионный евангелист, певец и пианист, проповеди которого в начале 1990-х годов транслировались и в бывших республиках Советского Союза. Скандал в эти годы был вызван его связями с проститутками (*прим. ред.*).

Сентябрь в ЮАР – предпоследний месяц учебного года. В декабре начинаются летние каникулы. ЮАР находится в Южном полушарии (*прим. ред.*).

Слово «крааль» на африкаанс означает деревню туземцев (готтентотов, кафров и т. д.), представляющую собой расположенные по кругу хижины и окруженную забором, чтобы защитить от хищников скот (*прим. ред.*).

Билли «Баквит» (*Buckwheat* в переводе с английского – лоза гречихи) Томас – черный мальчик, игравший в американской комедии 1936 года «Генерал Спанки», выпущенной на видеокассетах в начале 1990-х годов (*прим. ред.*).

«Burger King» открыл свой первый в ЮАР ресторан 13 мая 2013 года в Кейптауне (*прим. ред.*).

Эндрю Джексон – седьмой президент США, подписавший в 1830 году закон о выселении индейцев (*прим. ред.*).

KFC – международная сеть общепита, «Кей-Эф-Си», название от *Kentucky Fried Chicken* – «Жареный цыпленок из Кентукки» (прим. ред.).

Невероятный Халк – герой одноименного американского фильма, гигантский зеленый монстр (*прим. ред.*).